ГЛАГОЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

№ 6

Издано при поддержке фонда «Русский мир»
Париж — Москва
2015

www.glagol.jimdo.fr

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Наталья Богдановская
Алла Сергеева
Владимир Сергеев
Ирина Эстеб
Главный редактор — Елена Кондратьева-Сальгеро

Фото на обложке Александры Отважной
Стихи на обложке Елены Кондратьевой-Сальгеро
Художник — Елена Любович
Дизайн макета — Татьяна Громова
Корректор — Алексей Комаров

© Ассоциация «Глаголъ», Париж, 2015

ISBN

СТО ЛЕТ СПУСТЯ, ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

© Художник Елена Любович

Когда, уже затоптанный литературной сумятицей 30-х годов, скромно стареющий человек с неброской фамилией Шебуев ещё собирался писать мемуары и беспечно раскидывал наброски воспоминаний по полям текущих работ, он конечно и вообразить не решился бы, в каком временном и географическом отдалении вдруг отзовётся одно из лучших его начинаний.

Писатель, издатель, журналист, в арсенале которого поблёскивали публикации в полусотне газет и журналов, громоздились залежи литературной критики, обвалы политических репрессий в эпоху «Пулемёта», 28 судебных процессов, год тюрьмы, опыт протестной голодовки, мороки революции и, наконец, почти спокойная (насколько это было возможно в Москве 30-х годов) старость, — из всего перечня личных достижений особо выделял только одно:

«Если бы кто-нибудь, знакомясь со мной, сказал: — Шебуев... Это тот самый, который... „Весна?" — я ответил бы радостно: „Да я тот самый". Потому что мой журнал для начинающих писателей, который я принимался издавать четыре раза и которого вышло в общей сложности не более 50 номеров... и был моим главным подвигом».

В 2014 г., в Париже, в новой редакции литературного альманаха «Глаголъ» о Николае Георгиевиче вспомнили вовсе не в связи с начинающими писателями, которым он предоставил беспрецедентную площадку, из-за чего собственно, в русской литературе начала XX века петербургский журнал «Весна» (1908—1914) может достойно претендовать на отдельную, пусть и не слишком объёмную главу.

Все литераторы в данном номере давно не начинающие. Вспомнили мы о Николае Георгиевиче Шебуеве главным образом потому, что подзаголовком в «Весне» прямо и прочно стоял тот же принцип, на котором недавно обновлённая редакция «Глагола» решила отстраивать равно обновлённую концепцию этого альманаха:

«Орган независимых писателей и художников. В политике — вне партий. В литературе — вне кружков. В искусстве — вне направлений».

Ну и ещё, конечно, потому, что, среди многих прочих, именно в «Весне» опубликовали свои первые творения Мандельштам, Гумилёв, Хлебников, Северянин, Асеев, Пильняк, Анненков, Демьян Бедный, Ауслендер, Василий Каменский, Агнивцев, Вера Ибнер, Сергей Городецкий, Зозуля, Пустынин, Лариса Рейснер, Андрей Соболь, Олег Леонидов и многие, и прочие, и другие.

Вне кружков, партий и направлений. Но ещё внутри одной большой, целой и общей страны, накануне радикальных изменений, эхо которых аукает в судьбах размётанных по свету потомков до сих пор.

Сто лет спустя парижский альманах «Глаголъ» объединил на своих страницах авторов по принципу «предъявите талант», с единым общим знаменателем, имя которому — русская словесность.

Оказывается, сила притяжения родного языка честнее и надёжнее самых чрезвычайных обстоятельств, и какие бы катаклизмы ни раскалывали страны, народы и целые «общественные формации» — ничуть не прерывается крепчайшая связь: люди продолжают творить на родном языке точно так же, как продолжают дышать, пока живут.

Приходится констатировать (легко и непринуждённо!), что после катаклизма 90-х, под кодовым названием «Большой Бум», когда-то разлетевшиеся от эпицентра бывшие союзные республики, оказывается, не прекращают движения по орбите вокруг того самого связующего, «великого и могучего», который пожизненно скрепляет всех на нём творящих и говорящих.

В настоящем номере альманаха ещё более, нежели во всех предыдущих, авторский букет собран вне всякой зависимости от места прописки: Москва и Петербург, Париж и Бостон, Киев и Гомель, Рига и Кишинёв, Таллин и Турку (это в Финляндии), Тбилиси и Новоржев (это вовсе не на Урале!).

Я из вредности не стану здесь перечислять поимённо и по-заслуженно. Во-первых, потому что сама никогда не читаю нудных вступительных статей с фамилиями и кратким содержанием творений (ср. «о счастливом детстве пронзительно написал Н...», «тонким кружевом верлибра прикрыла женское одиночество М...», «метким пером прострочил по нравам и традициям Ж...»).

Во-вторых, потому что искренне считаю, что невозможно понадёргать из букета несколько самых смачных фамилий, не испортив всей композиции.

А заполучить «общее впечатление» проще простого: почтите взглядом оглавление на следующей странице — там сразу все вместе и каждый в отдельности. Достаточно всех прочитать, никого не обойти, никого не пожалеть...

...Воспоминаний хороший человек Николай Георгиевич Шебуев так и не написал, а петербургский журнал «Весна» окончательно прекратил своё бурное существование в 1914 г., после взлётов, падений, новых разбегов и жёстких финансовых тормозов, могучих валов уничижительной критики, обвинений в потакательстве графомании и литературной безвкусице.

Задержать внимание стоит лишь на финансовом аспекте, за ним, к сожалению, почти всегда последнее слово в судьбе литературных изданий. Что касается претензий к графомании, следует перечитать и перемыслить имена выше (cf. Мандельштам, Гумилёв, Хлебников, Северянин, Асеев, Пильняк, Анненков, Бедный, Ауслендер, Каменский, Агнивцев, Ибнер, Городецкий, Зозуля, Пустынин, Рейснер, Соболь, Леонидов ...) и вспомнить, что зёрна от плевел всегда отделяет время. Время — лучший критик, аналитик и даже патологоанатом.

Ровно сто лет спустя парижский литературный альманах «Глаголъ» — в его, я бы сказала, «напрочь обновлённой» версии — только начинает жить, но намеревается продолжать долго и упорно.

Во-первых, потому что дел по горло: талантов пруд пруди!

Ну и, во-вторых, потому что положение обязывает: долги следует платить. Наличными. Не сидеть же сиднем, хоть и в Париже.

Как удачно выразился один из авторов настоящего номера: «Вывезли самих себя за границу и ещё утверждают, что не разграбили Родину!» ©

Хотите знать, кто сказал? Вчитайтесь. И обрящете.

Елена Кондратьва-Сальгеро,
главный редактор литературного альманаха «Глаголъ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сто лет спустя, вместо предисловия

Елена Кондратьева-Сальгеро (Франция).....3

Наш взгляд

Алла Сергеева (Франция).....Литературная рябь на волнах русской эмиграции.....8
Елена Кондратьева-Сальгеро (Франция)...Смена караула.....24
Михаил Войтик (Россия).....Детский сад имени Кащенко.....28

О важном в прозе и в стихах

о. Андрей Ткачёв (Украина — Россия).....Аэропорт. Лимб.....36
Спор книг против Библии.....39
Протез не в счёт.....46
Анатолий Ковалёв (Россия).....Дедушка Шлёма торгует коньками.....51
Инга Даугавиете (Австралия).....Не стой на пороге.....59
Владимир Вереснев (Россия).....Комната.....67
Дождю так много нужно рассказать.....75
Анна Малышева (Россия).....Ручной шмель.....82
Людмила Орагвелидзе (Грузия).....Дом на Шардени.....87
Наталья Богдановская (Франция).....Черубина, или Дневник её подруги (продолжение).....94
Алёна Асенчик (Беларусь).....Холода.....110
Ольга Туханина (Россия).....Почему я ненавижу карликовых пинчеров.....114
Ирина Ремизова (Молдова).....Ходики с кошачьей головой.....119
Вячеслав Долинин (Россия).....In vino veritas.....125
Мария Рубина (США).....Оборотная сторона луны.....130
Владимир Гудаков (Франция).....Записки культуролога.....140

Нескучно о серьёзном

Александр Соболев (Россия).....Русская литературная собака.....148
Пишу тебе, любезный друг.....156
Валерий Байдин (Франция).....Религиозная поэзия Александра Чижевского.....158
Марина Мохначева (Россия).....Мусин-Пушкины: Род – Семья – Личность: Биографика..173
Кира Сапгир (Франция).....Советский Витте.....187
Лидия Головкова (Россия).....Чекистская слобода.....194
Алексей Комаров (Латвия).....Египетская осень.....201
Борис Вайнштейн (США).....Сизиф одолевает вечность.....204

Беседы

Татьяна Горичева (Франция).....Интервью с кардиналом Йозефом Ратцингером.....210
Наталья Богдановская (Франция).....Интервью с Оскаром Рабиным.....214

По следам немеркнущих событий

Андрей Фитце-Ланской (Франц.— Рос.)...Те русские, что послужили Франции.....222
Владимир Сергеев (Франция).....Штрихи французского друга.....228
Кира Берестенко (Украина).....Переносимая горечь бытия.....232
Виктория Рулева (Казахстан).....Заметки русской барышни: из Казахстана с любовью.....242
Андрей Илькив (Украина).....Цветы не думают об истине.....248
Марино Миронов (Россия).....Письма из Теребеней.....252

Русские по миру

Анна Брашинская (Финляндия),
Саша Полякова (Франция).....По следам Кентервильского привидения.....260
Евгений Орлов (Латвия).....О том, как русские поэты со всего мира
пешком на конкурс в Латвию приходят.....264

Отражения (переводы)

Владимир Сергеев (Франция).....Сатана в сутане (перевод пьесы франц. драматурга А. Ро)....268
Ирина Эстеб (Франция).....«Домик в Коломне» и другие переводы на французский....283

И конечно — фантастика!

Андрей Карапетян (Россия).....Сад.....298

НАШ ВЗГЛЯД

© Художник Елена Любович

Алла Сергеева
(Франция)

Кандидат филологических наук, профессиональный преподаватель русского языка (МГУ им. Ломоносова, вузы Австрии, Польши, Вьетнама, Финляндии, Франции). Автор многочисленных книг и статей по проблемам современной российской культуры. Публикуется в СМИ Франции и России. Одна из учредителей парижской ассоциации «Глаголъ».

Литературная рябь на волнах русской эмиграции

Русские сейчас — один из самых «рассеянных» народов в мире. Нынче они уже освоили все континенты, заселили чуть не все города планеты. С их чувственным отношением к жизни и буйной творческой фантазией, русские редко где остаются сидеть сложа руки, довольствуясь рутиной повседневности. Им «узка в бедрах» одна только практическая сторона жизни. Общительные по своему генотипу, они тянутся друг к другу, чтобы «поговорить», обсудить и сообща что-то сотворить. А поскольку русские — талантливый, творческий и артистичный народ, им легко дается все, что помогает выразить себя, будь то музыка, слово, образ, движение (в том числе и в мысли), звуки (в том числе и речи). Неудивительно, что русские, занесенные «под чужие осины», где бы они ни жили, никогда не гасли, не терялись, не растворились в чужих пространствах, а ярко вспыхивают творческим огнем, обогащая не только нашу, русскую культуру, но и культуру страны, их приютившей. Размах и сила такого обогащения русской культуры можно сравнить с волнами, которые то мощно вздымаются, подобно цунами, то спадают до мелкой ряби.

Связаны ли эти волны русской культуры за рубежом с волнами русской эмиграции? Безусловно.

Первая (или как ее еще называют — белая) волна русской эмиграции началась с исхода из страны Советов после краха Российской империи. Она оставила мощный след в истории и культуре — не только своей родины, но и стран, ее приютивших. Это была такая высокая волна, что ее можно сравнить с цунами, настолько сильный след она оставила в истории человеческой цивилизации. И до сих пор, если где и сохранилось глубокое уважение к русским и их культуре, то это, главным образом, — благодаря эмигрантам первой волны. И тому были две главные причины.

Главная причина, отличающая белых эмигрантов от всех последующих, — это их любовь к своей стране, почти физическая привязан-

ность тех русских к местам своего детства и молодости, болезненная ностальгия от расставания с ними. Русские изгнанники первой волны были такими патриотами своей родины, каких только поискать. Да, они уезжали из России перед лицом прямой угрозы жизни, и это был не их выбор, а насильственное изгнание. Но где бы они ни селились — будь то в Париже, Берлине или Харбине, — то обязательно строили свою «Россию в миниатюре», воссоздавали сохранившиеся в памяти все черты и подробности русского общества и русского быта. Десятилетиями они держались вместе, культивировали свою русскость, гордились ею и всячески заявляли о себе миру — именно в этом качестве. Многие принципиально отказывались от гражданства приютивших их стран и до конца жизни имели только «нансеновские» паспорта. Именно всепобеждающая любовь к своей Родине дала им силы преодолеть все обиды, чувство попранной справедливости, горькую нужду и бесправие в чужих краях. Только любовь и привязанность к своей культуре зарядили их мощной творческой энергией, равной которой потом уже никогда не наблюдалось.

Во-вторых, тогда в изгнании оказалась чуть не вся русская интеллектуальная элита, люди с мировыми именами — писатели Бунин и Куприн, певец Шаляпин, композитор Рахманиннов, конструктор вертолетов Сикорский, изобретатель телевидения Зворыкин, философ Бердяев, шахматный чемпион Алехин, почти половина русских философов, писателей, поэтов, художников и артистов... Это был цвет нации — с их почитанием чести, достоинства и высокого вкуса. И достоинство это выражалось не в гоноре, браваде или претензиях, а в благородном и смиренном принятии своей судьбы, когда граф вынужден работать таксистом, а княгиня — зарабатывать на хлеб модисткой или белошвейкой. Проживая в чужой стране без защиты, без прав и социальных гарантий, неоднократно теряя накопленное и привезенное с родины, первая волна русской эмиграции дала, тем не менее, трех лауреатов Нобелевской премии (литература — И. А. Бунин, экономика — В. В. Леонтьев, химия — И. Р. Пригожин); выдающихся деятелей искусства (Ф. Шаляпин, С. Рахманинов, В. Кандинский, М. Чехов, И. Стравинский); целую эпоху в русской литературе; несколько философских и богословских школ. Из среды русской эмиграции вышел В. Набоков, оставивший след не только в русской, но и англоязычной литературе XX века.

Конечно, изгнание из страны такого количества блистательных творцов, художников и мыслителей обеднило, обескровило русскую интеллигенцию, оставшуюся на Родине. Первое же знакомство с кладбищем Сен-Женевьев-де-Буа ошеломляет мыслью: кто же тогда остался там, в России 20-х годов? Ведь все, все самые-самые близкие и знакомые с детства, самые родные и великие — все здесь, под чужими осинами! Как же должно было одичать общество после их изгнания?..

Тоска по оставленному отчему дому сказывалась в деятельности белых эмигрантов, подчас неожиданной для них самих. В прошлой жизни у себя на Родине они часто были атеистами, а в новых пределах неожиданно для самих себя пережили всплеск религиозных настроений. Ф. Степун объяснял это так: «Как всякий раненый зверь ползет умирать в свою нору, так и человек в тяжелые минуты жизни стремится в свою духовную берлогу. Темная же берлога духа — кровь, т. е. род, происхождение, заветы предков, память, детство...» Религия для них и стала такой «берлогой». И тогда они воссоздали русскую Православную Церковь, основав Богословский институт в Сергиевском подворье, повсюду строя храмы, часовни, церкви и церквушки.

Как писал Б. Зайцев, «эмигрантство есть драма и школа смирения». Эмигрантам первой волны удалось не просто выжить и выстоять, но сотворить, казалось бы, невозможное — создать великую культуру Русского Зарубежья. Для этого они писали, творили, создавали школы и университеты, литературные кружки и центры, альманахи, журналы и газеты, свои русские издательства. Подумать только, в одном только Берлине было зарегистрировано 188 русских издательств! Берлин, а позднее и Париж были центрами литературной жизни. Писатели много пишут, пытаясь философски переосмыслить горький опыт изгнанничества. Пишется много мемуаров, где явно стремление передать аромат утраченного рая — в идиллических картинах детства и юности. Блистательный И. Бунин в 1933 году получил Нобелевскую премию именно «за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал русский характер».

Впрочем, речь идет не только о литературе: творческая энергия русских тогда была массовой, широкой и всеохватной. Например, в журнале «Современные записки» (Париж) печатались не только лучшие образцы литературного творчества, но и давались рецензии на большинство вышедших и в России, и за рубежом книг — практически по всем отраслям знаний! Сейчас, за далью лет, трудно вообразить, какая для всего этого требовалась мощь — организационная, финансовая, творческая, интеллектуальная!

А ведь им было нелегко: любая эмиграция не благоволит к литературе. Отсутствие массового читателя, бесприютность и жестокая нужда, непривычные условия жизни («Здесь нет ни стихии живого быта, ни океана живого языка, питающих работу художника», — писал Б. Зайцев) — все это должно было бы неизбежно подорвать литературные силы. Но ведь этого не произошло! С 1927 года идет расцвет русской литературы за рубежом, и по-русски пишутся великие книги. Редко кто из писателей тогда «исписался», утратил свой талант, но наоборот, многие окрепли, выросли. И помогла им выстоять в горьком эмигрантском существовании — именно любовь к оставленной Родине, уважение к ней, память о ней.

И нельзя сказать, что тогда русские эмигранты, поголовно охваченные любовью к Родине, жили бы душа в душу. Конечно, сотворчество ярких и очень разных личностей проходило небезоблачно, и в первой волне неизбежно возникала полемика, дискуссии и бурные споры — вплоть до разрыва человеческих отношений. Ведь каждый вынужден был по-своему осознать горький опыт пережитого, его причины и грядущие последствия. Однако неизбежная полемика в русской среде не разрушила сотворчества, зато придала литературному процессу дискуссионную остроту, а литературным поискам — яркие краски и разнообразие.

Впрочем, тогда им было о чем спорить — и по очень серьезным проблемам! Так, чуть не 10 лет (1927—37 г.) на страницах русских парижских газет длилась бурная полемика между Ходасевичем и Адамовичем. Первый полагал главной задачей русской литературы в изгнании — сохранить русский язык, культуру и мастерство, «привить классическую розу к эмигрантскому дичку», что невозможно без уважения опыта предшественников. Адамович же ценил у молодых поэтов не столько литературной блеск и «читабельность», сколько правдивость и искренность, когда литературой можно считать и «черновики, записные книжки», даже если в них звучит упадническое, скорбное ощущение жизни. Были споры и о смысле литературного процесса за рубежом. Г. Газданов признавал, что горький опыт и статус русских изгнанников делает невозможным и бессмысленным искусственно поддерживать атмосферу дореволюционной культуры: дескать, постоянное заклинание прошлого без интереса к реальности превращает эмиграцию в «живой иероглиф». Разумеется, «старшие» с этим не могли согласиться.

А еще разразилась бурная полемика между сменовеховцами и евразийцами. Авторы сборника «Смена вех» (1921 год, Прага), бывшие белогвардейцы, призывали принять большевистский режим и во имя Родины пойти на компромисс с советской властью. Эта идея трагически отозвалась на судьбе М. Цветаевой, муж которой С. Эфрон работал на советские спецслужбы. А когда в том же году в одном сборнике («Исход к востоку», София) была высказана идея о промежуточном положении России между Европой и Азией, где сама Россия определялась как страна с мессианским предназначением, то можно только вообразить силу сопротивления и накал дискуссий.

Раскол среди эмигрантов той поры проходил не только по линии философских проблем, но и по возрасту. Так, писатели старшего поколения держались позиции «сохранения заветов»: И. Бунин, И. Шмелев, А. Ремизов, А. Куприн, З. Гиппиус, Д. Мережковский, М. Осоргин. Их главный литературный интерес — тоска по «вечной России», ужасы гражданской войны, русская история, идиллические воспоминания о детстве и юности, биографии русских писателей, композиторов, жизнеописания святых...

А вот младшее, как их называли, «незамеченное поколение» (термин критика В. Варшавского) писателей в эмиграции отказалось от реконструкции безнадежно утраченного. Писатели (В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов. М. Агеев, Б. Поплавский, Н. Берберова, И. Одоевцева, Н. Оцуп, И. Голенищев-Кутузов, Ю. Терапиано и другие) описывали тяготы эмигрантской доли. А молодые поэты (И. Северянин, С. Черный, К. Бальмонт, Г. Иванов, Г. Адамович, В. Ходасевич, М. Цветаева и др.) собирались в дешевых кафе Монпарнаса, где разворачивались литературные дискуссии, создавалась новая школа поэзии, известная как «парижская нота». Предельно исповедальная и безнадежная «парижская нота» звучит и в романах Б. Поплавского («Аполлон Безобразов», «Домой с небес») и Н. Агеева («Роман с кокаином»). В спорах, дискуссиях и острой полемике активно шли поиски новых литературных форм и концепций...

Все эти дискуссии отнюдь не объединяли, не умиротворяли русскую общину. Но важно не это! Важна высота и гуманитарная перспектива обсуждаемых проблем! Важен широчайший горизонт сознания участников спора, их бесконечная эрудиция, накал благородный страстей — именно благородных и высоких (вопреки горькой и низкой прозе эмигрантского бытия), что и породило мощный культурный расцвет.

Мощная волна литературной жизни Парижа продлится чуть не 20 лет и сойдет на нет только с началом Второй мировой войны, когда, по словам В. Набокова, «станет на русском Парнасе темно».

Вторая волна русской эмиграции (1938—47 г.) в период Второй мировой войны количественно была огромной (чуть не 10 миллионов человек), но по роли в литературном процессе по сравнению с первой волной — кажется рябью. Может потому, что эта эмиграция была довольно разношерстной по этническому составу: там были украинцы (треть), белорусы, прибалты и фольксдойче (русские немцы), жившие на территории, оккупированной немцами. Русских было немного (7%). Некоторые только на «дальних берегах» начали заниматься литературой, рассказывая о жизни в СССР перед войной, о репрессиях и тернистом пути эмигранта. В принципе, русская литература второй волны остается малоизвестной читателям — не только в силу своей слабости и немногочисленности литературной колонии, но и ощущением исчерпанности эмигрантской традиции творчества. Да и, к тому же, творчество этих писателей было малоизвестно: большинство из них печатались в выходившем в Америке «Новом журнале» и журнале «Грани», недоступных в СССР, а ныне растерявших свою актуальность, заточенную на ненависти к советскому режиму.

В наши дни потомков двух первых волн русской эмиграции — чуть не 10 миллионов человек, рассеянных по всей планете. Большинство их ассимилировалось в странах своего рождения или пребывания, их внуки

уже не вполне владеют русским языком. Однако для них Россия — это не просто далекая родина предков, а предмет постоянного живого внимания, духовной связи, сочувствия и забот. До сих пор выходца из первой эмиграции можно слету определить по чистоте и богатству русской речи — в отличие от иных, более поздних пришельцев.

Тем интереснее сравнить их со следующей волной эмиграции. Эмигранты третьей волны покинули СССР в период холодной войны (60—80-е годы), представляя диссидентское движение, а также тех, кто выезжал из страны «по израильской визе». Количественно эта волна была сравнительно небольшой — всего 1,1 миллиона человек. Тем не менее, она явила миру поразительные результаты.

Начнем с того, что главная причина третьей эмиграции — это конфронтация интеллигенции и государства, которое она, интеллигенция, в запале отрицания не всегда отделяла от своей страны, от народа. Во многих случаях причинами эмиграции были, скорее, не столько политические, сколько экономические, морально-этические и даже эстетические идеи.

Эмигранты этой волны, в отличие от первой, отнюдь не были патриотами. Родина их выпроводила, назвав клеветниками, тунеядцами, предателями и даже преступниками. В странах же, их принявших, они считались «жертвами режима», и их охотно там привечали, давая гражданство, покровительство, материальную поддержку и даже трибуну вплоть до типографий. Многие находили работу на западных радиостанциях («Голос Америки», «Свобода», «Свободная Европа», «Немецкая волна», «Радио Канады» и др.), работали в антисоветских и антикоммунистических издательствах, газетах и журналах, преподавали в университетах. Литературным же творчеством им приходилось заниматься в свободное от службы время.

По социальному составу это были представители гуманитарной интеллигенции (не располагающей, по мнению властей, военными секретами) поколения «шестидесятников». Они росли в период хрущевской «оттепели» с ее осуждением культа личности, вдохнули воздух творческой свободы, обращаясь к закрытым прежде темам ГУЛАГа, тоталитаризма, истинной цены военных побед. Когда в конце 60-х свободы начали свертываться, усилилась идеологическая цензура и начались реальные преследования и запугивание писателей и поэтов, то многие из них были вынуждены уехать за границу: А. Солженицын, В. Некрасов, В. Аксенов, И. Бродский, С. Довлатов, В. Войнович, Ю. Алешковский, Г. Владимов, А. Зиновьев, Ю. Мамлеев, Саша Соколов, Дина Рубина, Э. Лимонов, А. Галич, Н. Коржавин, Ю. Кублановский, И. Губерман и еще многие другие. Большинство из них уезжает в Америку, где формируется мощная русская диаспора, реже — во Францию и Германию. По сравнению с компактной первой эмиграцией, эти оказались в географическом рассеянии.

В эмиграции, оказавшись после «железного занавеса» в совершенно новых и непривычных условиях, они во многом не были приняты свои-

ми предшественниками, чужды «старой эмиграции». По свидетельству А. Гинзбург, потомки белой эмиграции смотрели на них как на «советских», испытывая недоверие.

И, наверное, было от чего испытывать недоверие. Например, они совершенно не совпадали с белой эмиграцией — ни по типу поведения, ни по системе ценностей, ни по своим задачам и устремлениям, ни даже по языку.

Если исходить из аксиомы, что любая эмиграция — результат самоопределения личности, то первая волна создала Зарубежную Россию, считая своей задачей сохранить и приумножить ценности русской культуры. Эмигранты же следующих волн преследовали иные, причем самые разные цели, основанные на разных системах ценностей, — в том числе и личное благосостояние, и добровольная ассимиляция на новой почве. Согласимся, что это было очень далеко от белоэмигрантских лозунгов типа «сохранение старых заветов» или пресловутой тоски по «старой России». Этого не было и в помине, как не было и любви к оставленной Родине. Ну, пусть даже не любви, а просто светлой памяти о днях мятежной юности. Ничего подобного не было.

И тогда совершенно логичным кажется объяснение Т. М. Горичевой, русского православного философа, когда она говорит, что многие русские эмигранты, прежде люди горячие и смелые, здесь, на Западе оказались опустошенными и потерянными. Дело, вероятно, в том, что у них исчезло внешнее сопротивление, и тогда погас внутренний огонь. «Запад, — отмечает Т. М. Горичева, — как лакмусовая бумага: выявляет в человеке то, что было спрятано в России». Вот была в России любовь к Родине, пусть не всегда осознанная, прямая, пусть вперемешку с бурчанием и несогласием, — она и разгорится, неожиданно для самого тебя. А если смыслом жизни и главным интересом для тебя было желание развенчать и уличить, любым способом доказывая свою правоту, — это с тобой и останется, и пребудет на веки вечные, и не сможет быть заполнено другим. Ведь страсть отрицания сама по себе пуста, несозидательна.

Честно говоря, эмигрантам третьей волны не позавидуешь: им пришлось пережить не только изгнание, но и тяжелую эмигрантскую смуту. И хотя им казалось, что они уехали от зла, оно их не оставило. Заточенные у себя на родине на борьбу с режимом (им казалось — с мировым злом), они продолжали буйно бороться и в изгнании — но уже друг с другом. Русская литература третьей волны эмиграции, по словам Н. Коржавина, это клубок конфликтов: «Мы уехали для того, чтобы иметь возможность драться друг с другом». Гротесковое мироощущение третьей волны сквозит в рассказах С. Довлатова, где рисуется галерея шаржей на выходцев из СССР.

В принципе, любая эмиграция — это поиск свободы, и каждый обречен на осмысление этого нелегкого опыта. «Свобода» же в русском

понимании — сложное и разноплановое понятие, причем настолько, что его каждый русский понимает по-своему. Для одних — это политическая свобода, для других — свобода самовыражения и творчества. Для третьих — это «воля вольная», произвол, когда дозволительно осуществлять свою личную свободу любыми способами. В каждой волне эмиграции тип поведения конкретного человека зависел от личных представлений о свободе. Первая эмиграция понимала культуру как важнейшую часть самосознания и была заточена на высокие цели, что и создало духовную основу всего Русского Зарубежья, целый мир без физических и юридических границ. И творчество для них было не только способом выживания или зарабатывания денег, или способом самоутверждения (как сейчас говорят, «самопиара»), но всегда — выполнением особой миссии: сохранить для грядущей России традиции русской культуры и, тем самым, оправдать свой разрыв с Родиной.

А без таких высоких целей и жизненных ценностей понятие «свобода» неизменно размывается, снижается до представлений только о личной свободе, которой можно добиваться любыми способами. И тогда не стыдно шельмовать, изворачиваться, подсиживать ближнего, лгать, говорить не по совести, а по указке. Неудивительно, что третья волна эмиграции, лишенная высоких целей (в том числе и в представлениях о свободе), оставила в памяти многих след именно таким типом поведения, а также своими раздорами, взаимной враждебностью и жесткой полемикой.

Так, разразилась полемика между «Синтаксисом» и «Континентом», где противостояли либерально-демократическая и почвенническая традиции русской общественной мысли (привет западникам и славянофилам из XIX века!). Полемика вылилась в конфликт между Синявским и Солженицыным, а далее — в раскол, даже в разрыв третьей волны на два непримиримых лагеря. Возник литературный разнобой.

И добро бы дело ограничивалось только благородной полемикой между авангардистами и реалистами. Несогласие и разнобой прослеживаются во всех изданиях. «Синтаксис» публиковал гротескную ироническую прозу с элементами сюрреализма и поставангарда. «Континент» же тяготел к традиционной реалистической прозе. Журнал «Эхо» замыкался на ленинградском самиздате, «Стрелец» влекло к изобразительному искусству, а журнал «Беседа» рассказывал о жизни церкви в восточно-европейских странах. Главная трибуна — газета «Русская мысль» (с 1947 г.) освещала жизнь всей русской диаспоры в Европе (сейчас газета испустила дух и делает попытки продолжить существование в виде объемного журнала). Служители пера третьей волны публиковались и в журналах «Грани», «Новый журнал», в альманахе «Стрелец», в издательстве «Ардис», «ИМКА-пресс», «Посев», «Третья волна», и др. И все перечисленные газеты, журналы и издания были перпендикулярны друг к другу.

Могла ли такая разнонаправленная энергия поднять высокую волну, создать Новое Русское Зарубежье на исходе XX века? Способны ли были такие люди создать такую творческую среду, чтобы поднять культурную волну, подобную цунами первой эмиграции?..

Полемика, возможно, и оживляет литературную жизнь, но при условии, что она корректна. А здесь, к тому же, между творческими людьми возникали настолько напряженные отношения, что, по словам А. Гинзбург, «все были на пределе». Может это просто воздух такой в Париже, что все тут же начинают ссориться? Да нет. Что-то подобное происходило и в Америке, куда уехали многие. И отец Александр Шмеман очень красноречиво описывает это в своих дневниках. Почему-то между русскими часто возникают противоречия, раздрай, нестыковки, — со взаимными обвинениями, категоричными суждениями, нежеланием услышать друг друга...

Помимо разнонаправленности и рассеяния единой прежде творческой энергии, третья волна небезупречна и в эстетическом плане. Здесь выступили родимые пятна эстетики «шестидесятников». Так, одни по своему воспитанию и духу были склонны к патетичной гражданственности. Но ведь злободневность и публицистичность не всегда уместны, например, в поэзии.

Кроме того, имея совершенно иной жизненный опыт, мировоззрение, другое ощущение жизни и иные привязанности, страсти, и даже другой язык, они ставили себя перпендикулярно «классикам», порывая с русскими литературными традициями. Понятно, почему. На Родине у них было четкое разделение литературы на официальную (классическую) — и андеграунд с его интересом к эксперименту. Логично, что те, кто покинул страну с ненавистью, отторгали и классическую ясность традиционных форм. Им были интереснее образцы американской и латиноамериканской литературы, популярной в СССР в пору их молодости, всяческий андеграунд. Авангард и постмодерн казались им более «крутыми», чем замшелая официальная литература. Так, постмодернистские романы Саши Соколова — это изощренные словесные структуры, где смещены временные планы, чувствуется установка на игру с читателем и прочие постмодернистские штучки. У Мамлеева в текстах много грубой маргинальности. Кстати, и Бродский получил в 1987 году Нобелевскую премию — именно за «развитие и модернизацию классических форм».

В целом можно сказать, что гуманитарной интеллигенции третьей волны русской эмиграции все-таки удалось создать довольно мощную, хотя и своеобразную волну русской культуры в зарубежье. Оказавшись в изоляции от старой эмиграции, бывшие диссиденты тоже открыли тут и там свои издательства («Ардис» в США), создали альманахи и журналы: в Париже «Континент» (Максимов), «Синтаксис» (Розанова, Синявский), в Америке «Калейдоскоп», в Мюнхене «Фо-

рум», участвуют в работе уже набравших обороты газет и журналов «Грани», «Новое русское слово», «Русская мысль». Большинство из журналов создавались как инструмент сопротивления тоталитарной системе СССР. Рухнул СССР — приказали долго жить и журналы, и газеты, и издательства.

В итоге третьей эмиграцией написано немало прекрасных и сильных книг, которые внесли лепту в общий фонд русской культуры. Причем написано больше прозы, чем поэзии. И это нормально. В условиях эмиграции проза более жизнеспособна, чем поэзия: в ней больше рутинного начала (развитие сюжета, идеи, прорисовка образа, и т. п.), которое может на корню убить пылкость поэта. Поэзия вообще, и особенно русская, — субстанция тонкая, легкоранимая, быстро образуемая и, в силу этого — легко разрушаемая. Жизнь в зарубежье для нее — жизнь в языковом вакууме, в разреженном эмоциональном пространстве. Анна Ахматова предвидела это, отказываясь от «прекрасного далека» в пользу разоренного Отечества.

И дело тут даже не в патриотизме, а в свойствах лирического и эпического творчества. При прочих равных условиях, чаще уезжала «проза», а дома оставалась «поэзия». И на «других берегах» в поэзии чаще выживает русская муза надрыва, страданий. Не случайно в первой волне эмиграции поэтического угасания избежали лишь Марина Цветаева и Георгий Иванов. Это наблюдение подтверждает и третья волна. Лучший поэт Иосиф Бродский на чужбине вдруг понял, что эмоциональность — это избыточное качество русской поэзии, и что настоящий поэт должен быть автономен и самодостаточен: ему не важна ни языковая среда, ни эмоциональная подпитка от окружающих. Другой бы поэт давно бы сдулся (как многие), но этот виртуоз мог творить целые рулоны поэзии, извлекая яркие образы из самого себя. А другие поэты неизбежно как бы гасли, подравниваясь друг под друга и продолжая старые темы. В культурном вакууме их стихи по форме становятся более строгими, эмоционально приглушенными — по сравнению с русской поэтической традицией. Небогаты и безотрадны их темы: ностальгия, ненависть к коммунистическому режиму, ирония. Вместо живого русского языка — часто застывшие конструкции. Активно используется ненормативная лексика (тот же Бродский) — чтобы, если не оживить, то хотя бы разнообразить звучание поэтического текста.

Конечно, по сравнению с первой эмиграцией, итоги третьей, хотя и впечатляют, но более скромны. Но тут грянула новая — четвертая волна эмиграции, окончательно закрепившая тенденции развития русского литературного процесса за рубежом.

Она началась 25 лет назад, когда советская идеология и прежняя система жизни разлетелись вдребезги (с 90-х годов), и продолжается с нарастанием до сих пор. И поныне из России идет сильнейшая волна эмиграции: каждый

год нашу страну покидает 100—150 тысяч человек, примерно столько же, сколько после 1917 года (из доклада Счетной палаты РФ). Такова оказалась плата за крах советской империи, за ее судорожные попытки вписаться в мировое цивилизованное общество, стать «нормальным» демократическим государством. Страну теперь покидают, в основном, по экономическим причинам — главным образом, из-за недостаточно высокого жизненного уровня по сравнению с другими странами.

По типу ментальности новые «отъезжанты» — это совсем другие люди, непохожие ни на одну из предшествующих волн эмиграции. Это уже не та высокодуховная элита русской культуры с представлениями о своей особой миссии, творчески фонтанирующая вопреки всем тяготам изгнания. И это уже не «жертвы тоталитаризма», желанные гости в приютившей их стране, заточенные на критику режима покинутой страны. Они совсем иные. Последнюю эмиграцию иногда называют «колбасной» (все-таки любимый продукт на советском столе). Из новых эмигрантов редко кто подвергался преследованиям со стороны государства. Другое дело, что на решение о выезде с Родины могли повлиять и политические мотивы, несогласие с курсом развития страны, профессиональная невостребованность и т. п. Среди них много представителей точных и естественных наук, фрилансеров, переводчиков.

В отличие от предшествующих волн, эмигранты четвертой волны не представляют собой никакого единства — даже формального. Они в высшей степени разнородны.

Например, по этническому составу. Собственно, эту эмиграцию уже трудно назвать собственно русской: здесь представлены практически все национальности, ранее проживающие на просторах СССР (а их было чуть не 200). Правильнее было бы новых пришельцев под «чужие осины» назвать русскоязычными, чем русскими. Ибо называться русским только на том основании, что ты являешься носителем русского языка — все-таки натяжка. Русские определяют национальность не по крови, а по духу, по привязанности к своему языку и культуре. Собственно русский — это тот, «кто любит Россию и разделяет ее судьбу» (В. И. Даль). А для новых эмигрантов русский язык — часто уже не святыня, которую надо беречь, а легкое и удобное средство общения: ведь в любой стране легко найти собеседника, если ты говоришь по-русски, даже если он лексически небогат и напичкан «для шику» местными перековерканными словами.

Впрочем, так самоутверждаются только неграмотные люди. Образованные же лишены такого провинциализма, чувствительны к порче русского языка. Те, кто знают хорошо иностранный язык, а тем более два-три языка, легче переключаются с одного регистра на другой, не допуская чужеродных вкраплений: им нет нужды демонстрировать свое знание иностранного языка. Однако таких среди новых эмигрантов не так уж и много, особенно среди людей, старших по возрасту. Тем, кто вырос и возмужал за «железным зана-

весом», на склоне лет трудно сходу овладеть чужим языком. А можно ли без языка врасти в чужую жизнь, понять ее, получить поддержку со стороны? Понятно, что нет. И тогда остается жить в вакууме таких же неприкаянных соотечественников или перебиваться непрочными связями с местными носителями русского языка.

Даже в Православной Церкви новые и предшествующие эмигранты изумляют друг друга своей несхожестью. Местные прихожане потрясенно рассказывают друг другу о том, как происходит освящение продуктов перед пасхальной литургией. Вместо пасхи, яиц и куличей, привычных на русском столе на разговение, новые прихожане пытаются освятить водку, свиные колбасы, бараньи бока и т. п.

И по своим целям новые «отъезжанты» очень разные. Те, кто выехал из раздерганной страны в канун XXI века, уезжали навсегда, без желания возвращаться. Их цель — как можно скорее раствориться в стране, приютившей их, добиться успеха, иметь работу, дом, семью. Они не хотят в новой стране быть чужаками, а только «своими». А для этого главное — освоить чужой язык, и многие предпочитают говорить только на нем, перестав говорить по-русски. А их дети часто уже не знают русского языка. Особенно много таких в Германии, среди русских немцев, вернувшихся на историческую родину из Поволжья, Казахстана, Сибири. Часто это малообразованные люди и без знания языка и реалий страны, их приютившей. Для них русский язык вовсе не обязательно передавать детям: ведь те пойдут другим путем, с младых ногтей встраиваясь в новую систему жизни, а русский язык будет им только мешать, отвлекать.

Зато в последние 10–15 лет едут уже иные — многие на заработки, на учебу. Эмигрантами таких можно назвать с натяжкой, поскольку многие живут «на два дома» и не зарекаются вернуться «под родные осины», не отказываются от российского гражданства. Их задача — поиски лучшей доли.

Это нормальная экономическая эмиграция, которая регулируется законами тех стран, которые принимают мигрантов. Политическая составляющая уже никакой роли не играет, и поэтому у россиян нет никаких преимуществ по сравнению с мигрантами из других стран. Скорее наоборот: с них больше спросу, учитывая антироссийскую настроенность Запада в последнее время. Значит, им приходится доказывать иммиграционным службам свою профессиональную состоятельность, знание языков и интеграционные способности. Значит, они вынуждены пройти жесткий отбор и конкуренцию. А такой отбор могут пройти только самые сильные и способные. Поэтому новые эмигранты гораздо моложе, у них высокий уровень образования, они, как правило, владеют иностранным (и не одним) языком, активны и динамичны. Среди них много женщин, что объясняется их более высокой востребованностью (по сравнению с русскими мужчинами) в смешанных браках.

Они — часто космополиты, что неудивительно в эпоху глобализации. Космополитизм, ранее бывший уделом одиночек, стал естественным психологическим и гражданским состоянием очень многих наших современников. И в этом смысле новые эмигранты никакого отношения к предшествующим волнам не имеют. У них нет задачи «воссоздать Россию вокруг себя», «сберечь русскую культуру», или оповестить мир о лишениях и несправедливостях, пережитых на Родине, или заклеймить режим и т. п. Ничего этого нет в помине. Теперь каждый в одиночку борется за место под солнцем, стремится стать «настоящим европейцем», чтобы «цивилизованно» жить — не тужить.

Такой контраст с предшествующими волнами русской эмиграции, такая несхожесть последних эмигрантов даже между собой — раздробили ранее единое «русское зарубежье». Можно сказать, что в этом явно проявился необратимый закон природы — процесс энтропии, т. е. неизменно возрастающее рассеяние общей энергии. Этот природный закон термодинамики, сформулированный в физике, рифмуется и с русской зарубежной литературной жизнью, сказывается в общем спаде творческой активности русских (и русскоязычных), измельчании идей и творческих людей, а в общем — в деградации русской зарубежной культуры.

Тем не менее, сохранив свой природный генотип и типичные модели поведения, новые русские эмигранты, как и почти век назад, группируются в разные кружки, группы, ассоциации, устраивают собрания. Только теперь такие собрания объединяет не совместное творчество, или литературные поиски, или обсуждение высоких проблем, а провинциально-местечковая симпатия или близость, обращение к стародавним советским традициям типа «посидеть на кухне» под водочку-селедочку с гитарой и т. п.

Есть и такие, что объединившись, пытаются издавать сборники текстов, альманахи. Но о литературных открытиях тут нет и речи. Потому что эти группы объединяются не для решения каких-то общих задач, они не ставят перед собой амбициозные цели типа «обличить», или явить миру неожиданную авангардистскую находку в литературе, или просто «открыть» новый талант, или разразиться новой темой, или просто поднять для обсуждения интересную для многих проблему и т. п. Сборники собираются теперь для того, чтобы просто поведать о себе городу и миру, увидеть свое имя или имя своего приятеля в печатной продукции, «прозвучать» так сказать, короче — потусоваться и самоутвердиться.

Это, конечно, не большой грех. И все бы ничего, если бы не банальность напечатанных текстов с незначительными, мало кому интересными сюжетами о личных переживаниях и мытарствах при получении нового гражданства, если бы не вторичность и фальшь придуманных историй, если бы не поверхностные впечатления о стране проживания в оптике

туриста, если бы не эти счастливые задыхания в стиле «увидеть Париж и умереть», которые рулонами можно найти в Интернете. Пишется много стихов, где мало поэзии, но зато полноводный «поток сознания» с любовными томлениями, осенними садами с увядшими цветами, стилизацией «под кого-то», либо публицистичность, по самой своей природе убивающая поэзию. Уж какие там гуманитарные перспективы, эрудиция и широкий горизонт сознания, какое там культурное цунами первых эмигрантов... Застенчиво объявить это культурной волной — тоже язык не повернется. Так, мелкая рябь.

Куда же делась та творческая мощь, породившая девятый вал культурного взлета первой эмиграции? Почему мощные волны литературного творчества, постепенно мельчая от одной волны до следующей, ныне превратились в мелкую рябь?

Некоторые причины уже назывались: этническая и культурная разношерстность последних эмигрантов, их географическая разноудаленность по всем континентам, их разнобой в понимании жизненных ценностей, а главное — полное отсутствие патриотизма, даже не в смысле любви, а просто благодарности и уважения к своей Родине, где ты, в конце концов, вырос, получил бесплатное (тогда еще) образование, встал на ноги. К тому добавляются еще специфические русские ментальные качества — в виде вздорности и неумения сдерживать страсти, вести себя корректно.

На постоянные раздоры в русской среде еще чуть не век тому назад обратил внимание такой умница, как философ Н. Бердяев, и он даже попытался философски объяснить такую «русскую странность», от которой жить и творить в русской среде всегда непросто. По его мнению, русские просто обречены на взаимное недопонимание и раздоры — по причине свойств русского генотипа. Да, говорил он, русские — самый общительный народ в мире: у них нет условностей, нет дистанции, зато всегда есть потребность видеть людей и выворачивать душу, ввергаться в чужую жизнь, вести бесконечные споры по идейным вопросам. В какие бы углы мира русские не попали, они тут же объединяются, группируются, образуют русские организации, устраивают собрания. Именно в русской среде Бердяев ощутил то, чего не бывает среди французов. «Русские очень легко задевают личность другого человека, говорят вещи обидные, бывают неделикатны, имеют мало уважения к тайне всякой личности. Русские самолюбивы, задевают самолюбие другого и сами бывают задеты. При обсуждении идей легко переходят на личную почву и говорят не столько о ваших идеях, сколько о вас и ваших недостатках. У русских гораздо меньше уважения к самой мысли, чем у людей западных» (ст. «Россия и мир Запада»). У французов, сравнивал он, все это напрочь отсутствует. Да, у них «всегда остается дистанция

и совсем нет русской душевности. Зато есть уважение к личности другого, нежелание быть неделикатным, и от анализа вашей мысли им не придет в голову перейти к анализу вашей личности, как часто бывает у русских. Французы скромны и менее самоуверенны, чем русские». И стоит ли удивляться, когда любая полемика в русской среде неизбежно приводит к личным распрям? По признанию самого Н. Бердяева, «общение с единоверцами нисколько не преодолевает одиночества, а иногда и увеличивает его горечь».

Немало натерпевшись от своих компатриотов, сам он десятилетиями не общался со многими.

На эти специфические качества русского генотипа наслаиваются ментальные качества, приобретенные русскими за семь десятилетий советской власти. Все, кто покинул Россию в последние 15—20 лет, рос, воспитывался и учился в ментальности «советского человека», унаследовав все ее родимые пятна. Это — узость горизонта сознания, когда все страсти и интересы человека уходят в частную жизнь, когда человек видит картину жизни не в перспективе, а только «здесь и сейчас». Яркий пример человеческой энтропии.

Это и внутренняя тревожность, неуверенность многих — при внешней самоуверенности. Причем эта тревога идет не от страха перед властью, репрессиями, голодной смертью или прочего. Это, скорее, экзистенциальный смутный страх, когда люди не понимают, для чего и зачем им нужно жить. Тревожный тип личности всегда пытается свалить свои проблемы на окружающих. И даже не на друзей (истинная дружба в русском понимании здесь не приживается), а на того, кто «под руку попался».

Чтобы как-то оправдать свой исход из родных пенат, очень удобно убедить себя в правильности жизненного выбора: «Видите, какая это жуткая страна? Видите, что там творится?!» Как будто подобное больше нигде не творится. Здесь каша из политических пристрастий в голове — при обжигающе негативном отношении ко всему, что происходит на бывшей Родине. Любимым словом становится «совок», которым тычут в каждого, несогласного с ним.

Это и незатейливый русский индивидуализм, который так и не сложился в жизненную философию, направленную на развитие личного «Я» — вытягивание самого себя за уши, как барон Мюнхгаузен, зато превратился в энергию недоверия, неумение вести полемику, слушать друг друга и прощать ошибки.

Это и негибкость, неспособность адаптироваться в новой стране — как результат воспитания за «железным занавесом»: многие так и не овладели языком страны пребывания, мало знают о ней, их суждения о ней — поверхностные впечатления туристов, где искажен фокус восприятия.

Так и получается, что вместо поиска — предпочитается банальная рутина, вместо принципов и вкуса — верность тусовке, вместо широко-

го взгляда на происходящее — описание житейских, никому не интересных мелочей, вместо сочного и выразительного языка — серость и уныние.

Неудивительно, что как и при Н. Бердяеве в русской среде много раздоров и отсутствие взаимопонимания. Только тогда раздоры вспыхивали на идейной почве, выражались в высокой полемике между профессионально, социально и этнически близкими людьми, горько переживающими опыт изгнания. Высокая полемика придавала литературной жизни — дискуссионную остроту, а литературным поискам — новизну. А теперь всего этого нет, — как нет ни изгнания, ни взаимного интереса, ни желания обсуждать высокие материи, ни тем более желания что-то вместе «сохранить, развить» и «передать грядущей России». Нельзя не отметить такую странность в поведении новых русских эмигрантов: лишь только затевается новое дело (будь то создание альманаха или творческого коллектива), среди них непременно начинается раздрай, несогласие, какие-то обиды и претензии, хлопанье дверьми и уход в никуда бывших, как казалось раньше, друзей. Почему вдруг такое снижение? Откуда оно? Можно ли его преодолеть? Можно ли сгладить раздоры и мелкую раздражительность в русской среде? В поисках ответа на эти вопросы трудно оставаться оптимистом.

Ясно и четко определяет судьбу каждого приехавшего «под чужие осины» православный философ Т. М. Горичева: «Эмиграция ставит человека перед решением: или гибель в полной пустоте... или преодоление нигилизма через любовь». Имеется в виду любовь к стране, откуда ты произрос, к людям, с которыми ты неразрывно связан по своему архетипу, по своей культуре, по своим корням, по своему прошлому. Ну, если не любовь, то хотя бы добрая память. И благодарность.

Последняя волна русской эмиграции, набирая темп, ширится, но пока еще не выдвинула сколько-нибудь значительных идей или имен, обогативших русскую гуманитарную, в том числе и художественную культуру.

Остается ждать, что это неминуемо произойдет. Ведь русские так талантливы и артистичны! Это неминуемо должно произойти. Как говорил капитан Татаринов, главное — «бороться и искать, найти и не сдаваться».

Елена Кондратьева-Сальгеро
(Франция)

Родилась в Москве. Окончила МГПИИЯ им. М.Тореза.
С 1990 г. живёт во Франции. Публикуется на русском и французском языках. Лауреат Кубка мира по русской поэзии 2012.

Смена караула

Нет, я тоже точно не знаю, отчего перевымерли динозавры. От метеорита или от элементарной утери смысла дальнейшей эволюции вследствие постепенного оскудения мозгов. Сомнений не вызывает только тот факт, что Кому-то сверху они стали окончательно не интересны, и от них (одним махом или постепенно) очистили маленькую планету, чтобы предоставить место под солнцем, возможность себя показать и других посмотреть другому равно сомнительному, но цепкому виду — Хоме Сапиенсу.

Зато я догадываюсь о причинах постепенного выживания из ума и вкуса динозавров от литературы и могу поделиться своими соображениями на тему, почему заскуднели-затянулись вязкой тиной, постепенно, но верно растеряли не только подписчиков, но и просто читателей многие когда-то благородно дородные, ныне же просто «толстые» журналы.

© Художник Елена Любович

Нет, интернет не виноват: все они, крупногабаритные, но вяло колоритные, выходят и в интернете. А читают их всё меньше, что на бумаге, что на мониторе. И если вы сами попробуете там что-нибудь почитать, то вы довольно скоро окститесь и призадумаетесь. А призадумавшись, присмотритесь и непременно заметите то, что заметила я.

Вы заметите, из номера в номер и из года в год — «ба, знакомые всё лица». Не вам лично знакомые и не лица действительно популярных литераторов, а «знакомые» в смысле — одни и те же и «знакомые» — между собой. Вот это и называется «наши постоянные авторы». В толстых журналах и разного рода альманахах «наши постоянные авторы» занимают очень много места. И очень много, длинно и одинаково пишут об очень малоинтересном. Пишут давно, поэтому в собственной непогрешимости заматерели, а остроту восприятия поутратили. Они, может быть, когда-то неплохо начинали, но как это часто случается, несколько осоловели от комфорта, пораспустили хвосты и животы, подрастеряли чутьё, пообесцветились и пообезвкусились, но сами, конечно, ничего такого не ощутили.

«Постоянные» они не потому что востребованные читательскими отзывами и заявками трудящихся, а потому что «наши». С района нашей творческой тусовки. По причинам разных категорических императивов необходимые для нормального функционирования всей компании, образно выражаясь, кол-лек-ти-ва. Я с некоторых пор серьёзно наблюдаю и анализирую, как этот грустный процесс происходит.

Вот этот, например, опять настрогал колченогеньких стишонков про «дубок и ручеёк, что за счастием побёг», но его обязательно надо взять в номер, он наш постоянный автор, ещё со времён предыдущего редактора, и потом, у него сейчас жена ждёт двойню! Так что тисните там куда-нибудь, пусть... Всё равно никто не заметит. В номере должно бурлить разнообразие: слабые тексты работают на благо сильным. И потом, что-то всё-таки в этом есть: дубок, ручеёк, древесное, водяное, такое, знаете, берендеевское, жизнеутверждающее...

Одним словом, вы тисните, что вам, жалко 5 страниц? Не мы первые, не мы последние: штудируйте классическую старину. Вон, какие издания печатали в своё время жеманную поэтессу Моравскую! Стихотворение «Я зябну». Начинается строками: «Всегда мне холодно. И я люблю дрова...» А посмотрите, что они в «N...» печатают: «...И язык мой недвижно лег, / К зубам припав головою...» — и ведь ничего, все молчат.

А вот эта вам чем нехороша? «Вся такая воздушная»? Да, у неё с 2005 по 2014 всё бабочки, ласточки, стрекозы, квартирный вопрос и помесь Библии с хатха-йогой. Она обе проглядела по диагонали и составила антологию. И всё верлибром, да. Ну и что? Ей так удобнее. Что значит, «никак и ни о чём»? Она наш постоянный автор! Вы что, хотите всю редакцию перессорить?! «Не советую. Съедят»©.

— И вот этот недоволен: вы ему полторы страницы в интервью с актрисой отрезали.

— Да ведь на этих «полторах страницах» ни слова об актрисе! Всё только о себе: как он рано встал, как собирался на встречу, сколько кофе выпил, что думал, где припарковался...

— Всё равно, не надо его обижать: он известный в своём кругу литератор, на радио работал. И потом, благодаря ему, у нас в издательстве специальный тариф на цветные вставки...

— Ну хорошо, а вот девушка пишет, как вилкой по стеклу: «Его голова резко склоняется вниз, обнажая иглы ресниц», — это как? На каком месте у него, болезного, растут ресницы? И далее: «Шаг куртизана обращает вниманье француза», — кто на ком стоит?.. Или вот это вот: «Находясь под влиянием кубизма, он никогда не забывает своего русского происхождения», — не прелесть ли? Чем не прелесть? И кто такой вон тот, который рассусоливает: какой он праздник, этот Париж, с улочками, куполочками, круассанчиками, всего на 17 страниц, простите, розовых соплей, и под конец: «Париж, Париж, я — пломба в твоих челюстях!»...

— Этого оставьте, его нельзя убрать. Он зубной врач. Бывшего главреда.

— И что?

— Так у него с тех пор полредакции лечится! Надо печатать. А дама с Гавайских островов — владелица отеля, где Лёша отдыхал. У неё рассказ о бензоколонках. Надо взять. А вот вы мне скажите, откуда вы всех вот этих понадёргали?! Кто они такие? Талантливые авторы? Это вы так решили? И вы считаете, этого достаточно, чтобы забивать ими наш журнал?!

И очень скоро, очень ясно, вы понимаете, что всё беспросветно. Потому что это очень тяжело — обижать людей. Взваливать на закорки собственной совести зловещее предсказание хорошего человека: «Если вы сейчас откажете ему в публикации, он может больше уже никогда не напишет — из-за вас!» И другие ремарки, более грозного характера: «До вас тут была тишь да гладь: все друг друга любили, все друг друга печатали, друг друга читали, друг друга хвалили, всем было хорошо! Хотите разворотить наезженную колею — себе дороже обойдётся, завязнете в жиденькой грязице, по самые-самые уши!»

Вспоминаете Михаила Афанасьевича и заведующую «Изо», смелой кистью сваявшую Пушкина вылитым Ноздрёвым: «Я на вас пожалуюсь в подотдел!» Собственно, с тех пор мало что ощутимо изменилось, разве что, названия «подотделов», и общие собрания теперь под другими портретами. Но принцип тот же, принцип немеркнущий. Разозлите кого-нибудь не того — всё стусуется, пойдёт войной, не отмоетесь! Грант не дадут, — будете писать как этот ваш Булгаков — на манжетах!

Вы сникаете тихо, мягко, постепенно. Начинаете входить в положение: да, стихи, конечно, абсолютное «оно», но автор разводится, сидит на антидепрессантах, и у кого поднимется рука не взять выстраданные строки? ...Тиснем куда-нибудь, авось обойдётся в суматохе! И эта гавайская, с бензоколонками, в конце концов, тоже скучает по Мариуполю, и Лёша ей обещал... Ну что нас, убудет с десятка страниц?

Или вам больше нравится репутация болотной гидры? Вон, воздушная верлибристка уже сама себя и всех вокруг убедила, что вы её затёрли из зависти к таланту — Боже сохрани! ...Пятнадцать страниц могут спасти вашу заплёванную честь и пошатнувшееся терпение.

Вы включаете автопилот «глаза б мои не глядели» и сдаёте добро корректору, не дочитав шедевр до победного конца. У корректора тоже могут не доглядеть глаза, и бдительный читатель напишет вам в личку: «Нельзя по-русски писать: „об отце Алексее Стричек", „об отце Егоне Сендлер"! Мы же не говорим и не пишем: „в романе Карела Чапек, Ярослава Гашек, Эптона Синклер". Или, раз уж у вас такая пьянка, пишите „Ярославы Гашек"…»

А потом наступает день, когда бдительный читатель уже не пишет в личку, не реагируя даже на откровенную ерунду. Потому что больше не читает. И ему теперь по барабану, где у вас растут ресницы. Хотя вам самим уже давно вроде бы казалось, что есть в этом что-то древесное, журчащее, жизнеутверждающее... Если постоянно повторять, как мантру. Недаром ведь говорят, что вкусы «прививают». Прививка, да, болезненна. Зато после — ни одна зараза не пристанет. Ни критики, ни читатели. А на определённую дозу посредственности, оказывается, всё-таки имеется иммунитет, сколько ни прививай...

И вот как, спрашивается, с этим жить? Чтоб не обидеть, не задеть? А журналы закисают. Подписчики исчезают. Но тусовка продолжает творить! Сами себя печатают, сами себя хвалят, сами себя читают. А вам опять приснится Булгаков, и вы опять скрипнете оставшимися зубами, перефразируя: я против смертной казни, но если «наших постоянных авторов» поведут расстреливать, я пойду смотреть. «...и барышню в котиковой шапочке. И Лидочку, помощницу делопроизводителя».

Проснётесь в холодном поту: неужто, перевымерли динозавры?! И, может быть, вовсе не метеорит? Может быть, просто выдохлись в уютном междусобойчике — друг друга грели, друг друга ели, пока не надоели всем вокруг до такой уже степени, что грянуло сверху: «Вот что, ребята. Смена караула! Всем на выход! Как-то с вами скучно стало. Попробуем по-другому...»

Михаил Войтик
(Люберцы, Россия)

Родился в 1953 г., в семье военного летчика. В 1976 г. окончил факультет физики Московского инженерно-физического института, до 2006 г. работал физиком, затем технологом по промышленной очистке воды. Живет в Люберцах.

Детский сад имени Кащенко

С этого момента я понял, что во взрослую литературу я просто не пойду. Там плохо. Там хамски. Там дерутся за место. Там врут. Там убивают. Там не уступят ни за что, не желают нового имени. Им не нужна новая хорошая литература. Не нужна. Понимаешь. Там давят.

Юрий Коваль. «Я всегда выпадал из общей струи». «Вопросы литературы», 1998, №6.

«Редакция журнала „Новый мир", главному редактору», — надписывал большой конверт со своим рассказом Романцов, и при этом его прямо корчило. Из-за того, что он знал, что его пнут. Желания быть пнутым не было.

Это был его первый рассказ. Накануне он посмотрел в «толстых журналах» несколько публикаций и решил, что затертых выражений в его «Институте физики» даже меньше. Чем-то, что он не умел сформулировать, его рассказ отличался от остальных. Тем, что прочитанные в журналах очень разные тексты как раз объединяло. Во всех них четко проступал канон, соблюдение общих неписаных договоренностей. Романцов их заведомо нарушал. Рассказ был «не из обоймы», и ждать выхода его в печати было просто детским садом. Разве что случай…

Романцов решил проверить, насколько он прав в своих наблюдениях. Майским днем две тысячи шестого года конверт был отправлен адресату. Все равно, что выброшен в придорожную канаву, но с соблюдением ритуала — на почте его взвесили, взяли мзду и проштемпелевали.

Прошло больше года. На Романцова время от времени «накатывало», и тогда появлялись новые рассказы. Читали их только близкие родственники и двое-трое знакомых. И никаких попыток публикации. Однако ружье на стене уже висело.

Как-то осенью случайно выяснилось, что старый знакомый знает ребят из редакции журнала «Воин России». Ребята посмотрели «Институт физики» и сказали:

— Ты тут военных лягнул.

— Люди бывают разные, среди них есть и военные, и среди военных также бывают разные люди.

— Уговорил, речистый! Печатаем!

Шли месяцы, твердые обещания погорячившихся редакционных ребят перетекли в пошловатые увертки. Романцов перечитал «Институт». Под копыто его рассказа-коня попал исключительно бомонд: кормящиеся от науки руководители, разбогатевшие военные и даже архиепископ. Рассчитывать, что его опубликуют казенные люди, было безумием. Это уже не просто детский сад, а специализированное медицинское учреждение имени Кащенко.

Тот же знакомый снабдил номером телефона одного из редакторов Издательского дома «Московия». И здесь редактор был казенным человеком. Поумневший Романцов не собирался посылать ему «Институт». Он отправил короткий, меньше странички, очерк. О том, как сын уходил в армию.

Было в этом очерке и про резкий ветер, загонявший колкую снежную крупу в замерзшие за ночь выбоины истоптанной накануне слякоти, и про семерых ребят, призывавшихся в Люберцах в этот холодный ноябрьский день. Пятерых из них никто не провожал, они уходили на полтора года в неизвестность, и никому до этого не было дела. И про офицеров с фуражками в руках, выстроившихся у распахнутых ворот военкомата, из которых выползал автобус с призывниками. Вслед ему один из провожавших отчаянно-веселым голосом кричал:

— Паша, закрывай хавало, когда по нему бить будут!

Через несколько дней редактор рокотал по телефону:

— Ну, вы сами понимаете, вещь слабая. Ну, пришел, ну увидел, ну и что из этого? Где действие, спрашивается?

И, смягчив тон, дружески продолжил:

— Вы кто по профессии? Физик? Я сразу увидел, что о литературном творчестве представления не имеете. Если хотите, присылайте что-нибудь, я помогу разобрать ошибки!

Романцов нашел в Интернете данные на редактора: автор семи детективов — «Картечь на закуску» и так далее. Из злобного интереса отправил ему «Институт». Через неделю вместо дробного рокота услышал:

— А, да, прочитал, но, знаете, да-а, опубликовать не сможем. Почему? Сейчас никак не могу сказать, очень занят, знаете, выпускаю номер очередной, запарка! Если хотите узнать, заезжайте, знаете, как-нибудь потом.

Романцову стало уже по-настоящему интересно — можно хоть где-нибудь напечатать «Институт»?

Он вспомнил писателя-коммивояжера в остроносых ботинках, кепи и джинсовом костюме. Тот вошел в вагон электрички на «Фрезере», следом за продавцом наколенников из собачьей шерсти, и, раздавая полупоклоны вправо-влево, вправо-влево, заговорил, напрягая голос со старческим дребезгом:

— Здравствуйте, уважаемые граждане пассажиры! Я хочу предложить вам очень интересную вещь — подарок для ваших детей. Это книга со стихотворениями. Книга очень хорошая и интересная. Называется

«Звери и птицы». Вот она. Написал ее я и, если захотите, я вам ее надпишу на память. Стоит она сто рублей. Но самое главное, что она очень нравится детям!

Сонные пассажиры недовольно косились на крикуна.

А вот Интернет. Демократично, доступно, на весь белый свет.

Первый поиск дал слабый результат. Романцов нашел всего шесть пунктов приема литературы. Это удивило. Даже «толстых журналов», выходящих в печатном виде, куда больше. А ведь пишущих граждан — ну натуральная прорва.

Манил нестрогостью устава сайт «Проза», принявший на борт произведения 63 235 авторов. Зарегистрировался, кликнул почту, пять минут — и вот ты 63 236-й. Волшебство.

Чуть строже была поставлена служба на молодежном сайте «Свисток». Но к качеству прозы и даже грамматики здесь тоже относились легко, делая удивительно большие, просто праздничные скидки на молодость участников.

На проект «Удафф» Романцов вышел через прогрохотавшую «Кирзу». Тут был только один путь к победе: рассказать о сексуальных пристрастиях всех персонажей и снабдить их нецензурной речью. Не бранью, а совокупностью слов, лексикой с эпитетом «ненормативная».

Оставались «Русский переплет», «Сетевая словесность» и «Хронос».

Озадаченный Романцов продолжил поиск и наткнулся на «Литсайт». Хозяйка, профессиональный редактор, чужих текстов не публиковала, но предлагала бескорыстную помощь в подготовке рукописей советом. Сайт Романцову понравился, а слова хозяйки: «Читаю все подряд…» — обнадежили, и он послал ей на пробу «Институт» и другие тексты.

Это был первый профессионал, похваливший рассказы. Но что удивительно, она рекомендовала для публикации те же «Словесность» и «Переплет». Получалось, выбор действительно ограничен до ничтожности.

Просматривая «Словесность», Романцов удивлялся настойчивости, с какой ему старались втюхать, что мат — это так естественно. Матерились исключительно в разделах поэзии и прозы. В текстах о политике и деньгах мат отсутствовал.

Были у сетевого журнала и другие особенности. Чисто литературный по заявке сайт оказался проектом политтехнолога Павловского. И «Словесность» тащила читателя по заданному им курсу. Когда Романцов увидел опубликованные там октябрьские тексты, ему сплохело. Страшно стало, что хотя бы даже случайно, хоть косвенно может он оказаться в одной компании с хорьками, для которых Павловский содержит трибуну.

В «Переплете» были и политика, и музыка, и физика с космосом. Но в этом обширнейшем проекте ему решительно не нравилась проза. Было в ней что-то от клубной самодеятельности. Художественная и смысловая недостаточность маскировались пустой на его взгляд заумью.

Следующим был «Хронос», но задающее в нем тон «Молоко» напоминало младшего брата «Переплета». Только старшие поклонялись Достоевскому, а в «Молоке» — Флоренскому. И это был плохой знак для Романцова.

Романцов не видел себя в переплете с кавычками, но отправил туда «для возможного опубликования» свой «Институт».

Прошло две недели, редактор отдела прозы «переплетчиков» молчал. Это Романцова не устраивало, рассказ был послан для получения ответной реакции. Но мало ли что бывает, вдруг человек безумно занят. Чтобы прояснить ситуацию, он попросил «сообщить о состоянии дел». Молчок. Еще через две недели по электронной почте отменил заявку на публикацию. После этой «контрольной закупки», также оставшейся без ответа, понял, что одолеть пескаревую мудрость редактора не сможет.

И уже только для чистоты эксперимента послал в «Молоко» просьбу сообщить, подходит ли «Институт» для публикации на их сайте. Сначала одному редактору, а спустя неделю — второму. Предварительный диагноз подтвердился: «Осторожные зрители молча кутались в шубы…»

Романцов не поверил в окончательность расклада. Он обнаружил, что «Литературной газетой» руководит автор «Ста дней до приказа», а у «ЛГ» имеется приложение — «Литературный резерв», в котором печатали прозу.

Редактор «Резерва» откликнулся в тот же день, попросив рассказать о себе. Романцов сообщил, что родился за четыре года до того, как был запущен первый искусственный спутник Земли, а «Институт» появился спустя полвека после этого события. И получил ответ: «Рассказы молодых мы ещё иногда печатаем, а вы — в возрасте прозаика. Вам в серьёзные журналы надо, а у нас газета. Удачи. Журналы ищите в Интернете в «Журнальном зале».

Хотя редактор изобрел удивительный титул «в возрасте прозаика», но пожелание удачи согревало.

Видя, что попал на людей отзывчивых, Романцов попросил координатора «Литрезерва» Сергея Шаргунова прочесть рассказ и порекомендовать — кто бы мог его принять. Шаргунов с ответом тянуть не стал: «По-моему, неплохо, но я не знаю, куда это посоветовать направить. Полно толстых журналов! Попробуйте».

Но Романцов, помня свой опыт молчаливого общения с «Новым миром», сделал еще одну попытку найти что-нибудь менее кастовое.

Задавшись вопросом: где печатается сам Шаргунов? — Романцов наскочил на «День литературы», приложение к газете «Завтра».

Хозяином «Завтра» оказался Проханов. Его заместителем и главным по «Дню» — Бондаренко. Имя Проханова было на слуху и как-то ассоциировалось с Лимоновым. Но решительно ничего конкретного о нем Романцов не помнил, даже названий его произведений не слыхал. «Завтра» с приложением боролись за Державу.

Просматривая номера «Дня», Романцов увидел шаргуновское поздравление семидесятилетнему мэтру: «Почему Проханов… утром посылает воздушный поцелуй узнику Краснокаменска, а вечером благословляет его надсмотрщика? Потому что желает быть на плаву…»

Ну, выбрал Шаргунов тему для школьного сочинения: «Мое представление о счастье»! Нет бы, как другие поздравители юбиляра — о Тургеневском Базарове. Или, как самые одаренные из них — о себе.

Радовала борьба за Державу, расстраивала проза. Не читает ее у них, что ли, никто?

Но эксперимент требовал продолжения.

Отправив «Институт», поднаторевший в получении отказов Романцов не стал долго дожидаться ответа, а уже через неделю позвонил в редакцию:

— Скажите, пожалуйста, адрес электронной почты denlit@rol.ru рабочий?

— А вы хотели бы, чтобы он был нерабочий? — неожиданно куснула дама.

— Зачем же! Просто я выслал на этот адрес свой рассказ и хотел уточнить, получили ли.

Дама взвинчена:

— А как ваша фамилия? Романцов? Нет, такой не было, не помню, не помню я, но сейчас поищу. Вот нашла. К сожалению, ваш рассказ нам не подходит.

— Не могли бы сообщить — почему?

— Ну, как вам сказать? Я читала, читала, довольно подробно читала! И тематика рассказа вроде бы наша, но конец скомкан, скомкан! Можно было бы отредактировать, но мы не редактируем. Нет, нет, не занимаемся мы этим!

— Простите, с кем имею дело?

Гул взлетающей ракеты:

— Я заместитель главного редактора, критик и поэтесса! Если вы хотя бы два-три номера нашей газеты смотрели, то сразу увидели бы мои материалы!

И вдруг, когда еще даже не перестал вибрировать восклицательный знак патетической фразы, деловито:

— Мы газета частная, хоть и принадлежим союзу писателей, знаете, поэтому можем опубликовать ваш рассказ платно.

Романцов, открывший от неожиданности клюв, к счастью, быстро встряхнулся:

— И почем?

— Ну, это полосной материал, знаков тысяч на тридцать! Простите, вы в писательском деле что-нибудь понимаете? Я так и думала! Так что у вас знаков тысяч тридцать. Сокращать там нечего, невозможно ничего сократить. Так что тридцать тысяч рублей — и публикуем вас вне очереди!

— И редактировать не надо?

— Нет, тогда редактировать ничего не надо! Прямо в следующем номере и напечатаем!

По рублю за знак. Прямо сейчас.

— И члены Союза писателей публикуются за деньги?

— Нет, члены бесплатно. Мы либо берем их материал, либо членам отказываем, но бесплатно!

— Скажите, а Бондаренко ознакомился с моим рассказом?

— Владимир Григорьевич знакомится только после меня, если я сочту нужным, я кладу ему на стол в печатном виде!

Существовали еще литературные конкурсы. Например, «Держава», учрежденный Общественной палатой Российской Федерации. Но в объявлении о нем, увиденном в «Молоке», было четко сказано, что он для публицистов и спасителей Отечества. За спасение Отечества сулили триста тысяч рублей.

Романцова поразило несоответствие масштабов России той убогости духовных запросов, что обслуживались найденными литературными салонами. Решив, что каким-то образом проскочил главное, он снова взялся за поиск. Но нашел только десяток-другой тусовок, широко известных в очень узких кругах, что-то вроде обществ любителей недосоленных вареников. Проявив упорство, докопался до такого благообразного проекта, как учрежденный Гордоном журнал для провинциальных писателей «Коростель», живущий на казенный кошт. Чего только не учреждал шустрый Гордон, чем только не кормился — от «Партии цинизма» до пасторально-квазипатриотического журнала.

Добравшись до литературного портала, который содержал некто Лео Гимельзон, рекомендующий себя «русским, украинским, английским и немецким поэтом и прозаиком, Президентом Всемирного Союза Писателей», Романцов поиск прекратил.

Оставались только «толстые журналы».

Дело почти дохлое, как к нему подойти, если ты с улицы? Сирому человеку один путь — смирение! Романцов представил, как является в редакцию в образе Евгения из «Медного всадника»: «Картуз изношенный сымал, смущенных глаз не подымал и шел сторонкой». И тихой сапой пропихивает какой-нибудь текст. Что-нибудь из нездешней жизни.

Но Романцову хотелось из здешней.

Просматривая перечень участников «Журнального зала», Романцов обнаружил, что в нем нет «Москвы». Все крупные, советские когда-то, журналы представлены, а «Москвы» нет! Может, вот оно?

Всезнайка Интернет поведал, что с девяносто второго года «Москвой» управляет Бородин, автор романа о социальной и нравственной губительности атеистического коммунистического режима и противостоянии ему интеллигента и мужика.

Вот кто губил души Чубайса и других героев, а мужик и интеллигент их все-таки отстояли!

Романцов кликнул последний номер журнала. Роман-хроника Дурылина «Колокола»:

«Николка умер в старости, тихо, под колоколами. Звонили к обедне в Вознесенье: Василий с Чумелым на верхнем ярусе, а на среднем, как всегда, Николка с подзвонком Колькой. Благовест был в полузвоне, когда Николка, звоня в Княжин, сказал Кольке, надавливавшему ногой доску с путлей от малых колоколов…»

В том же номере святитель Феофан Затворник длинно, с цитатами, толковал свой тезис: «Грех любит полновластие», — а игумен Нектарий по-хорошему предупреждал:

— Маленькое молитвенное правило говорит о теплохладности — и ничего страшнее этого в духовной жизни нет!

И посреди этого благолепия — заведующий культурой от Павловского со своим, наболевшим: прицениваясь к высоте полета Прилепина, находит ее низкой.

Боже мой! Неужели Дурылин, Феофан и Павловский — единым фронтом, к заветной цели?

А ведь «Мастера и Маргариту» Булгакова Романцов впервые прочел в семидесятом именно в «Москве»!

Романцову пришлось вернуться к «Журнальному залу». Несколько раз просмотрел список изданий. Не тянуло никуда. Но когда на болоте нащупываешь дорогу, приходится тыкаться и в подозрительные места.

Романцов выбрал кочку поприветливее на вид. Он отправил рассказ в «Знамя».

Позвонив в редакцию через две недели, Романцов удивил ответственного секретаря своей шустростью. Секретарь взяла еще две недели, потом неделю, потом три дня, день. Наконец Романцов услышал долгожданное:

— К сожалению, ваш рассказ мы напечатать не можем!

— Вам не понравилось или по каким-то другим причинам он не подошел?

— Для нас это одно и то же!

— А что именно Вам не понравилось?

— Я не читала, честно скажу, врать не буду, не читала! Но наш сотрудник сказал, что не подойдет.

— Скажите, кто бы, по Вашему мнению, мог принять?

— О нет, что вы, это едва ли где примут!

Картина сложилась. Дописывая в ней какую-то малозначительную деталь, Романцов отправил рассказ в саратовский журнал «Волга». Контрольный выстрел.

— Поворачивай домой, Ланцелот умер! — сказал кот.

Но упрямый ослик сказал:

— Поворачивать не согласен. ©

Январь 2009 г.

О ВАЖНОМ
В ПРОЗЕ И В СТИХАХ

© Художник Елена Любович

Протоиерей Андрей Ткачёв
(Киев — Москва)

Родился во Львове, в 1969 г. До недавнего времени был настоятелем храма преп. Агапита Печерского в Киеве, ведущим телепередач «На сон грядущим», «Сад божественных песен» (КРТ). Сейчас служит в Москве. Публикуется во многих изданиях русскоязычной прессы.

Аэропорт. Лимб

«Находящийся в путешествии временно не пребывает ни среди мертвых, ни среди живых».

— Кто это сказал: Биант, или Солон, или Протагор?

Он уже прошел паспортный контроль, похожий на аквариум, где в качестве единственной рыбы зевал пограничник, он уже положил паспорт со свежим штампом в один карман, а посадочный билет — в другой. Теперь он задержался на несколько секунд посреди пустынного зала ожидания с огромными, до потолка окнами. Там, за ними, в сером воздухе утра спали самолеты, а здесь, внутри, справа и слева шли ряды магазинов беспошлинной торговли, совершенно безлюдных об эту пору.

«Находящийся в путешествии временно не пребывает ни среди мертвых, ни среди живых».

— Совершенно не важно, кто это сказал. Важно «что», а не «кто». Этот безумный и образованный мир и так задыхается в справочной информации. Он засыпан скрупулезными знаниями о маловажных предметах, но все скользит и скользит по поверхности, а вглубь не ныряет.

Пассажир продолжал стоять на месте. «Такое впечатление, — думал он, — что мы хотим пить, но перед нами на листе бумаги — только написанная формула воды».

Он посмотрел по сторонам в поисках кафе, или бара, или чего-то вроде. Но слева от него даже освещение было приглушенным, а справа действительно был снек-бар. Но он еще не заработал, и поэтому был совершенно пуст, как брошенный корабль на берегу. Да и сам зал ожидания наводил на мысль о зимнем пляже, где видно горизонт, где птицы летают низко и кричат грустно, где и красиво, и холодно из-за соленого ветра.

С той стороны, где находился снек-бар, жужжа, к одинокому пассажиру приближалась поломоечная машина. Ею правил молодой мужчина, вовсе не заспанный, что было бы естественно, но бодрый. Машина под ним жужжала и ползла медленно. Так ползут обычно, тормозя и вспенивая воду, подходящие к причалу катера, намеренные пришвартоваться. Поравнявшись с одиноким пассажиром, поломойка заглушила мотор.

— Куда едем? То есть летим. Если не секрет, конечно.

Одинокий пассажир молчал.

— Вы извините за наглость, — продолжил «капитан поломойки», — просто я молчать не люблю, а в ночные смены вообще разговаривать не с кем. Хоть вой.

— Секретов особых нет, — без видимого удовольствия ответил одинокий пассажир, — но все люди едут и летят, как правило, или от себя самих, или за собой. Бегут или ищут, короче говоря.

— А вы? Бежите или ищете?

— Раньше я думал, что ищу, а теперь все больше думаю, что бегу. Кстати (одинокий пассажир поднял глаза на «капитана» и их взгляды встретились), вы не знаете, кто из древних сказал, что «находящийся в путешествии временно не пребывает ни среди мертвых, ни среди живых»?

— Нет, не знаю. У меня вообще образование техническое. Да и книг читать, как-то, нет времени.

— Время бы нашлось, если б было желание. К тому же сегодня электронные есть.

— Тоже верно. Желания нет. А зачем вам знать, кто сказал эту фразу?

— Да, так. Есть одна мысль, что цитируя чьи-то полезные слова, нужно обязательно называть имя автора. Иначе нечестно. Иначе совершается как бы интеллектуальная кража, и мир в целом отдаляется от искупления.

— От чего отдаляется?

— От искупления. — Последние слова пассажир произнес, несколько оживившись и снова взглянув в глаза «капитану».

— А это как?

— А давайте присядем. Вам можно?

— Если ненадолго.

Дамы, гордо демонстрирующие напяленную на них бижутерию, наручные часы и нижнее белье, молча смотрели с рекламного глянца. Сам глянец украшал стеклянные двери покамест пустующих магазинов. Дамы, смотря в никуда, натыкались взглядом на двух мужчин в зале ожидания, и к презрительному холоду их глаз добавлялась капля обиды. Еще бы! И сами они — хоть куда, и все надетое, наброшенное, нанизанное на них — престижно и мило, но обоим мужчинам они были сейчас до лампочки.

Мужчины присели, и один из них продолжил.

— Вы видели когда-нибудь, как на старых домах после реставрации или серьезного ремонта оставляют неоштукатуренным какой-то квадрат стены?

— Кажется, видел. И что?

— А то, что это не лень рабочих и не прихоть архитекторов. Это выражение одной очень простой и важной идеи. А именно: мир незакончен, недоделан, что ли. И мы приходим в этот мир, чтобы делать его лучше, доканчивать.

— А почему вы сказали не «доделывание», а «искупление»?

— А потому что мир не только недоделан, он еще и испорчен, болен. Это, в общем, довольно известная история. Но рана такова, что исцелить мир полностью уже людям не под силу, сколько бы мы его ни улучшали. Это сделает Тот, Кто мир создал. Называется все это вместе — Искуплением, или Исцелением, или еще иначе. И мы это Исцеление либо приближаем, либо отдаляем.

Но обычно — и то, и другое. То отдаляем, то приближаем. Лжем — отдаляем, говорим правду — приближаем. Воруем, причем — не только деньги, а еще — чужую славу, например, или — время… — отдаляем, совершаем милостыню или прощаем обиду — приближаем. И так повсюду.

— Интересная идея. Кто ее придумал?

— Это еврейская идея. Древняя, еще дохристианская. Скорее всего — коллективная. Ее, конечно, кто-то высказал впервые и записал, но я его имени не помню. Как не помню и того, кто сказал, что находящийся в путешествии временно не пребывает ни среди мертвых, ни среди живых.

— А вы еврей?

— Нет, я христианин. Это если по вере. А по национальности даже сказать затруднюсь. Столько всего в жилах намешано. Но если не усложнять, то — русский. Русский христианин, и поэтому имена греков и евреев в моей голове живут не постоянно. Квартируют и об отъезде не докладывают.

Наступила небольшая пауза. «Капитан поломойки» смотрел на свою желтую машину и на высыхающий след, который она оставила на полу; фотодамы смотрели на двух пренебрегших ими и цацками, что на них, мужчин; одинокий пассажир смотрел в окно на череду спящих самолетов и на один проснувшийся, разбегающийся по взлетной полосе, как по беговой дорожке.

Со стороны паспортного контроля уже начали появляться и другие редкие пассажиры. Они быстро оценивали сонную обстановку и свертывались в клубок на пустых сиденьях, либо утыкались носом в экраны телефонов и I Pad-ов.

— А вот я, верите, никуда еще не летал.

«Капитан поломойки» повернул лицо к собеседнику. Грусть отобразилась в его глазах; грусть и уменьшенная до размеров зрачка шеренга спящих самолетов.

— Всю смену ездишь туда-сюда, полы моешь, день за днем смотришь на объявления: Стамбул, Амстердам, Цюрих… «Объявляется посадка…» «Заканчивается регистрация…» Люди тысячами куда-то спешат с чемоданами, с детьми, а я возвращаюсь с работы в съемную хату, смотрю телик и никуда не еду.

— Грустно, — сказал в ответ одинокий пассажир, и глаза собеседников снова встретились.

— Очень грустно. — Подтвердил «капитан». — Аэропорт, по-моему, вообще грустное место.

— Да-а-а, брат. Вот уж, что да, то — да. — Протяжно произнес пассажир. — Видимо и прав тот древний, имя которого я забыл, который сказал: «Находящийся в путешествии временно не пребывает ни среди мертвых, ни среди живых». Ты вот никуда не летаешь, а тоже грустишь, потому, что ходишь среди людей, временно находящихся ни там, ни сям. Прямо лимб какой-то.

Люди в зале умножались в количестве медленно, но верно. Молчание двух мужчин затянулось и становилось тягостным.

— Ладно, пойду я. Пол мыть. Начальник увидит, что я остановился — орать будет. Счастливого вам пути. Я забыл: вы от себя, говорите, сбегаете, или наоборот — себя ищете?

— Да не знаю я. Наверное, и то, и другое. А ты, это… книжки читай. Хорошая книга равна далекому путешествию. К тому же сейчас они электронные есть.

— Это тоже еврей сказал?

— Про электронные?

— Нет. Про то, что книжка равна путешествию. Если хорошая, конечно.

— Нет. Это Декарт сказал. Картузий, то есть. Француз он.

— О, этого вы по имени помните. Значит, в этот раз чужую славу не украли.

— Значит, не украл.

— Значит, искупление мира приблизили.

— Значит, искупление мира приблизили. — Медленно повторил, словно пережевал, пассажир и, улыбаясь, поднял лицо на «капитана». В это утро он впервые улыбнулся. Да и вчера, кажется, не был особо весел.

Спор книг против Библии

Книги разговаривают. Это несомненно. И разговаривают они во всех жанрах, то есть спорят, доказывают, высмеивают, болтают о том, о сем, глубокомысленно рассуждают, несут бред, открывают тайны. Все, короче, что говорят, поют, кричат и шепчут люди, кричат, поют и шепчут книги. Только делают они это молча.

Человеку, чтобы заговорить, нужен тот, кто его услышит. В обычном случае это — такой же обыкновенный человек (аудитория людей), в клиническом или же поэтическом случае — что-то из мертвой материи или несловесного животного мира, в лучшем случае — Бог.

Книге же, чтобы заговорить, нужен читатель.

Говорящий человек открывает рот, работает мускулами лица, вдыхает и выдыхает воздух. Читающий человек разгибает книгу, переворачивает страницы, вперяет взгляд в смело стоящие шеренгами буквы, шевелит извилинами. Посредством этих невзрачных по виду действий, книга звучит тем умным звучанием, для которого не нужны звуки.

Соломон, говорят, знал язык животных. Там, где для нас журавли всего лишь курлычат, а кошки всего лишь мяучат, Соломон извлекал полноценную информацию (в том случае, если этим даром обладал). В пору моего неизбежно счастливого детства — ибо детству приказано быть счастливым, хоть бы и по причине отсутствия больших грехов — скупой на многообразие каналов телевизор по одному из двух черно-белых пока-

зывал чешский фильм о некоем короле. Тот, как положено, жил в замке, был бородат и носил корону. Но еще он знал язык животных, потому что съел кусочек чего-то волшебного (кажется — печеной змеи), что кроме него съел еще кто-то, уже случайно и в обход приличий. На том и драматургия фильма строилась.

Хороший был фильм, но не о нем сейчас. Можно съесть нечто и «смертью умереть», как Адам и жена его сделали. Можно съесть Нечто и жить вовеки, как и Спаситель в Евангелии говорит, а Церковь на Евхаристии совершает. Можно съесть что-то в чешском кино и выуживать информацию от пары воркующих под окнами голубей. А вот что такое можно съесть, чтобы слушать разговор книг между собою, не читая в этот момент ни одну из них?

Содержа в себе различную степень различных знаний, да еще и из разных областей, книги так же умны и так же узки, как люди. Узкие же люди сплошь и рядом спорят друг с другом, потому, что один знает «это», другой —

© Художник Елена Любович

«это», и каждый думает, что знает «все». Я уверен, что и книги спорят. Например, книга по кулинарному искусству, полная чувством значимости, наверняка по ночам на библиотечной полке доказывает поэтической антологии, что та неосязаема желудком, а значит, в принципе бесполезна. Антология в ответ кипятится и подбирает убийственные цитаты, но что отвечать толком — не знает, пока с соседней полки не раздастся голос какого-нибудь Флоренского или Бердяева, авторитетно ставящих все на места и разграничивающих пределы пользы для каждого участника спора.

Такие споры непременно ведутся, уверяю вас. Говоря шире, можно утверждать, что такие споры велись и среди пластинок в прежние времена; что спорят нынче между собой о степени общественной пользы и наполненности Богом аудиодиски с разными дорожками. Спорят, наверняка, картины в музеях, да и вообще… Вернемся лучше к книгам.

Сегодня, если ночью в школьной, а лучше — университетской (там книг больше) библиотеке непримиримые соперники спор заведут, то их успокоить можно. Тот же Бердяев или Достоевский, или иной кто, что тоже в метафизике силен, поднимет голос и прекратит спор. А раньше хуже было. Раньше в библиотеке (скорее — школьной, да еще и сельской) растрепанный Демьян Бедный на полке Фурманова подпирал, и спорить им было, по большому счету, не о чем. Конечно, всегда книги о путешествиях подсмеиваются над брошюрками о местных достопримечательностях. Еще бы! Те мир повидали, а у этих на уме только то, что построено недавно в соседнем райцентре. Всегда шипели и побуркивали друг на друга физики и лирики. Но и те, доложу вам, если на глубине — атеисты, то спорят только о пене на поверхности, а не о сути. Поэтому, наспорившись за года, стоят себе молча и дышат общей пылью.

Есть жаркие политические споры книг, написанных на тему «Что делать?» в одном столетии, над которыми посмеиваются исторические справочники, хорошо знающие — чем все закончилось. Есть тихий шепот дневников и переписок, который, если споры затянутся во времени и накалятся, пытается успокоительно шелестеть в темноте: «Да бросьте вы. Миры и тайны отдельных душ важнее ваших глобальных вопросов». Всех этих бумажных диалогов так много, что увлеченный темой человек может всерьез задуматься — а что такое съесть и мне, чтобы подслушать этот галдеж и шепот, куда более интересный, чем галдеж дореволюционного Привоза или шепот исповедальни?

Не надо ничего есть. Не надо также ничего курить (если мысль ваша искривилась в эту сторону) или пить. Послушайте лучше меня, и я вам расскажу то, что сам знаю. Лично я спорящих книг не видел и не слышал, но один из моих знакомых слышал и мне рассказал. Это было в пору его студенчества. Человек он был чрезвычайно талантливый, и в ту же меру расхлябанный и к учебе не усидчивый. Такие люди часто привлекают к себе внимание тех преподавателей, о которых говорят, что они «от Бога». Видя перед собою явный талант и прозревая его очень возможную погибель или просто бесполезное в будущем угасание, такие

преподаватели стремятся высвободить усмотренную ими прекрасную статую из-под массы лишнего мрамора. Этим, не исключено, надеются послужить человечеству (!), а также вписать свое имя в Анналы.

Мой ленивый и талантливый друг избрал для себя в качестве места получения образования скамью студента исторического факультета. Там он вскоре и привлек внимание сокурсников изобретательностью на различные выходки и лидерским характером, а преподавателей — искрометной смесью эрудиции, живости ума и разгильдяйства. Один из преподавателей кафедры и решил мягко взять юношу на попечение.

Уберем интригу — преподаватель не был одинокой и сохранившей свежесть женщиной средних лет. Преподаватель вообще не был женщиной. Это был мужчина, причем — почтенный, семейный и без тех гадостных наклонностей, которые нынче стремятся стать нравами. Отсечем, таким образом, сразу для скользких умов возможные пути для изобретения различных ненужных версий. Все было чисто. Настолько чисто, насколько это вообще иногда может быть чистым в нашем падшем мире, в котором можно читать книги с утра до вечера и все же умереть однажды в совершенном невежестве.

Преподаватель и ученик стали общаться по инициативе первого из двух. Встречи происходили на дому у инициатора. Как правило, поводом были книги, которые преподаватель рекомендовал студенту для прочтения. Раз в десять дней молодой человек приходил, чтобы вернуть прочитанное, взять новое, попить чайку с пирожками и обсудить с преподавателем все то, что, по закону сообщающихся сосудов, перетекло в его сознание из освоенной литературы.

Вас ведь не интересует, в каком городе происходили события, на какой улице жил преподаватель, пирожки с чаем перед ними на столе ставила хозяйка? Меня лично это совершенно не интересует. Меня интересуют книги, точнее — их невероятный, однажды подслушанный спор. Кстати, уберем еще одну скользкую тему, часто волнующую интриганов. А именно — молодой и симпатичной дочки у преподавателя не было. И я даже не собираюсь вспоминать были ли у него вообще дети. Меня сейчас это совершенно не интересует. Главное, что у него были книги. Много книг.

«Все между них рождало споры. Все к размышлению влекло: племен минувших договоры, плоды наук, добро и зло…»

Этой цитатой, чтоб не выдумывать фраз собственных и часто неуклюжих, я хотел бы очертить характер бесед двух представителей двух поколений. Естественно — разговоры заходили, бывало, и заполночь. А великодушно ли отправлять на трамвай молодого человека среди ночи, если ты своим оком ума прозрел в нем возможную славу науки или великое имя отечественной истории? Очевидно, что и не великодушно, и близоруко. К тому же потеряется глава из мемуаров, которую можно будет начать словами: «Нередко он оставался у меня…»

В одну из таких ночей, когда диван в кабинете стал для студента постелью, и когда шотландский плед покрыл его спящего, не снявшего ни брюк, ни рубашки, ни даже носков, ухо молодого человека услышало дивное.

— Если высокое собрание позволит, я хотел бы продолжит тему, начатую прошлой ночью.

Студент открыл левый глаз. Уличный фонарь бросал сквозь занавеску в комнату расширяющийся луч голубоватого света, так что, присмотревшись, можно было разобрать более или менее все, на чем глаз сделает остановку.

— В прошлый раз мы подняли тему справедливости и несправедливости в отношении людей к книгам религиозным и к прочей литературе. Но фактаж был выбран неудачно. Мы затронули Упанишады, а так как большинство из нас имеет счастье принадлежать к европейской мысленной традиции, то и знаний наших для освещения темы оказалось недостаточно. Сегодня я предлагаю взять тему более знакомую. Я предлагаю повести разговор о Библии.

Студент лежал с полуоткрытым левым глазом и боялся дать себе отчет в происходящем. Голос исходил от красной книги в твердом переплете, которую они с преподавателем в частности обсуждали минувшим вечером. «Речи дореволюционных адвокатов России», так, кажется, она называлась. Они читали оттуда речь в защиту Веры Засулич, стрелявшей в генерал-губернатора и на суде присяжных оправданной. Он помнил, как поразил его факт того слепого и беззубого человеколюбия, которое оправдывало убийц и разрушителей государства за считанные годы до революции. Правда, из всех фамилий, приводимых в книге адвокатов, он запомнил только фамилию Плевако. Уж не его ли голосом сейчас говорила книга?

— У кого будут вступительные соображения?

— У меня будут, — грубовато откликнулся кто-то со стороны стеллажей, занимавших всю стену.

— Мы слушаем, коллега.

— С точки зрения материала, то есть бумаги, красок, картона и так далее, Библия — такая же книга, как все. И мне не понятно, почему ее, например, после прочтения целуют, а нас — нет.

— Покажите мне дурака, — пискнул тонкий, похожий на женский, голос, — который будет целовать после прочтения «Географический справочник Евразии»?

— Справочники тоже целуют. — Раздался еще один голос, солидный и медлительный. — Здесь нет ничего удивительного. Просто книги с точными знаниями взывают к уму, не к эмоциям, а поцелуй, как известно, дело целиком эмоциональное.

— Пусть «Начала математического анализа» заткнутся и не участвуют в дискуссии. От них спать хочется, но именно спать-то и не дают, потому что бубнят свои «точные истины». Пусть заткнутся!

— Вы, господин Ремарк, известный хам, — ответил так же медленно и солидно голос «Математического анализа». — Все пьяницы хамы, за исключением, разве что, Хаяма. Но мы подняли тему и на йоту к ней не приблизились.

— Это потому что Библия ближе к поэзии, и не вам, болванам, набитым цифрами, о ней рассуждать, — продолжил несколько заплетающимся языком рассекреченный Ремарк. — Правда, Сафо?

— Да, милый, — уже не пискнула, но мурлыкнула предыдущая дама.

К раскрытому на половину глазу студента (как он мне сам рассказывал) добавился уже разинутый рот. Он хотел щипнуть себя, но сдержался. Это не был мираж, или сон, или галлюцинация. Пирожки, съеденные накануне, не были с маком. Он лежал на диване, как на сцене, а вокруг него, словно зрители античного цирка, галдели все больше и больше различные книги. Галдели голосами своих авторов.

— Стоп, господа! Стоп! Я требую тишины. (Это был Плевако.) Развивая тезис, высказанный в начале, я мог бы сказать, что уместны вопросы и недоумения миллионов книг. Формализуем причину. В ней — Библии — те же краски и бумага. Но ей — алтари и храмы, поклонение и обожание, а нам — даже не капля от всего этого. Почему? Не уместно ли будет предположить, что в ней, кроме материала, о котором так заботится справочная литература, есть нечто иное, великое?

— Хватит нести чепуху! Я хоть и пьян не менее Ремарка, но так же трезв умом, как ваш хваленый астроном Хаям. И я требую, если угодно, то и по-английски: хватит! Это говорю вам я — Чарльз Буковски, которого всю жизнь тошнит, тошнит и сейчас, но уже по вашей милости.

— Почему же хватит? — раздалось несколько встревоженных и как бы испуганных голосов.

— Библия-шмиблия. Метафизика, муки совести… Все это чушь.

— Сжег бы я вас, во славу Божию, и не поморщился бы.

Этот голос был четок, строг и похож на звук небольшого серебряного колокола.

— Кто это там гавкает, — спросил Буковски.

— С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает епископ Гиппона по имени Августин, названный Церковью Блаженным.

— Нам это что-то напоминает, — сказали два очень похожих голоса, в ответ на вопрос «кто вы?» — ответившие: «Мы — братья Вайнеры»

— Прости меня, Любовь моя. Я дал волю эмоциям, — произнес тихо тот, который Августин, уходя из дискуссии.

Если бы уличный фонарь мог моргать, глядя в окно, он бы моргал от удивления.

Этот галдеж с участием поэтов, философов и беллетристов, толстых журналов и газетных подшивок, разгорался все больше. Много

раз раздавался крик: А где сама Библия? Почему она молчит? Пускай эта тихоня, полная обманов и противоречий, защищается!

Но Библии либо не было, либо она хранила намеренное молчание, как и ее Автор когда-то перед лицом Пилата.

Запомнить всех участников спора не было никакой возможности. К тому же было очень трудно лежать, не шелохнувшись, в страхе пошевелиться и спугнуть неслыханное действо. Но что хорошо запомнил студент, так это то (как он сам мне и рассказывал), что слово, наконец, взял какой-то малоизвестный автор. Не такой, во всяком случае, как Августин или Сартр (тот тоже кипятился без меры). Он попросил слова и Плевако дал ему возможность высказаться.

Неизвестный автор попросил заранее прощения, за что был грубо обруган французскими поэтами во главе с Рембо, и начал тихим голосом свое слово. Оно было простым, но объемным; аналитичным, но не перегруженным. В конце, говорят, даже Платон два раза ударил в ладоши.

— Во всех вас есть что-то, а в ней (Библии) есть все. — Так начал докладчик. — В ней есть притчи и сказки, ее сюжеты стали бродячими, плодотворят всю мировую литературу.

Отвечая на вопрос: «какие сюжеты?» — докладчик сравнил притчу о блудном сыне со сказкой о Золотом ключике, провел штук семь неопровержимых аналогий, чем закрыл всем рты, и продолжил:

— В ней есть биографии. Например, Давида и Моисея. Есть героический эпос. В ней, естественно, есть космогония, то есть рассказ о происхождении мира, данный языком мифа. А раз так, то в ней есть и Апокалиптика, то есть пророчества о болезненном преображении мира в результате обострения борьбы добра и зла.

В ней есть законы, прошу заметить это полке с юридической литературой. Но не только законы, о которых говорят, что они сухи. В ней есть поэзия: псалмы, гимны, любовная лирика.

В ней есть эпистолярный жанр, то есть письма и послания, есть множество молитв. Даже телефонный справочник найдет свое сходство с ней, ибо в ней есть генеалогии с множеством имен и перечисления колен и родов. Что же говорить о Гете, который списал пролог к «Фаусту» с книги Иова?

Докладчик говорил и книги слушали. Одни — из уважения к качеству материала, другие — от радости за милую им истину, третьи — едва сдерживаясь от негодования. Многие просто спали.

Мой же друг не спал. Он старался слушать в оба уха, хотя одно из них лежало на подушке и было почти бесполезно. Докладчик еще пообещал, в случае согласия аудитории, подготовить к следующему разу небольшое слово о языке Библии, о наличии в ней метафор, метонимий, гипербол и прочего. Он бы пообещал в качестве факультатива прочесть лекцию о сюжетах Библии в европейской живописи и даже кинематографе. Но…

Мой друг чихнул.

Да, друзья, мой друг чихнул. А еще Чехов в свое время сумел показать, к каким катастрофическим последствиям может привести человеческий чих не во время. И пусть мой друг не обрызгал лысину впереди находящегося начальника, пусть он и не умер потом от страха, как это Чехов изобразил, но бессовестным своим чихом он прекратил разговор. Книги не начали шуметь, разбегаясь. Нет. Они и говорили-то, стоя на месте и не двигаясь. Но они просто умолкли.

Я хотел бы вам рассказать дальнейшую судьбу этого молодого человека, потому что, бьюсь об заклад, вы умираете от любопытства узнать, что же было дальше с этим удивительным слушателем невероятных разговоров. Я хотел бы… Но не расскажу. Скажу только…

Впрочем, нет. Даже этого не скажу. Только скажу, что я лично ему завидую. И сколько раз потом я намеренно ни напрашивался в гости к различным профессорам, у которых книг дома больше, чем волос на голове; сколько ни ночевал в читальных залах, специально прячась от закрывавших двери дежурных — все впустую. Я и гладил их ласково в надежде, и бросал на пол от ярости, я делал вид, что ухожу и потом тихонько возвращался, я даже целовал корешки и умолял сказать хоть пару слов. Все напрасно. Они по-прежнему давали себя читать, позволяли переворачивать страницы и делать выписки, послушно ложились в портфель и становились на полки…

Со временем я понял, что этого достаточно.

Протез не в счёт

(стихи о. Андрея Ткачёва)

***

Протез не в счёт. И значит, на одной
Своей ноге ты вышел на свободу,
И смотришь так, как может только Ной
Смотреть на отступающую воду.

Тебя пугает шум, хотя засим
Ты любопытен и глядишь на лица.
Людей так много. Видно, Хам и Сим
Сумели чрезвычайно расплодиться.

Одеты ярко. Взгляд у всех остёр,
А речь отрывиста. Слова у них не льются.
Гляди — не пей и не ложись в шатёр,
Не то и обнажат, и посмеются.

15-я глава. Три потери

Овца потерялась. Найди, попробуй.
Монета упала, и на ребре
Круг описав, закатилась в угол.
Но самое страшное — сын ушёл.
Взял не дрожащей рукою деньги,
Хлопнул дверями и был таков.

Нужно вначале найти монету,
Пусть зажигает жена светильник,
Ищет внимательно, а пастух
В горы идёт. И пускай обратно
Только с овцой на плечах приходит.
Я же закрою лицо руками

И у окна, замерев, присяду,
Стану как мёртвый для домочадцев,
Стану весь слухом и ожиданьем.
Может быть, крикнут: «Идёт! Вернулся!»
Долгие дни проведу в мученьях,
Слепнущий взгляд устремляя в окна…

«Сын мой! Сильнее, чем вихри страсти,
Глубже, чем омут твоих пороков,
Жарче, чем ласки блудниц, которым
Ты раскидал все мои подарки,
Жарче, чем стыд, что тебя измучит,
Моря сильнее, земли богаче
Сердце отца к своему ребёнку…

Сын мой! Дитя моё! Слышишь? Где ты?»

Вход в Иерусалим

Я думал, ты тяжёлый. Нет, напротив,
Сидишь так мягко. Не болит спина.
Не то, что в прошлый раз. На повороте
Я был неловок, и вон та стена
Мне даже ободрала бок до крови.
Ослам не сладко. Хорошо корове.

Коров не бьют. Их доят, кормят сытно.
Одним ослам беда на целом свете.
Людей так много, ничего не видно.
Все машут ветками, кричат, и эти дети…
Откуда столько набралось народу?
Так много шума я не слышал сроду.

Гляди — одежды стелют мне под ноги!
Копытам мягко, даже непривычно.
От этих тряпок не видать дороги.
Нет, день сегодня, вправду, необычный.
И ласкова рука у Седока.
Такая сильная, но добрая рука.

Скажу ослам — они мне не поверят,
Чтоб брата нашего с таким встречали шиком.
И в каждом доме настежь окна, двери.
Гляди, кричат. Сочли меня великим.
Одежды, ветки… мне? Невероятно!
Седок отменный, и везти приятно…

Два-три клопа залезли под обои,
И две-три мысли в голове осла
Жужжат, звенят и не дают покоя.
Осёл идёт; душа его светла.
Он службу херувимскую свершает,
Пусть неосознанно, но честно, без затей.
А Тот, Кто едет — путь свой завершает
И с грустью слышит голоса детей.

Время

Отнюдь не ветер шевелит листвой
И не сквозняк волнует занавеску...
Как боль все звуки превращает в вой,
И как крючок увенчивает леску,
И лысине царя корона — бремя,
Так я хочу понять, что значит время.

Оно играет высохшей травой
И в каждый день несет свою заботу.
А если боли нет, но слышен вой,
То, значит, время сделало работу:
Краса увяла, замок обветшал,
Собачий лай ворам не помешал.

И монотонно капает вода,
И на лице являются морщины,
И разрастаются, как язвы, города,
И в женщин превращаются мужчины…
Часы с руки отбрасываю прочь.
Где время правит — делу не помочь.

Иосиф в кафе

Из кухни слышен запах чеснока,
Плюс мяса и поджаренного лука,
В окно видны дома и облака...
Поэт, чей гений закален разлукой,
Ждёт бизнес-ланч и, сидя у окна,
Твердит местоимение «она».

Она ушла, давно и навсегда.
Принять сей факт труднее, чем рехнуться.
Бежит в реке прозрачная вода,
Чтоб никогда обратно не вернуться,
И жизнь бежит, но не проходит боль,
Съедая сердце, словно шубу — моль.

Несёт из кухни в худеньких руках
Официантка блюдо с бизнес-ланчем.
В глазах печаль, на девичьих щеках
Румянец отливает помаранчем,
Косая чёлка, ровная спина,
Рост выше среднего, мила, но не «она».

Уж сколько этих, тех, что не «она»,
Перевидал он в профиль, фас и лежа!
Всегда «она» рифмуется с «одна»,
И эта рифма поплотней, чем кожа.
Сейчас он счёт оплатит и: «Пока!»
Лови слезу, небритая щека.

***

Живи по-римски в Риме, но в Содоме
Не оставайся на ночь, даже не
Ночуй. Иначе двери в старом доме
Начнут трещать от натиска извне.

Случится удирать — без проволочек
За руль! И жми, не огибая ям,
Но не бери с собой вина для дочек,
Иначе дедом будешь сыновьям.

Игру воды нам наблюдать приятно,
Огня тем паче. Но когда горит
Содом, скорее жмурься. Вероятно,
Твой взгляд испортит твой же внешний вид.

Соль — перец — зубочистки. Все, как надо,
Стол сервирован, но при слове «соль»
Встает фигура женщины, из ада
Сбежавшей, и в уме рождает боль.

Столбы из соли там, где дождь, как манна,
Стоять способны долгие года,
Она стояла долго. Слово «мама»
В уста из соли влипло навсегда.

Столбы из сахара едва ли были где-то,
Столбы из камня — на любом углу.
А Лотова подруга, в соль одета,
Глядит на пост-содомскую золу.

Зола вобрала всё: и кровь, и семя,
И ужасом раскрытые зрачки.
А ворон сел на столб и долбит темя
Подруги Лотовой. Без смысла. От тоски.

***

Кальсоны надо покупать с начёсом,
Пить на ночь обезжиренный кефир.
(«Кентерберийские рассказы» — это Чосер,
Перелистай, коль едешь на эфир).

Зимой без шарфа выходить не надо
Стареющим, здоровье — благодать.
«Чистилище» весьма слабее «Ада»
(Пометка: не забыть перечитать).

Бессонница роднит тебя с совою.
Сосед напротив поздний ужин ест.
Ночь. Розанов с «Опавшею листвою».
Читай всю жизнь. Ничуть не надоест.

Анатолий Ковалёв
(Россия, Москва)

Писатель, сценарист, драматург. Родился 4 июля 1962 года в Свердловске. Учился на филологическом факультете Уральского государственного университета, на отделении драмы в Литературном институте им. А. М. Горького. Член Союза писателей России с 1997 года. Автор серии детективных, а также историко-авантюрных романов, оригинальных сценариев и адаптаций. Один из ведущих авторов киноэпопеи «Бедная Настя».

Опубликованный рассказ принадлежит к серии рассказов о детстве «Шлагбаумы и Фуркенштейны». Главный герой — мальчик из русско-еврейской семьи, место действия — Свердловск, время — начало семидесятых...

Дедушка Шлёма торгует коньками

(Из книги «Шлагбаумы и Фуркенштейны»)

> Кому какое дело, хорошо это или плохо, прилично это или не прилично? А если кому-либо не нравится, пусть глаза закроет, пусть уши заткнет.
>
> *Менделе Мойхер-Сфорим*

Его скрывали от людей. О нем не принято было говорить вслух. А если уж говорили, то шепотом. А если шепотом, то с глазу на глаз. И рассказывали такое, о чем лучше молчать.

Фрума Моисеевна как-то случайно обронила: «Шлёма теперь совсем пропадет». А Гершл Давидович тут же замял: «Ша! Не будем!»

Пине в ту пору было лет шесть, и проскользнувшего в разговоре Шлёму он воспринимал, как нечто неодушевленное. Все равно, если бы бабушка сказала: «Дуршлаг теперь совсем пропадет», а дедушка, не желая покупать новый, потому что «он денег стоит», ответил бабушке: «Ша! Не будем!»

В одно прекрасное утро Пиня проснулся от того, что рядом кто-то всхлипывал. Протерев глаза, он увидел странную картину. Бабушка сидела за столом с самим Гитлером, и говорила с ним «по-немецки». Только Гитлер — очень-очень старенький и почему-то плакал. Бабушка тоже плакала. Скорее всего, она жалела Гитлера, ведь у того из носков выглядывали все десять пальцев, а рядом стоял чемодан, с оторванной ручкой, перевязанный бельевой веревкой. «Гитлер драпал от „наших", а бабушка его пожалела и спрятала», — так решил внучек.

— А вот и Пинеле! Доброе утречко! — петухом пропела Фрума Моисеевна, одновременно промокая передником глаза и сметая со стола крошки. — Чего ты испугался, глупенький? Это мой брат, твой дедушка Шлёма.

— Какие славные у нас паренечки! — заверещал дедушка-фюрер.

— Ты разве не Гитлер? — напрямую спросил его Пиня. Мальчика ввели в заблуждение характерные усики и глубоко посаженные блестящие глазки Шлёмы.

— Ой, мамочки, мамочки! Какие бардзо смышленые хлопчики! Они уже знают Гитлера! — и, погладив Пиню по голове, он добавил на своем польско-еврейском диалекте:

— Гитлер убил мою папу-маму! Мишигане копф! Холера ясна!

— Ничего не ясно! Почему ты плачешь?

Пиня считал, что взрослые мужчины не умеют плакать. Он никогда не видел, чтобы папа или дедушка плакали.

— Разве это «плачешь»? — замахал своими крохотными, почти детскими ручками Шлёма. — Дедушка старенькая. У него глазка сама капает.

Причина, по которой у дедушки капала «глазка», все же была. В то самое утро, когда Пиня впервые увидел загадочного Шлёму, старика выгнала из дому собственная дочь Хайка. И по дороге к другой своей дочке, Розке, он заглянул к сестре, чтобы пожаловаться на дочерей. Всего их было трое, но о старшей, о Берте, он даже не заикался, потому что боялся ее, пуще двух других. Ведь у нее муж — «важный пан», то бишь, строгий начальник, главный инженер военного завода, к тому же, партийный. Старый Шлёма мог скомпрометировать его своей персоной. Или, вернее сказать, своей деятельностью…

Вот здесь и была собака зарыта.

Дело в том, что Соломон Моисеевич, носивший громкую фамилию Мендельсон, был бельмом в глазу у благородного семейства, костью, застрявшей в горле, прыщиком на языке, не заживающей, кровоточащей раной… Его называли обидным словом «спекулянт», потому что ничем другим он не занимался, а только пропадал целыми днями на рынке и торговал всем, что под руку подвернется. Под руку обыкновенно подворачивалось разное, поэтому Шлёму отлично знали в местном отделении милиции.

— А Розка мене любит! — уверял он сестру. — У Розки мене не обидят…

Фрума Моисеевна только качала в ответ головой и промокала передником глаза. Она знала, что у племянницы — русский муж, и когда Розка меняла в паспорте фамилию, заодно сменила и отчество, стала Розой Сергеевной. Гнушаясь всего еврейского, она даже заставляла детей своих называть дедушку «Серёжей», и всякий раз вздрагивала, когда кто-нибудь из них, бросаясь в объятья деду, забывался и кричал: «Шлёма пришел!» Почти девяностолетний дедушка «Серёжа», говорящий на смеси трех языков, вряд ли будет желанным гостем в доме русского зятя и его родни.

Напоив брата чаем, Фрума Моисеевна поторопилась выпроводить его, а иначе не приведи Господь, столкнется с Гершлом Давидовичем! Старый большевик, герой социалистического труда, почетный вулкани-

затор завода резиново-технических изделий, примется распекать шурина за тунеядство, распущенность и антисоциальное поведение.

С того памятного утра Пиня не давал бабке покоя расспросами о загадочном Шлёме, и та, с причитаниями и обращениями к Богу, чтобы избавил прилипчивого внука от излишнего любопытства, в конце концов, поддавалась на уговоры. Ее рассказы напоминали проповеди, с обязательной моралью в конце, только вместо «Аминь», она восклицала: «Ну, разве это не хохмэ, такая жизнь?»

И в самом деле, разве не «хохмэ», не насмешка судьбы, что Шлёма родился еще в девятнадцатом веке, в польском городе Кракове, и до двенадцати лет не знал ни слова по-русски.

Убежав от знаменитых краковских погромов, семья Мендельсонов поселилась в захолустном еврейском местечке, неподалеку от Киева. Жили бедно, постоянно испытывали крайнюю нужду. В семье росло девять детей, и все они вечно ходили голодными, клянча у отца с матерью еду. Шлёма, как старший сын, не мог долго этого вынести, и, будучи еще подростком, сделал первый в своей жизни гешефт. Он увел у спящего пастуха корову и продал ее в соседнюю деревню мяснику.

Потом дела пошли покрупнее. Он уже торговал целыми стадами коров и табунами лошадей, которые, как правило, числились только на бумаге. Такому сноровистому пареньку была прямая дорога в Сибирь, но Шлёма туда не торопился. Кто же, кроме него, позаботится о семье?

Началась Первая мировая война. В гости к Мендельсонам пожаловал урядник, чтобы забрить Шлёму в солдаты. Да разве можно из свиного хвостика скроить фуражку? Ну какой из спекулянта защитник Отечества? Урядник — в дверь, а Шлёма — в окно! Казенную лошадь не пришлось долго уговаривать — прыгнул в седло, натянул поводья и: «Зай гезунд! Будьте здоровы!» Он прокричал это браво, залихватски, так что маленькие братья и сестренки дружно рассмеялись, а толстый урядник еще долго махал ему вслед кулаком и сыпал ругательствами.

Семья долго не получала от Шлёмы никаких весточек, он пропал на два года, и только перед самой революцией, перевернувшей все с ног на голову, прислал под чужим именем немного денег, правда, они вскоре обесценились.

Наконец, во время Нэпа Шлёма объявился в шикарном костюме с иголочки, в фетровой шляпе и с золотыми часами в кармане синей бархатной жилетки. «Миллионщик! — говорили про него в местечке, и тут же делали предположения: — Наворовал или в карты выиграл». Однако Соломон Моисеевич был не так прост и не изменял себе. Он уже имел в Киеве целую контору, занимавшуюся рогатым и прочим скотом. Туда же в Киев он и перевез семью: родителей и четыре сестры, среди которых была Фрума. Остальные дети уже выросли и разбрелись по городам и весям. Сам Шлёма к тому времени женился и стал счастливым отцом. Пережив ужасы Гражданской войны, голод, петлюровские погромы, се-

мья наконец-то начала жить. Но счастье продолжалось недолго. В конце двадцатых годов Шлёму арестовали в Одессе, куда он поехал по делам конторы, во время облавы на молдаванских воров и спекулянтов. Его посадили не за те огромные махинации, которые он проворачивал в своей конторе, а так, за компанию с «молдаванцами», сфабриковав несуществующее дело. «Власть сама оказалась мошенницей!» — в недоумении разводил он руками. «Эта новая власть блефует почище одесского шулера, — говорили зэки на зоне, — то ли еще будет!»

Из лагерей Шлёма вернулся совсем другим человеком, уже не таким бравым комбинатором, а надломленным, враз постаревшим. А впереди была еще целая жизнь, страшная, суровая, непредсказуемая, и он крутился, как мог, на благо семьи…

— Бабушка, а когда мы пойдем в гости к твоему брату? — Пине еще раз хотелось увидеть доброго старика, услышать его странные, диковинные речи. Он казался мальчику сказочным персонажем, пришельцем из далекой страны, где обитали гномы, рыцари и волшебники.

Однако Фрума Моисеевна не спешила с визитом к племяннице. Она уже знала, что «добрая Розка» отвела отцу для жилья чулан, и чтобы не позорил их спекуляцией на рынке, устроила его на работу, ночным сторожем в ясли. «Новая хохмэ! — обращала ладони к небу бабушка. — Видали вы такое? Дряхлый старик держит в руках винтовку и пугает ею врагов. Наш урядник, наверное, радуется, пляшет гопака на том свете!»

Истории часто повторяются. Вот и Пиня в своей короткой жизни дважды пережил два одинаковых утра. Старенький Гитлер в дырявых носках говорит с бабушкой «по-немецки», и оба плачут. Громко всхлипывая, дедушка-фюрер переходит на русский вперемежку с польским:

— Ой, мамочки, мамочки! Розке мене в чулан — и на замок! Не хочу базар, кричит, сторожи ясель! А я цо? Едну ноц сторожу, другу ноц… А як же гешефт? Гешефт не должен стоять! Гешефт или кишн тухас — поцелуйте мене в зад!

— Не плачь, дедушка, — погладил его по руке подошедший сзади Пиня, — Москва слезам не верит.

— Какие добренькие паренечки у нашей Фрумки! Какие славные паренечки! — заверещал сказочный персонаж. — Москва — далече, хлопчик, а здесь — Сибир! Каторга!

— Урал, а не Сибирь, — поправил Пиня. Он уже ходил в первый класс, и мог блеснуть перед стариком знаниями.

Фрума Моисеевна тем временем собирала брату в дорогу съестное. Шлёма любил хвастаться, что у него есть «земельный надел с флигелем», а на самом деле, небольшой, заросший сорняком садовый участок с дряхлой, покосившейся сараюшкой. Именно в этом сарае он и решил теперь обосноваться, подальше от злых дочерей, чтобы дожить свой век себе в удовольствие, занимаясь любимым делом.

На этот раз бабушка оказалась менее расторопной, чем в предыдущий. Едва она упаковала все в развалившийся шлёмин чемодан и перевязала его бечевкой, как явился, не запылился супруг, герой социалистического труда и большевик со стажем.

— Так, — сурово произнес Гершл Давидович при виде шурина.

— Здоровеньки, Герцеле! Как живете-можете? — Шлёма стоял ни жив, ни мертв, сжавшись в маленький комочек. Пине в этот миг показалось, что он сейчас превратится в птичку и выпорхнет в форточку. Но Шлёме некуда было деться, а недружелюбный взгляд свояка не предвещал ничего хорошего. — А Фрумке мене не приглашала! — начал оправдываться он. — Не приглашала, нэйн, нэйн… я сам… — И вдруг поклонился бабушке в пояс: — Дзэнкуе, пани! — Потом свояку: — Дзэнкуе, пан! — И, наконец, Пине: — Дзэнкуе, панычек! — Взяв в руки чемодан, он направился к двери, не зная при этом, как ему разминуться со свояком.

— Зай гезунд… Будьте здоровы, — вырвалось у него тихо, почти, как мольба о помощи.

Возникла тяжелая пауза, после которой Гершл Давидович неожиданно сказал:

— Ладно тебе, шляхтич недобитый! Раз пришел в гости — сиди! Я вот ветчины купил в гастрономе. Целый час отстоял в очереди. Битва была! Завтракать будешь с нами?

— Трефное, Герцеле, — кротко заметил Шлёма, предприняв последнюю попытку убраться восвояси.

— Трефное? — возмутился тот. — Тоже мне, праведник выискался! Талмудист! А торговать на рынке по субботам — это как?

Шлёме нечем было крыть. Через несколько минут он уже сидел за общим столом, помаленьку отхлебывал чай и сосал беззубым ртом ветчину под нескончаемые рассказы свояка об очередях и битвах за продовольствие.

Ну, а теперь последняя хохмэ про дедушку Шлёму.

В благородном семействе начался переполох, поползли чудовищные слухи о несчастном старике. Фрума Моисеевна сама захотела убедиться в достоверности всего, услышанного от родни, и решила навестить брата в его флигеле. Пиня увязался за ней. Сказочный родственник его интересовал, как никто другой. Тем более, он давно просил бабушку навестить вместе с ним дедушку Шлёму: «Хочу в гости к старенькому, доброму Гитлеру!» И вот, в конце концов, он добился своего. Только визит этот оказался не долгим.

Шлёма при виде гостей засуетился, забегал, брался то за кувшин с водой, то за кипятильник, то за краюху хлеба, не зная, с чего начать угощение. «Ой, мамочки, мамочки! — причитал он. — Фрумке в гости пришла, а с ней славненькие паренечки!» На этот раз Пиня в ином свете увидел

Шлёму. Старик производил впечатление очень странного, не совсем нормального человека. Время сделало с ним все, что хотело, и теперь он сам делал со временем все, что хотел. Борьба шла на равных.

Бабушка, войдя в жилище брата и оглядевшись вокруг, так и присела. Видимо, ноги у нее подкосились от увиденного.

— О, мэйн гот! — обратила она ладони к небу. — Так это правда…

Всюду, куда только проникал взгляд, были разбросаны коньки, ими увешены были стены, они даже свисали с потолочных балок. Коньки разных фасонов и размеров, новые и не очень, черные, белые, цветные; спортивные и фигурные, какие угодно, хозяйничали в этом доме, вытесняя дряхлого, полусумасшедшего жильца во двор. Если внимательно приглядеться, то в коньках этих можно было заметить одну странную особенность. Среди них не было ни одной целой пары.

Новый гешефт Соломона Моисеевича имел глубокие корни в его детстве. Еще до Первой мировой войны, еще до краковских погромов, еще до разорения отцовской мясной лавки, во время самых счастливых и безоблачных дней его жизни родители подарили ему, своему первенцу, на день рождения коньки.

Они сверкали на солнце и слепили прохожим глаза, когда маленький Шлёма торжественно нес их на каток. Мальчики завидовали. Девочки смотрели с восхищением. Он чувствовал себя царем Соломоном и ступал чинно, как царь. Просящий милостыню у ворот катка по обыкновению пьяный Вацек даже пропел ему по-польски: «Боже, царя храни!»

Взобравшись на трон, царь обул правую ногу и покрутил ею в воздухе, как бы показывая всему миру прелесть и новизну конька. Он потянулся за другим коньком, но тот исчез. Растворился в воздухе или провалился под лед? Дети вокруг смеялись, а Шлёма вернулся домой с плачем, так ни разу и не прокатившись. Потом ему рассказали, что пьяный Вацек незаметно подкрался к скамейке и стащил конек. Все думали, старик хочет подшутить, но тот не вернул покражу. Зачем нищему Вацеку понадобился детский конек с левой ноги? Этот вопрос многие годы мучил Шлёму, едва он ударялся в воспоминания. И вот, наконец, теперь, когда Соломон Мудрый лет на двадцать старше попрошайки Вацека, ему вдруг приоткрылась истина!

Город Свердловск, в который когда-то, во время войны, судьба закинула Мендельсонов, Фуркинштейнов и многие другие еврейские семьи, в шестидесятые годы славился своими конькобежными достижениями. Десятки катков были разбросаны по всему городу, и тысячи мальчишек каждый день ступали на лед. «Какой гешефт пропадает!» — осенило Шлёму.

В яслях, где проработал около года, он раздобыл старый, потертый во многих местах и уже списанный костюм Деда Мороза. Набив карманы леденцами, закинув за спину огромный пустой мешок, Шлёма в один прекрасный зимний вечер вышел на охоту. Подкараулил нерасторопного

мальчугана, обутого в один конек, сунул ему под нос конфету со словами: «Бардзо сладкая цукерка, хлопчик!» — незаметно стащил второй конек и был таков.

Так за один только вечер старик насобирал целый урожай детской обуви.

Хищение коньков вскоре превратилось в стихийное бедствие. Милиция была обескуражена столь нелепым вредительством. Однако, выяснив все обстоятельства и обнаружив злоумышленника, успокоилась. Когда к участковому обращался очередной разъяренный родитель со своим хнычущим чадом, тот давал простой совет: «Сходите на рынок. Там, слева от ворот, увидите вашего Деда Мороза. У него на лотке, наверняка, отыщется ваша пропажа. Только не кричите на деда, не ругайтесь, а лучше поторгуйтесь с ним, как следует. Он будет сначала заламывать дикую цену. Не беда! В конце концов, купите свой конек за полтинник, а то и даром отдаст». — И потом добавлял нравоучительно: «За ротозейство надо платить, и старику на что-то жить надо. Ведь у него никого нет, кроме нас с вами…»

Но были и такие олухи, которые не обращались в милицию. Из-за них Шлёма торговал коньками круглый год, и в летний зной, и в осеннюю морось.

Фрума Моисеевна была последней родственницей, поставившей жирную точку в отношениях с братом. Конькобежного позора не перенесла даже она.

Пине исполнилось десять лет. Его сестра выходила замуж. Многочисленной родне посылались по почте приглашения. Кого действительно хотели видеть на свадьбе, приглашали лично.

— А Шлёма придет?

Бабушка пропустила вопрос внука мимо ушей, будто речь шла о чем-то неодушевленном, например, о дуршлаге.

И тогда он побежал на рынок, как был, в синем, праздничном костюме, сшитом специально для торжества, и белой рубахе с жабо. Пиня воображал, как подойдет к дедушке, возьмет его за руку и скажет: «Пойдем со мной! У моей сестры сегодня свадьба. Тебя все хотят видеть!»

Шлёма стоял за лотком на привычном месте, в кафтане и шапке Деда Мороза, несмотря на теплый, августовский день. Подслеповатая старуха усердно копалась в его товаре, досконально изучая каждый экземпляр.

— Чего тебе, холера? — с добродушной улыбкой допытывался Шлёма.

Наконец, выбрав два одинаковых по цвету и размеру конька на одну ногу, она спросила:

— Сколько?

— Пятьдесят, — не раздумывая, ответил продавец.

— Копеек?

— Злотых.

— Спятил, что ли? Где я тебе не наши деньги-то возьму?

— Рублей, пани, пожалуйста! — опомнился Шлёма. — Рублей мене хочу!

— Два с полтиной им красная цена! — не сдавалась старуха.

— Двадцать пять? Добже! — с радостью согласился он и даже поблагодарил: — Дзэнкуе, пани!

— Не двадцать пять, а два с полтиной! — разгневалась старуха. — И разговор окончен!

— Двадцать у тебе хочу! — сбавил Шлёма.

— Еще чего! — гордо повела она плечом, будто он задел самое сокровенное, и пошла прочь.

— Даром бери, холера! — кинул он ей вдогонку оба конька. — Далече в них не утикаешь!

Бабка в спешке подобрала коньки и сунула Шлёме два рубля.

Теперь путь к лотку был свободен, но Пиня, завороженный происходящим, не двинулся с места. Спектакль продолжался. Старик, празднуя удачную сделку, задвигал плечами, закрутил пальцами рук.

— Смотрите, смотрите! — закричал кто-то из продавцов. — Шлёма сейчас будет танцевать.

— Соломон Моисеевич знает, что движет гешефтом! — подхватил другой.

— Гешефт не должен стоять на месте! — подмигнул третий.

На глазах у всего рынка старик, разменявший девятый десяток, стал вытворять невообразимое. Он выкидывал коленца из фрейлехса, подскакивал в огненной мазурке, разудало приседал в русском плясе. Люди, толпясь вокруг его лотка, хлопали ему в такт, смеялись, посвистывали, подзадоривали криками. Когда зрителей набралось уже прилично, Шлёма остановился, распрямил спину и, едва переведя дыхание, вдруг запел.

И вот вам его песенка:

Мене не надо злата,
Не хочу серебра.
Мене давно, ребята,
На кладбище пора.

Я откатался слишком
В счастливые деньки.
Ужо я не мальчишка,
Но у мене коньки!

Платите, паны, гроши,
Кататься цоб опять.
Когда коньки отброшу,
Я крепко буду спать.

Инга Даугавиете
(Австралия, Мельбурн)

Родилась и выросла в Риге, закончила факультет иностранных языков (английский язык и литература) Латвийского государственного университета. Двадцать лет живу в Мельбурне, закончила колледж, специальность — дошкольное образование. Муж, два сына, две собаки, два кролика... две золотые рыбки.

Стихи публиковались в газете «Диена» (Рига), альманахе «Витражи» (Мельбурн), «Литературной газете» (Россия).

Не стой на пороге

Осень

Чем дольше веришь — тише слова молитв.
Светлее ночь. Размереннее строка.
Невероятно ярок осенний лист,
И растекается в рамке небес закат.

Из города — все дороги ведут к воде,
(Чем ближе дюны — пронзительней синева),
И в янтаре тает короткий день.
Всё — забывай. Намеренно — забывай!

Касается края воды золотой клубок,
Идешь, почти не касаясь седой земли...

И вдруг понимаешь, как равнодушен Бог.
И как — нечеловечески — справедлив.

Звезда

Да ладно тебе, заладил — зима, звезда,
Не стой на пороге, дует — захлопни дверь.
Я знаю, на свете есть разные города,
А здесь — до горизонта — то буш, то вельд.
Нарежу сыр, подожди, процежу вино,
Здесь стреляют с бедра, а спрашивают потом.
Не замужем, нет, уже которую ночь.
Да был тут один, всё в небо тыкал перстом.
Рассказывать — что? Всего-то и было дел —
Кричал: создатель, дескать, воскрес, с креста…
Ах да, ещё пытался пешком по воде,
Потом пришлось осушать городской фонтан.

Забудь. Безумный город дрожит во сне,
Здесь час — за день, а минута — всю жизнь течёт.
Подбросить дров, за окошком — по новой — снег.
Прислушиваясь — сверчок, говоришь?!
— Сверчок.

Материнская любовь

Вновь её голос в трубке — приезжай, поговорим,
Дескать, скучаю, давно не виделись и т. д.
(И дрожит струна, взводят курок (раз-два-три),
Пепел Содома падает на Эдем).

Конечно, приеду. Деваться некуда — всё же мать,
Не сбежать (развестись и забыть — не муж),
Конечно, было бы проще — строкой письма,
И ни марки, ни адреса чтоб письму.

Приеду, шепотом — точнее — просто приду,
Ведь за углом и бываю там каждый день.
И услышу с порога (как всегда!), что я дура из дур.
И всё у меня абсолютно иначе, чем у людей.

И опять — что говорят про меня, где и когда,
И тетя Маня, и — кузина Этель,
А я буду смотреть в потолок, так смотрят назад,
Считая столбы в убегающей пустоте.

И под ровный гул привычно-знакомых слов
Я помолюсь за Маню... в который раз...
Пусть ей будет там, где она сейчас, тепло,
Бездетная злыдня, но маме была — сестра.

Кузина Этель моет в больнице полы,
Зато в Нью-Йорке (дурдом — он дурдом везде),
Замужем! (муж зануден сильно и лыс,
Но дело не в этом, а в том, что я — не у дел).

Часы на стене — почему-то совсем не ползут
Противные стрелки!.. Внезапная тишина —
Она дрожащей рукой вытирает слезу,
И — последняя фраза — «Ведь ты у меня — одна!» —

Ложится — камнем, точнее, последним штрихом,
Стежком в полотне, картине осеннего дня.
И, кутая плечи связанным ею платком,
Думать — одна... как и ты — одна у меня.

* * *

А Бог не играет в шашки. Хотя умеет.
Черная Лиса

Ни в шашки, ни в шахматы, но, порой, в поддавки.
Снимает перчатки, тщательно мелит кий,
Невероятно точен удар, другому вот так — слабо!
Тает в стакане осколок льда. В мире царит любовь.

Она — шепотом — Господи, благодарствую за
Всё что есть, а втрое — за то, чего нет!
Каждое утро — вновь открывать глаза,
Слушать, как под окошком сгребают снег.

И (продолжая громче, чуть осмелев) —
За то, чего нет, Господи, именно так!
(Слава, деньги, сказочных королев
Платья, и — ослепительная красота),

Узнику — недосягаемый горизонт,
Наказаньем целителю — тяжкий недуг.
Как выбирать из всевозможных зол
Самую незначительную беду?..

В такт пульсации вен, тяжело дыша —
Господи, воля твоя, ну ещё чуток —

И замирает, не докатившись, шар.
Ведь никогда не спрашивала — за что?

Колыбельная

Помню, мама всё качала сестру —
«Будет принц тебе, красавица, спи...»
Обещали снегопад поутру,
Станем завтра динозавра лепить.

— Сказку, мама! Где коза-дереза!
— Помню бабушку, иконы в углу...
Хорошо бы научиться вязать,
Будем петли пересчитывать вслух.

Сказку? Жил да поживал добрый царь...
От сестры четвёртый год нет вестей.
Перепутал наш Создатель сердца,
Дал не тем! И пользы что в красоте?

Мать на кухне допивает вино,
Скорбно смотрит (как всегда!) в потолок.
За конфетами пойдём в гастроном,
— Сказку?
Жил когда-то Бог... добрый Бог.

© Художник Елена Любович

Время любить

1. Лия

— Глух да нем говорю, пусти!
— Смотрит в сторону — может, слеп?
— Сыновей под сердцем носить
Для него?

...Расстелю постель,
И в тепле ладоней —

— Горбат!
Кого хочешь, сестра, спроси!
Был бы брат — отказал. Богат?
Всё богатство — нож!

...И без сил
До утра, внимая тебе —
(Как прекрасна его ладонь
На груди моей...). Колыбель
Пухом выстелю, как гнездо.
Всё потом — сыновей рожать,
(Станет дочь предвестьем беды) —

Торговался отец, дрожа,
До прихода второй звезды.
Тронул ветер ветки олив,
Странно тих домочадцев круг,

Госпожа, все давно легли.
Не тебя он просил.
Сестру.

2. Рахиль

Говорил, глаза мои — цвет воды,
Напоить просил. Не поднять кувшин…
— Завитки волос — на ладони — дым.
«Не спеши, прошу тебя! Не спеши.
Не она одна. Не о ней, одной» —
Дым костров. Шатры. Силуэт горы,
Накрывает тихо долину ночь,
А ладонь твоя — на руке сестры.
Ты не знаешь, дитя — о тоске племён
По земле, о связи времён и вер…

— Говорил, моя кожа — горячий мёд,
А сестра опять открывала дверь
Ты не знаешь, как прорастает боль,
Застывая в теле — цветком ножа!..
Я не слышу, что говорит твой Бог,
Но сестра уходит в шатёр — рожать,
Безнадёжно — тысячи голосов
(Говорил, глаза мои — как вода.)
Каждый месяц — слёзы и кровь — в песок.
— Подожди, любимая!
— Сколько — ждать?!

Шелестят оливы. Стекает синь
Ледяного неба — в мою постель.
Снова снился рыжеволосый сын,
Говорил — из наших с тобой — детей.

3. Дина

Вдохом на первом слоге, и стоном — Ди-
На!.. Слова застывают на языке.
Кольца твоих волос на моей груди,
Выдохом, эхом — имя твоё. Шехем.

Шёпот двоих осыпается вглубь ковров,
В кубке пылает нетронутое вино.
Спины рабов вздрогнут под серебром —
Сладкое право Дину назвать женой

Перед народом! Нитью красной прошит
Снег простыней... и — храмовых жриц наряд.
Смуглый мальчишка, только живи! Дыши —
Слышишь?! Владей душой моей, сын царя!

Тают ладони. Вниз по теченью плыть.
Очи твои — так рубинам во тьме мерцать!
Лица богинь квадратны, тела — круглы,
Что мне — безликий Бог моего отца,

Братьев?! Зачем амулеты сжимать в горсти,
Если по венам — пятнадцатая весна —
В дрожь! О, если бы мне — сиротой расти.
И не узнать. Или — не вспоминать!

Тихо свернулась кошка клубком в углу,
Дочь рабыни играет кольцом ключей.
Мой господин, не спеши... с караваном... слуг.
Дай мне… ещё одну ночь. На его плече.

***

Да, государь. Останешься — строкой,
Страницей, частью Богоданной Торы,
И — храмом — вознесёшься высоко,
Рассказчиком полезнейших историй
Запомнят... надпись на твоём кольце,
И жён твоих, подруг, наложниц — сотни...

Но очень жаль, никто тебя не вспомнит
Ни мужем, ни заботливым отцом.

Выдыхаю — нет! Всем загорелым телом
Вжимаюсь в траву. Как воздух тяжёл…
Падать в ладони ягодой спелой,
Быть одной из твоих многочисленных жён?
Да что там жён… И наложницам ложе
С тобой делить. О, стареющий царь!
А мне — на земле, в траве, всей кожей,
На моём бедре — отпечаток кольца.
Бессловесной приманкой — женская прелесть,
Движенье Бат-шевы — и пойман Давид!
Затаив дыхание, мои братья смотрели
Из-за деревьев. Потом — о любви
Поэты, художники — всё приукрасив,
(Читай — переврав). А тогда, в тишине,
Обезумев от боли (после скажут — от страсти),
Суламита всем телом — «НЕТ!»

Встретимся у колодца, или —
На самом краю земли,
Где Иаков — косы Рахили
Увидел в тени олив,
И, соприкасаясь — только глазами
Гладить бархат лица…
Что перед этим — твои сказанья,
Третий по счету царь?!
Так Элоиза, так — Жозефина —
Губы в кровь — над письмом...
Что перед этим — твои рубины?
Жемчуг — что, Соломон?!
Пыль! Рассыпятся в прах колонны
Храмов... и всех дворцов...

Встретимся. И на моей ладони
Вздрогнет твоё кольцо.

***

Стану травой под ногами твоими.
Рекой, листвой, иволгой…
Пред образами свечой стану!
Качнусь пламенем.
Под небесами выгнусь радугой.
Заговорю твою звезду,
Отведу твою беду,
Отмолю твои грехи...
Стану стихией.
Буйным ветром тебя приласкаю,
Солнцем стану,
У целого мира тебя украду…
— Не хочешь?..
Упаду
Камнем к ногам твоим.

***

Слов обрывки, апрельских снов
Пелена. На хрупком стекле
Был зимою сказочный лес
Нарисован, но по весне
Весь растаял. Реклам неон
Присмотрись — в темноте витрин —
Тонкой лентой. А на стене —
Тени ниткой на полотне...

Мне — царевне — весенний плен,
А у рыцаря есть жена.
Из растерзанных вновь небес
По спирали — стекает свет —
В наш до боли нелепый мир,
Где оскалом — моё окно,
Где в расплывшейся полосе —
Лиц размытых пунктир, и — спин.
В этой замяти, взвеси, и —
Всё дожди. Слезой на стекле...

Владимир Вереснев
(Россия, Москва)

Псевдоним автора, который, будучи священником, пожелал в литературной сфере не раскрывать своего настоящего имени. Родился в 1953 году в Подмосковье. После школы служил в армии, работал в театре мастером по свету, художником-оформителем, предполагал стать рок-музыкантом. Однако в возрасте 30 лет оставил мирскую жизнь, поступил в семинарию и стал православным священником. Почти уже 30 лет служит в Москве.

Комната

Столько раз доводилось Кузьме Степановичу Ивакину проходить и проезжать мимо этого бледно-жёлтого двухэтажного дома с высоким крыльцом у подъезда, а вот внутри побывать случилось впервые. И теперь, сидя на крепком дубовом стуле перед массивным письменным столом, Кузьма Степанович, стараясь не слишком вертеть головой, медленно оглядывал высокий потолок и крашеные охрой стены. Возле самого дома крутым изгибом проходили трамвайные пути, и когда грохочущая машина делала на всём ходу поворот, предупредительно позванивая, стёкла в кабинете слегка дребезжали. «Закрепить бы надо хорошенько», — подумал Ивакин, имевший в таких делах определённую хозяйственную сметку. Взгляд его скользнул по крупному портрету, расположенному прямо напротив двери; товарищ Сталин словно бы встречал и провожал всякого входящего и выходящего. На другой стене, над столом, возле которого сидел Кузьма Степанович, с меньшего портрета зорко и бдительно поглядывал нарком. Ивакин вдруг поймал себя на мысли, что никак не может вспомнить имя-отчество человека с небольшой головой и красивой шапкой густых тёмных волос.

— Так вы, товарищ Ивакин, подтверждаете всё здесь описанное? — глуховатый баритон сидевшего за столом следователя мгновенно вывел Кузьму Степановича из созерцательного состояния. Он встретил прямой и твёрдый взгляд серых глаз, в которых нельзя было прочесть ни одобрения, ни порицания, и поспешил ответить со всей искренней готовностью.

— Точно так, товава… товарищ майор.

Следователь положил перед собой два тетрадных листа, исписанных мелким разборчивым почерком, достал папиросу, закурил. Слегка побарабанил пальцами по столу.

— Можно курить, — сказал он, слегка пододвигая пепельницу к собеседнику.

— Некурящий, — ответил Ивакин извиняющимся тоном.

Последовало молчание. Следователь, дымя папиросой, вприщур посмотрел на худощавого лысоватого мужчину в круглых очках, сидевшего по ту сторону стола. Тот смущённо улыбнулся, теребя в руках поношенную кепку.

— Вы, кажется, счетоводом работаете? — спросил следователь.

— Так точно, работаем… в райзаготконторе…

— Рога и копыта? — усмехнулся товарищ майор. Ивакин тоже хихикнул, охотно поддерживая юмор, но внёс поправку.

— Мы по меху больше…

Майор погасил папиросу и посмотрел на Кузьму Степановича серьёзно и пристально.

— Я хорошо понимаю, товарищ Ивакин, вы, как честный советский человек, посчитали своим долгом известить органы. Но мне хотелось бы знать, нет ли в ваших действиях какого-то… ну, скажем, особенного интереса, личного мотива, так сказать? Может быть, сосед ваш чем-то вас обидел? Это бывает, и по-человечески понятно… Так есть что-то?

Кузьма Степанович почувствовал какую-то странную слабость в ногах, сухость во рту и понял, что в этот момент должна решиться его главная мечта, ради которой он, в сущности, и сидел здесь теперь перед этим крепким человеком в ладно скроенном офицерском френче.

— Н-нет, товарищ майор, — начал он, стараясь тщательно подбирать каждое слово, — ничего такого… Мы ведь с этим Кораблёвым почти что и не разговариваем… я человек простой, а он образованный, учёный… Так, по-житейски разве что… Он всё больше один сидит у себя… пишет всё что-то…

— Что же пишет, не знаете?

— Да где ж мне… Ну, когда к нему кто из друзей придёт, они всё там сидят и говорят, говорят без конца… Спорят иной раз, да… Я там кое-что написал для дела…

— Я прочитал. Кроме перечисленных лиц, кого-нибудь ещё замечали дома у Кораблёва?

— Были ещё человека два, но по одному разу… я и не упомню их особенно-то…

— Так ничем и не запомнились?

— Ну… один старый такой, вроде какого профессора, в очках, седой, с бородкой тоже седою… Да, вроде как картавит немного… И ещё вот женщина заходила, тоже не из простых видно, на вид лет сорока будет, в тёмно-зелёном пальто, с сумочкой… Ольгой Петровной, кажется, зовут…

— А частенько он гостей принимает?

— Да не сказать, чтоб часто… два, три раза в неделю приходят к нему, вечерами…

Следователь поднялся из-за стола, оставил жестом Ивакина сидеть, прошёлся по кабинету, поглядел в окно. Потом снова вернулся к столу и, положив тяжёлую руку на плечо счетовода, спросил в упор.

— Ну так что, Ивакин, для себя-то ты чего хочешь?

Кузьма Степанович робко глянул в серые очи майора и, потупив взор, заговорил негромко, и словно оправдываясь.

— Я, товарищ майор… мы, то есть, с дочкой моей Катей вдвоём проживаем в малой комнатке… Ей, Кате-то, уж пятнадцатый годок пошёл, барышня, сами понимаете… Она, кстати, комсомолка, да… Так вот, неловко в одной-то комнатушке… Девица уже большая, стесняется, оно и понятно…

Следователь убрал руку с плеча Ивакина, выпрямился, продолжая глядеть прямо ему в глаза. Кузьма Степанович, видно было по нему, смущался, стараясь как можно доходчивее объяснить свою насущную нужду. Залысины его вспотели, и сам он весь как-то ссутулился больше обычного.

— Я вас хорошо понял, товарищ Ивакин, — баритон майора снова зазвучал глухо и каменно, — хочется пожить повольготнее… Как не понять… Но имейте в виду, я вам ничего не обещаю, это не моя компетенция, и вообще разговор преждевременный…

— Понимаю, товарищ майор! — Ивакин проворно поднялся со стула. — Я ведь это так только, к слову…

— Ступайте, вот пропуск… Когда потребуется, я вас вызову.

— Да, товарищ майор, конечно!.. У меня грамота есть почётная… за безупречную службу, — неожиданно вдруг промолвил Ивакин, оборачиваясь от самой двери. Последнее, что он запомнил, был тяжёлый взгляд следователя и, как Кузьме Степановичу показалось, одобрительный товарища Сталина.

Через несколько дней поздним апрельским вечером в дверь комнаты Андрея Арсеньевича Кораблёва, многолетнего сотрудника местного краеведческого музея, решительно постучали гости, которых хозяин совсем не ждал. Обыск при понятых не занял много времени, так как всё имущество Кораблёва составляли два шкафа, платяной и книжный, кровать, небольшой круглый стол, две тумбочки и четыре стула. Всё, что гостей заинтересовало, они увезли в одном вместительном чемодане. Хозяин комнаты уехал вместе с ними. И поскольку дверь тут же была опечатана, соседи справедливо рассудили, что уехал он надолго... Это неожиданное происшествие оказало на жильцов коммунальной квартиры довольно тягостное впечатление. Никто ни с кем, ни полусловом не решался касаться этой темы. Впрочем, жилец Кораблёв слыл за нелюдима, дружбы с соседями не водил, и они встречали его на кухне или в коридоре крайне редко. Молчал и Кузьма Степанович Ивакин, хотя после ареста Кораблёва он пребывал в крайнем душевном волнении, день за днём ожидая вызова в известное учреждение. Дочь Катя однажды спросила его, что случилось с Андреем Арсеньевичем. Кораблёв иногда помогал девочке по математике, и Катя очень уважала учёного и доброго соседа. Отец грубо

ответил ей, что это не её ума дело, и что спрашивать о Кораблёве больше не нужно. Катя, впрочем, знала о том, что произошло, но в душе своей не могла поверить, что Андрей Арсеньевич мог бы оказаться дурным человеком или даже врагом. Она переживала исчезновение Кораблёва, мучаясь вопросом, что же могло стать причиной его ареста.

Прошло ещё месяца полтора, и однажды Ивакину передали, что он должен зайти к управдому по какому-то жилищному вопросу. Кузьма Степанович шёл туда сам не свой от сильного нервного возбуждения; он уже не сомневался, зачем его позвали, но мало ли что могли решить «там»…

Управдом Николай Терентьевич, ровесник и старый приятель Ивакина, встретил его как-то уж чересчур официально, и Кузьма Степанович не на шутку испугался: а ну как дело не выгорело?

— Здоров живёшь, Степаныч… Садись-ка вот, — пожал ему руку управдом, но не так приятельски и запросто, как бывало это между ними прежде. Ивакин присел, изучая деловито озабоченное толстое лицо управдома.

— Стряслось чего, Николай Терентьич?

— Зачем стряслось? Всё в порядке, как в танковых войсках, — неискренне пошутил управдом. — Тут это… В общем, распоряжение вышло: комнату бывшего жильца Кораблёва А. А. передать в пользование тебе, как заслуженному работнику райпотребсоюза, и в видах, так сказать, необходимости увеличения жилплощади по семейным обстоятельствам… Вот и ключики, стало быть…

Произнеся эту тираду, управдом утёр потное лицо и шею платком и подал Ивакину ключи и документ с печатью.

— Давай вот, распишись мне тут в книге… так… Ну так чего ж, дело законное, доброе, а с тебя, товарищ Ивакин, как говорится, причитается…

Кузьма Степанович робкой рукой принял бумагу и пробежал её бегающими глазами. Давно в его жизни не было такого праздника, и ему хотелось теперь старого приятеля Терентьича обнять и расцеловать. Управдом, однако, спрятался за столом с папками бумаг и изобразил занятость.

— Николай Терентьич!.. Спасибо… За мной магарыч!..

— Ну, как у старых друзей водится, — добродушно развёл короткими полными руками управдом.

— Пап, а что, Андрей Арсеньич вернулся? — вечером того же дня спросила отца взволнованная Катя. Ивакин так вдруг посмотрел на дочь, что она испугалась: никогда Катя не видела у него таких страшных чужих глаз.

— Что ты несёшь, дурочка? — с тихим шипением ответил ей Кузьма Степанович.

— Просто там, на его двери больше печатей нет…

— Печати снял я… На законном постановлении власти, понимаешь?

— Каком постановлении, папа?..

Ивакин отпер небольшой настенный шкафчик и достал оттуда бумагу.

— На вот, читай…

Катя, нахмурив брови, молча прочитала справку. Кузьма Степанович смотрел на дочь и не мог взять в толк, почему она, вместо того, чтобы радостно броситься отцу на шею, глядит на него чуть не исподлобья.

— У тебя теперь, доча, своя комната будет, отдельная, понимаешь?.. — проговорил Кузьма Степанович, радостно встряхивая Катины плечи. Он не ожидал, что Катя как-то резко вдруг отстранится от него и скажет.

— А… а как же он, Андрей Арсеньевич?.. Он что, умер?

В глазах у дочери отразился какой-то ужас, которого он, отец, и представить не мог, так хорошо зная свою весёлую и никогда неунывающую Катю. У Ивакина пересохло в горле, и он хрипло ответил, точно прокаркал.

— А хоть бы и умер… Ты не знаешь, что он оказался изменником нашей Родины, врагом, вредителем!..

— Ты говоришь мне неправду! — дрогнувшим голосом вскрикнула Катя, отступая дальше от отца. — Андрей Арсеньевич не мог!.. Он не может быть врагом!..

— Замолчи, глупая ты, глупая!.. — Ивакин испугался, что у девочки может случиться истерика, как это однажды было с ней в девять лет… — Замолчи, Катя, и не кричи на весь дом!.. Ты ещё многих вещей не понимаешь… Время такое теперь…

Катя отошла к окну и молча смотрела в сумерки, опускавшиеся на город. Кузьма Степанович сел на стул и устало потёр лицо ладонями.

— Папа… это ты сделал? — Катя медленно повернулась к отцу; в глазах у девочки стояли слёзы. — Ты?.. чтобы эта комната досталась нам?..

— Ты что такое говоришь, дрянь?!. — Ивакин почувствовал вдруг такой бешеный прилив злобы против дочери, что едва сдержал себя, чтобы не броситься на неё. — Ты… комсомолка… на родного отца за этого… за врага!..

Катя внезапно расплакалась, закрыв лицо руками. Кузьма Степанович смотрел уже на неё с жалостью, с болью душевной, но не знал, что ещё говорить и что делать…

Утром Катя спокойно, но твёрдо сказала отцу, что жить в комнате Кораблёва не будет, и что она хочет на каникулы поехать к тётке Зинаиде. Кузьма Степанович благоразумно промолчал, дав понять дочери, что готов её к тётке отпустить. Он знал, что сестра покойной жены будет до смерти рада племяннице, и Катя в тот же день уехала пригородным поездом в недальний посёлок.

Стоял сухой и жаркий июнь. В городе было душно и пыльно. А дома у Кузьмы Степановича — уныло и тоскливо. Конечно, не было рядом Кати, всегда такой живой, весёлой, умевшей в одну минуту кому угодно поднять настроение. Но Ивакин чувствовал, что дело не только в Кате. Брошенные ею в тот страшный вечер слова осели в его душе, точно осколки битого стекла, кололи и не давали покоя. Ивакин не то чтобы

часто вспоминал о прежнем жильце, нет, дело обстояло иначе. Казалось, он сам, в одночасье бесследно пропавший сосед, напоминает о себе на каждом шагу. В комнате Кораблёва Кузьма Степанович почти не бывал, и всё, что там, как и при бывшем хозяине, оставалось на своих местах, медленно покрывалось серой пылью. Но и взглядывая на затворённую кораблёвскую дверь, Ивакин не мог отделаться от липкого ощущения, что кто-то незримый и неузнаваемый стоит или ходит теперь с ним рядом, словно тень, не отставая ни на шаг.

В субботу Кузьма Степанович купил водки и пришёл в гости к приятелю-управдому. Засиделись до глубокого вечера, болтая о том, о сём. Ивакину ужасно хотелось хотя бы Николаю Терентьичу излиться о своих мрачных думах, и он было, в изрядном уже подпитии, начал что-то о Кораблёве, но управдом вдруг точно протрезвел и свернул разговор на полуслове, точно скатёрку с недоеденной закуской. Домой Кузьма Степанович добрался, едва держась на ногах, чего за ним отроду не водилось, и заснул беспробудно аж до самого воскресного полудня.

Жара не спадала всю следующую неделю. Ивакин утром уходил на работу в свою контору, под вечер возвращался домой и маялся, решительно не зная, чем себя занять и отвлечь от тяжёлых и неясных мыслей. Ему отчего-то захотелось увидеться с тем самым следователем-майором. Зачем — он не знал, ведь не затем же, чтобы Кораблёву передачку отнести, как саркастически вопрошал он сам себя. Он даже сердился на майора, который обещал вызвать его, да так и не вызывал с тех пор…

Однажды рано утром Кузьма Степанович зашёл в комнату Кораблёва и стал перебирать книжки в шкафу. Всё, что ему попадалось, было чужим, непонятным и неинтересным. Его внимание привлекла какая-то тряпица, торчавшая позади книг, и когда он вынул и развернул её, внутри обнаружилась небольшая писаная на дереве икона Богоматери. Видно, при обыске её как-то случайно проглядели, и эта догадка необычайно обрадовала Ивакина.

Сколько он себя помнил, в Бога Кузьма Степанович не верил. Даже в детстве, когда родители водили его в церковь по воскресеньям и праздникам, и в училище, где преподавался Закон Божий. Маленький Кузя заучивал молитвы, отвечал батюшке урок по Писанию, но в сердце своё всего этого не принимал, оставаясь равнодушным к вере и церкви. Правды ради нужно сказать, что и в годы особенно развернувшегося после революции безбожия Кузьма Степанович никогда и никак не выражал своего отношения к религии, поскольку никакого отношения ровным счётом не было. Была некая пустота на том месте, где бывает обычно в душе человека либо вера, либо вражда против неё.

И вот теперь, разглядывая полустёршийся образ, Ивакин отчего-то улыбался. Он тщательно завернул иконку в тряпицу, положил её в карман пиджака и поспешно вышел из дому. Отправился он, однако, не в

райзаготконтору, а прямиком к бледно-жёлтому двухэтажному дому с высоким крыльцом. Назвав дежурному нужную фамилию, Кузьма Степанович прибавил, что явился по срочному делу, был препровождён в приёмную, где пришлось ему около часа сидеть и ждать приезда следователя, который при виде Ивакина на мгновение остановился, вспомнил его и через пять минут принял в своём кабинете.

— Чем обязан, товарищ Ивакин? — с холодным любопытством в глазах спросил следователь.

— А вот, товарищ майор, — загадочно улыбаясь, отвечал Кузьма Степанович, и выложил прямо на стол тряпицу с иконой.

— Что это ещё?

— Икона… Богоматерь, вроде как, называется…

— Я вижу, что икона. Откуда и зачем вы её принесли сюда?

— Нашёл у Кораблёва. В шкафу прятал…

— Что значит нашёл? Там был обыск.

— Так вот, значит, товарищ майор… при обыске не нашли… а я полез книжки-то смотреть, ну, думал, почитать что-нибудь хорошее… а вот и нашёл…

Майор понуро взглянул на Ивакина, открыл коробку папирос, нервно закурил.

— Если наши работники не взяли вещь при обыске, значит она не представляет никакого интереса для следствия… Зачем вы принесли мне икону?

— Так как же, то-товарищ майор… — зачастил Ивакин, — икона ведь… значит Кораблёв не только вредитель… он ещё и церковник…

— А вы что же, Ивакин, не знаете, что наша советская конституция не запрещает гражданам веру в бога? — с этими словами следователь подошёл к Ивакину вплотную, сверля его своими стального цвета глазами. Ивакин даже слегка попятился, тяжело переводя дух.

— И вот что… — майор снова сел в кресло у стола, — не советую вам болтать о вредительстве, где вас не спрашивают. Это только суд определит. Только справедливый советский суд, понятно?..

— Так точно… куда ж мне теперь икону-то девать, товарищ майор?..

— Какое мне до этого дело?.. В церковь отнесите, там вам спасибо скажут, — прищурился в подобии улыбки следователь. Он позвонил и вызвал конвоира.

— Проводите товарища к выходу…

Несмотря на ранний час, жара уже расползалась по городу, и даже в тени было душно и тяжело. Ивакин решил ехать на работу в трамвае. Ждать пришлось недолго. Все окна в вагоне были раскрыты, но это почти никак не избавляло от зноя и духоты. Ивакин вдруг заметил впереди церковь; это была одна из двух в городе, оставшихся незакрытыми. Выглядела она невесело, поскольку давно не ремонтировалась. Кузьма Сте-

панович нащупал в кармане икону, и хотел уже было двинуться к двери, но вдруг подумал, что потом надо будет снова тратиться на трамвайный билет, и это соображение заставило его ехать дальше.

Рабочий день был сущей пыткой из-за жары, голова работала плохо, и счетовод райзаготконторы допустил несколько досадных ошибок. Пришлось вновь стучать костяшками счётов, выверяя цифры и добиваясь верного результата. В шесть вечера Ивакин освободился и привычной дорогой двинулся домой. Он вдруг вспомнил про икону, по-прежнему лежавшую в кармане его пиджака, и внезапная злоба охватила его душу. Кузьме Степановичу подумалось, что это сам его бывший сосед мстит ему, издевается и смеётся над ним. Ивакин завернул в ближайший двор, ища глазами мусорный ящик, подошёл к нему решительным шагом, оглянулся по сторонам, поднял дощатую крышку и с каким-то змеиным шипением со всего размаху бросил свёрток с иконой в смрадную пасть ящика. Ему как будто стало легче дышать, он даже коротко засмеялся чему-то, и бодро пошёл своей дорогой дальше. Встречные прохожие взглядывали на него с опаской и тревогой, но Ивакин ничего этого не замечал.

Войдя в квартиру, Кузьма Степанович длинным коридором сразу же прошёл на общую кухню. Вода из крана текла тощей струёй и имела желтоватый цвет. Утолив жажду, Ивакин ушёл к себе, сел на стул посреди комнаты и обхватил болевшую голову руками. Мысли каким-то сумбуром теснились в мозгу, и он не мог зацепиться ни за одну из них. Но вдруг он вспомнил о Кате. Дочь уже полторы недели жила у тётки загородом, и за всё это время лишь однажды прислала с почтой открытку с кратким уведомлением, что всё в порядке и тётя Зина шлёт ему привет. Теперь он остро пожалел, что дочери нет с ним рядом, что он остался один как перст, и нет вокруг ни единого человека, с кем бы он мог поговорить душа в душу. Кузьма Степанович и сам толком не знал, о чём бы стал говорить, если б было с кем, но смутно ощущал гнетущую сердце потребность что-то неясное и тёмное выгнать из души и снова начать прежнюю, спокойную и размеренную свою жизнь.

…Спустя два дня, под вечер, в квартиру, где обитал Ивакин, явился некий человек и сказал вышедшей на стук соседке, что Кузьмы Степановича второй день нет на службе. Собралось ещё несколько жильцов, и все робко двинулись к комнате Ивакиных. Дверь оказалась не заперта, но внутри никого не было. Тогда пошли в бывшую кораблёвскую. Оттуда на вошедших дохнуло тягучей волной смрада. В углу комнаты, за платяным шкафом, будто спрятавшись от всех, висел почерневший Кузьма Степанович, облепленный мухами, налетевшими в открытую форточку. Никакой объяснительной записки найдено не было, только на столе лежали клочки разорванной бумаги, на одном из которых отчётливо синела печать местного управдома…

10—11 июня 2014

Дождю так много нужно рассказать

(стихи Владимира Вереснева)

***

Иволга, таволга, Вологда, Луга…
Вслушайся — как хороши
Дивные крины словесного луга —
Ладога, радуга, Волга, Ветлуга…
Музыка русской души!

2003

***

Имя городу — Тверь.
Другу — пристанища дверь,
Врагу незваному — зверь;
Поверь, а не то — проверь.
Питер да Москва — круговерть;
Суть у Твери — твердь.
Путнику — посоха жердь,
Вору захожему — смерть.

15 июня 2007

© Художник Елена Любович

***

Весна приходит в свой черёд
Под голубым небесным флагом;
Она смеётся и поёт,
Звеня ручьями по оврагам.

Она раскалывает льды,
Бросая реки в бег безбрежный,
И омертвелые сады
Целует бережно и нежно.

И лучик тёплый, золотой
Вдруг продевает сквозь оконце,
И в дом, холодный и пустой,
На долговременный постой
Расквартировывает солнце.

И потемневшие поля
Грачиным окликает граем,
И небо — криком журавля…
И вспоминает мать-земля:
Она была когда-то раем…

19 марта 2007

***

Дождю так много нужно рассказать
Земле, деревьям, ласточкам и крышам.
И мы его немолчный шёпот слышим,
Но смысла не умеем отгадать.

И потому нетерпеливо ждём
Конца сырой и сумрачной погоде,
И, может быть, одни во всей природе —
В извечной дисгармонии с дождём.

26 июня 2009

***

Больничный парк. В безмолвные пруды
Глядятся порыжелые ракиты.
Кричат в рябинах юркие дрозды.
Слетают листья к зеркалу воды,
Холодным солнцем осени убиты.

И сосны, будто мачты кораблей,
За окнами раскачивает ветер.
Куда нам плыть? Нигде на белом свете
Мы не узнаем ветра веселей
И сосен изумруднее, чем эти.

Голубое, ноябрь 2009

***

Твой чай остынет навсегда,
Мой кофе потеряет крепость,
И нам останется тогда
Былого пресная вода
И сожаления нелепость.

А потому без долгих слов
Давай побудем в настоящем,
В огонь подкладывая дров,
Терпя с улыбкой докторов
И помолясь о предстоящем.

20 июня 2010

Золотые шары

Золотые шары — незабвенная с детства примета
Подмосковных садов на исходе короткого лета.

Словно пробный аккорд накануне осенней сонаты,
Золотые цветы, предсказатели скорой утраты.

Сотни маленьких солнц, тяжелея, склоняетесь долу,
Поникая к земле, возвращаетесь к отчему дому.

Золотая пора — расставание с летом как с детством,
Из которого мы никаким не спасаемся бегством.

Август 2011, Детёнково

***

«Лето Господне» Ивана Шмелёва.
Странная книга. Нездешнее слово.
Русская быль допотопных времён,
Непоправимо несбыточный сон.

Где тебя спрятали, Замоскворечье?
Где твоя речь и лицо человечье?
Из мишуры безобразных реклам
Хищно глядит торжествующий Хам…

Колокол мерно звонит у Скорбящей,
Словно помин по Москве уходящей.
В двориках тесных легла тишина,
Тени былого хоронит она.

17 сентября 2010

***

Малый Сергиевский переулок…
Сыромятнический проезд…
География пеших прогулок,
Топонимика памятных мест.

Ах Москва без конца и без края,
Без конца и без края гульба!
Радиальная ты, кольцевая,
Роковая моя судьба!

Не уйти мне с твоих бульваров,
Заплутать в закоулках кривых!
Из щербатых твоих тротуаров
Прорастает мой бедный стих,

Пробивается мерной речью,
И в душе запевает вновь
К незабвенному Замоскворечью
Неутраченная любовь.

От Китай-города на Пресню,
Из Лефортова к Балчугу…
Как любимую с детства песню
Нежно в сердце Москву берегу.

И не нужен мне берег турецкий,
Не мила мне чужая земля.
Только серый гранит москворецкий,
Только башни родного Кремля.

1 марта 2010

Памяти императора Павла Петровича

Как крепок твой сон этой мартовской ночью,
Глухая страна…
Присяга на верность разодрана в клочья
И честь сожжена.
В Михайловский замок сбегаются волки,
Но спят егеря,
И с мутным рассветом пойдут кривотолки
О смерти Царя.

Но слишком сильна будет радость хмельная
В лакейских речах,
И кровью проклюнется совесть больная
В холопьих очах.
И тягостным долгом взойти будет сыну
На отчий престол,
И Авель-монах предукажет годину
Развязанных зол.

24 марта 2010 г.

***

Преполовение поста,
Крестопоклонная седмица…
Жизнь ослепительно проста,
Душа крылата словно птица.
И каждый встречный человек —
Ты знаешь точно — послан Богом,
И в самоотверженье строгом
Готов стоять ты целый век…
И на молитве, в ранний час
Взгляни на Древо Всечестное —
Оно лежит на аналое,
Как будто всматриваясь в нас.
Оно безмолвно вопрошает —
И от ответа не уйти —
Берём ли крест мы на пути
К Тому, Который призывает
Идти за Ним? И этот путь —
Предназначенье человека,
И невозможно повернуть
И бросить ношу — и до века
Да будет так!..

31 марта 2008

Стихи о хороших стихах

Из моря повседневной чепухи,
Глухой тоски, уныния и скуки
Спасают нас хорошие стихи,
Как вовремя протянутые руки.

Им свойственна загадочная власть
Хранить нас от душевного раздрая,
Кому-то помогая не упасть,
Кого-то из упавших поднимая.

Их тайна — человеческая речь
В тональности особенного лада.
Стихами в жизни можно пренебречь,
Вот только делать этого не надо.

Не стоит соглашаться на «ничью»,
На серость неба и бесплодье слова;
На самом остром жизненном краю
Хорошие стихи помогут снова.

26 октября 2012

Прошедшему лету

Оле Полторацкой

Мелькают бабочки, как всполохи,
Узорных крыл не разглядишь.
В траве неведомые шорохи —
Лягушка? ящерица? мышь?..

Из колокольчика лилового
Шмелиный льётся баритон.
В резной тени листа кленового
Сверчок досматривает сон.

А в небе росчерками чёрными
Снуют проворные стрижи,
И междометьями отборными
Перепела кричат во ржи.

И ночью звёздно-аметистовой
Нас лето красное дарит.
И то грозой гремит неистовой,
То ярым солнышком палит.

И летним вечером случается —
Душа сияет изнутри,
Как будто сердце облачается
В лазурь и золото зари.

4 сентября 2012

Возвращение блудного сына

Блудный сын Буратино уходит из отчего дома,
Деревянному сердцу мальчишки ещё не знакома
Ни любовь, ни тоска, ни желание всё променять
На возможность вернуться и крепко кого-то обнять

После долгих мытарств на далёкой, чужой стороне,
На театре безумных затей, на кровавой войне,
На дешёвом торгу, где всего-то за пару монет
Продают-покупают, по выбору, «да» или «нет».

Пусть когда-нибудь он, поседев от нужды и беды,
Нахлебавшись у всех дуремаров болотной воды,
Без ключа золотого — да пропадом он пропадай! —
Возвратится домой, к папе Карло, в отеческий край,

Где очаг нарисован на старой облезлой стене,
Но тепло от него и светло почему-то вполне.
Может быть, потому, что открылась заветная дверца
Не за этой стеной, а в живом человеческом сердце…

10 июля 2012

***

«За всякое праздное слово…» —
Я знаю. Но снова и снова
Беспечное сердце готово
Работу давать языку.
И нет болтовне окончанья,
И ангел благого молчанья
Отходит с глубокой печалью
И плачет по мне, дураку…

Лето 2009

Анна Малышева
(Россия, Москва)

Российская писательница, автор более 40 романов, изданных общим тиражом более 6 миллионов экземпляров. Родилась 6 октября 1973 года в Караганде, в семье ученых. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького в 1997 году. С 1995 года работает в жанре остросюжетной прозы, издает детективные, историко-авантюрные романы. Член Союза писателей России с 1997 года.

Ручной шмель

Я Господь Бог твой;
да не будет у тебя других
богов, кроме Меня.

Я ловила мышей, жуков, ящериц, гусениц и дождевых червей. Но это потом. А сперва я хотела принести домой котенка или щенка. Но мама сказала: «На этой каторге мне только собаки не хватает!» И тогда я решила принести кого-нибудь поменьше.

Сперва я поймала мышь. Крохотную, рыжую, с черными глазами. Я увидела ее в парке, рядом с домом, и она меня не испугалась. Наверное, это была доверчивая мышь, или просто мышиный ребенок. Я посадила ее в карман, зажала рукой и побежала домой — кормить и сажать в банку. Мышь наелась хлеба, сложила передние лапки и принялась молиться на стеклянные стенки. Но тут вошла мама, увидела банку, стала часто-часто дышать, а потом схватила ее и вытряхнула в окно. Я видела, как мышь упала с четвертого этажа в кусты палисадника бабы Кати, белоглазой ссыльной немки. Остался только едкий мышиный запах в банке, а потом ничего — мама вымыла банку с мылом. Наверное, мышь тоже была слишком велика для нашей каторги.

Тогда я выбрала гусеницу. Их в парке было сколько угодно, и через час я нашла красавицу. Длинную, мягкую, голубую. На лбу — два красных пятна, глаза, наверное, и белые ресницы. Гусеницу я тоже посадила в банку, и на этот раз мама ничего мне не сказала. Я кормила ее травой и смотрела, как она ходит по банке резиновыми ногами. Но через неделю гусеница умерла. От нее осталась только серая твердая штучка, похожая на поплавок. «Она не умерла, а изменилась! — сказала сестра, которая готовилась поступать в институт. — Недельки через три она опять изменится, увидишь!» Я отнесла серую штучку в парк и положила на то место, где нашла гусеницу. Мне не нужен был друг, который меняется так часто.

А когда я поймала ящерицу, то сразу поняла: с ней что-то не так. Ящерица была странная — медлительная, раздутая по бокам, потому и не

успела убежать. Я держала ящерицу за шелковистую прохладную шею и смотрела ей в глаза. Она резко дергала хвостом, раскинутые лапы дрожали, пузо пучилось. Я поставила ее на землю и отняла руку. Она не убежала, осталась на месте, разинув серый сухой рот. А потом вдруг что-то случилось. Из-под ящерицы выскочил крохотный серый ящеренок, такой же крапчатый, и прижался к ней. Ящерица отдыхала, глядя на меня, а потом вильнула и исчезла с сыном в зарослях полыни. Наверное, там была нора и своя жизнь.

Лето дошло до середины, а я все еще не знала, кого мне выбрать и приручить. Я охотилась в парке целый день, чтобы не сидеть на каторге. Каторга — это когда все хотят уйти из дома, но никто не уходит. А мне пока можно, только не допоздна.

В тот день я накопала в канавке червей и занялась их воспитанием. Прежде всего, я их сосчитала, поделила поровну и построила им две загородки: для мальчиков и для девочек. Рядом выкопала бассейн и натаскала туда воды из канавы. Я купала своих червей: сперва мальчиков, потом девочек, но тут приходилось опять браться за мальчиков, потому, что черви быстро грязнились. Я полоскала их по нескольку штук сразу, отряхивала и раскладывала в загородке сушиться. «Это просто каторга, — твердила я, — настоящая каторга, замучилась я с вами!» Вскоре мои черви стали тихие, розовые и чистые. Они почти не шевелились, и медленно подсыхали на солнце. И тут на нас упала большая тень. Сзади стоял отец.

— Что это? — тихо спросил он.

Я встала, и ответила, что играю. Он потащил меня домой и крикнул маме:

— Полюбуйся на дочку-садистку! Она там устроила настоящий концлагерь!

— Неудивительно, — ответила мама странным голосом. — Есть, у кого поучиться.

А потом они все ушли, и в доме стало тихо. Сестра сказала, что они идут в суд: разводиться и все делить. Меня не взяли, я сидела одна и думала, вернутся они, или уже нет. Может, за мной придет судья и уведет меня куда-то, раз моих родителей осудили... Но ничего страшного не случилось — они все вернулись и даже поужинали, а потом смотрели телевизор. А утром мама сказала, чтобы я больше не приносила никого домой. Потому что мы с ней скоро переедем. И что будет дальше — неизвестно.

Я вышла во двор и огляделась по сторонам. Теперь мне незачем кого-то искать и торопиться, пока не кончилось лето. С собой никого брать нельзя. Я сорвала розовую мальву из палисадника бабы Кати и съела белый горький пестик. Потом я съела оранжевый ноготок. Вокруг летали шмели и тоже ели цветы. Шмели забирались в мальвы, и цветок начинал

дрожать, а потом они вылезали оттуда задом наперед, коротко гудели и взлетали над детской площадкой, где сушилось чье-то белье. Я огляделась еще раз, подкралась к белью и сняла одну прищепку. Постояла рядом с палисадником и, наконец, увидела огромного оранжево-черного шмеля, который лез в мальву. Как только он скрылся, я быстро защемила прищепкой кончики лепестков и сорвала мальву со шмелем внутри.

Мальва жужжала и шевелилась у меня на ладони, она стала тяжелой и живой, и когда я поднесла ее к уху, то услышала, как там ворочается шмель. Я слушала долго, но он совсем не устал — ворочался и гудел все сильнее. Тогда я сняла прищепку и бросила мальву на землю. Цветок неохотно раскрылся. Лепестки у него стали мятые, вялые и почти прозрачные. Я стояла и давала себе слово, что не убегу. Пусть он вылезет и укусит меня! Пусть вылезет и укусит!

Он вылез — взъерошенный и угрюмый. Взлетел, покружился над моей головой и пропал. Я никуда не убежала, а он меня простил.

Тогда я поняла, кто мне нужен. Мне нужен он!

Я отращу длинные волосы и завяжу на них красные банты. Ему понравится: он будет одобрительно гудеть и усмехаться своим толстым голосом, забираясь в них, как в огромные мальвы. У нас не будет ни стеклянных банок, ни прищепок, ни загородок. Он будет жить на свободе и улетать, когда захочет. Но всегда возвращаться! Мы будем гулять вместе, и прохожие закричат, увидев нас: «Девочка, у тебя шмель!» А я спокойно отвечу: «Я знаю! Он ручной!» Если появится птица, которая может его склевать, я спрячу его в кулаке. А если кто-то захочет обидеть меня, он бросится такому человеку в лицо! Он пойдет со мной в школу, и я посажу его в пенал. Там он будет спать во время уроков. Я дам ему слово, что больше не взгляну ни на ящериц, ни на мышей, ни на розовых червяков, ни даже на других шмелей. Пусть улетает хоть на весь день — я буду ждать только его, и он вернется. А зимой он уснет в горшке с фиалкой, у меня на окне, где его никто не увидит за шторой. А когда проснется, я накормлю его медом...

Только вот... Как его приручить?

— Мама, горло болит!

Я хрипло покашляла. Мама ничего не сказала про каторгу и дала мне чай и ложку с медом. Чай я выпила, а ложку тайком унесла к себе. Я положила ее на подоконник, пошире открыла окно и задернула занавеску. Надо только подождать.

Я сидела у окна и ждала. Дома было очень тихо, и я боялась, что все услышат, как он прилетит. На занавеске мелькнула тень. Потом вторая. Тени садились на подоконник. Так быстро?! И сразу двое?! Я отдернула занавеску, и в лицо мне бросилась оса. Другая, перегнувшись пополам, погибала, жадно захлебываясь медом. Я выбросила в окно ложку, и вы-

гнала осу. А он летал в небе над детской площадкой, не глядя на мой мед. Ведь он не ради меда! Он не такой.

Сестра читала учебник с разрезанным человеком на обложке. Я не стала входить к ней в комнату, а только просунулась в дверь и спросила:

— Слушай, а можно приручить жука?

Я спросила про жука специально, чтобы она не догадалась про шмеля. Сестра мотнула головой.

— А почему нет? — спросила я.

— Потому что у него нет мозгов! — ответила сестра.

— Совсем нет? — не поверила я.

— Ну, может, капелька... — не очень уверенно ответила она. — У жука ведь маленькая голова.

Мне захотелось смеяться. У моего шмеля голова была огромная. Я закрыла дверь и решила подождать.

Я ждала его весь день, до вечера, и весь следующий день, а потом целую неделю. Я начинала ждать утром, а вечером я переставала ждать, потому что он ложился спать и не мог найти меня в темноте. Я тоже ложилась и сразу засыпала от усталости, потому что ждать очень тяжело. А потом прошел дождь, за ним еще один, и он снова не мог прилететь. А потом мы с мамой вдвоем переехали...

В нашей новой маленькой квартире вся мебель стояла криво. Незнакомые люди поставили ее так, потому что им было все равно, а мама не стала переставлять, потому что ей тоже было все равно. Лето быстро кончалось, каждый день шел дождь, и мама уходила на работу, а я сидела дома и не знала, ждать мне или не ждать?

У меня появился пустой желтый портфель, синее платье с белым воротником, книги и тетради. Книги были учебниками, и я не стала их рассматривать. Я знала, что потом у меня появится учебник с разрезанным человеком, как у сестры, и мне было скучно и страшно. Утром первого сентября мама одела меня в синее платье, собрала портфель, расчесала мои отросшие за лето волосы и завязала на них бант. Он был белый и держался плохо. Мама сказала, чтобы я шла в школу, которая в конце улицы, и никуда не сворачивала. А потом вспомнила, что забыла купить мне цветы, и дала денег.

— Купи сама, ладно? — спросила она. — Это по дороге, в киоске, возле магазина.

И почему-то меня поцеловала.

Я взяла деньги в одну руку, портфель в другую, и пошла. Во дворе своего нового дома я остановилась и огляделась.

Улица была длинная, все дома одинаковые. В конце виднелась новая желтая школа, и родители вели туда детей. Я стояла, смотрела, и никак не понимала, чего тут не хватает. А потом поняла.

Люди шли по асфальтовой улице, по бокам лежала мокрая красная глина, проезжали машины, разбрызгивая широкие лужи, краны махали

в небе длинными руками там, где строились дома. В конце улицы, где школа, я увидела дерево. Одно. Это был тополь, совсем тонкий и какой-то лишний здесь. А травы тут не было. Не было цветов.

Я подняла руку и стащила с макушки бант. Спрятала его в портфель. Деньги я положила в пенал. Я не буду покупать цветов. Я буду копить деньги, и когда наберу много, куплю себе какой-нибудь билет и уеду отсюда. Далеко и навсегда. Я так решила.

Я пошла вперед. Я шла и росла с каждым шагом. Я решила, что буду расти быстро, очень быстро, и стану большой и сильной. Я крепко держала портфель и старалась не сопеть носом. Ворота школы приближались.

И тут прилетел он.

Я увидела его совсем рядом и закрыла глаза.

— Лезь в карман, — прошептала я, — скорее!

А когда я открыла глаза, шмель уже сидел у меня в кармане.

— Сиди тихо, и не высовывайся! — сказала я. — Чтобы никто про тебя не узнал!

© Художник Елена Любович

Людмила Орагвелидзе
(Грузия, Тбилиси)

Родилась и живёт в Тбилиси, автор трех сборников стихов и четырех альбомов авторской песни. Вице-президент Ассоциации русскоязычных писателей и деятелей культуры Грузии, лауреат Международной литературной премии им. Юрия Долгорукого (Москва, 2010), обладательница приза «Лучший автор» Международного фестиваля авторской песни (Баку, 2012 г.), победительница 1-го Открытого чемпионата Балтии по русской поэзии (Рига, 2012 г.)

Вожак

Ты не заметил, озирая стаю,
Что все твои друзья уже вполне
В друзьях врага — и потому не знают,
На чьей сегодня будут стороне.

Гаси паденьем тленье оперенья,
Лежи с кровавой раною в груди,
Пока друзья толкуют в отдаленье,
Решая, подойти — не подойти.

Но ты же знал по опыту — при стычках
Они молчат и прячутся. Бегут!
Но ты же знал о тайных их привычках —
Дружить с тобой, сочувствуя врагу.

Теперь и ты в когорте уходящих,
Твой враг спесив, да и хитер вдвойне...
Прости же всех смятенных и стоящих
Лицом — то к той, то — к этой стороне.

Созидание и разрушение

Флоренция! Лики мадонн и младенцев,
И нежность бескровных Венер Боттичелли...
Пред ними безмолвствовал Макиавелли,
Улыбку терял саркастичный Лоренцо[1].

А ныне, явив торжество произвола,
Швыряя полотна и книги в кострище,
Велит очумелым монахам и нищим
По кругу отплясывать Савонарола.

[1]Лоренцо Медичи.

И здесь же — причастный волнующей тайне,
Забыв про немилость, нужду и обиды,
Ваятель творит «Pieta»[1] и Давида,
Резцом оживляя каррарские камни.

И спрятаны цели в безмолвной природе,
И схожи эпохи на срезах и сколах;
Сжигает... неистовый Савонарола,
Ваяет... неистовый Буонаротти.

...Витийствуй, поэт, разворачивай реки,
Сгребай облака, обжигайся прозреньем...
Дежурит на стыке времен Разрушенье,
Цена у него за тебя — полкопейки.

Этот город...

Ни о чем не печалься, Лот,
Уходи налегке и пешим.
Этот город не признает
Недостаточно постаревших.

Он пред старостью тих и нем,
В молодых уважает норов, —
Но не знает, что делать с тем,
Кто меж ними. Кому — за сорок.

Завтра утром совсем юнец
Станет средством его наживы,
Ты же — выброшен, как ларец
Музыкальный, но без пружины.

Ты же — списан, как хлам. Но что
Держит в этом недобром месте?
Птичья цепкость скупых цветов?
Ожидание скудной вести?

Уходи без оглядки, Лот,
Поперхнувшийся, ошалевший...
Кто останется здесь — умрет
Недостаточно постаревшим.

[1] «Pieta» — (Скорбь о Христе) Микеланджело.

Дом на Шардени[1]

Дому объявлен вердикт.
Из него, не спеша,
съехали кошки,
собаки и люди.
Если и вправду
у дома бывает душа, —
Кто-нибудь!
Что же теперь с нею будет?!.
Как оторваться ей,
если вся суть в суете:
в шуме кастрюль,
выметании пыли...
В угол забившись,
она не желает лететь,
если любимые стены
без крыльев.
Капают слезы,
сырою побелкой крошась,
на пианино
без крышки и клавиш...
Если и вправду
у дома бывает душа, —
Господи,
Ты же ее не оставишь?

.

Вельвичия[2]

И кто ещё настолько чужд величия,
Настолько смел в желании ростка,
Как маленькое деревце Вельвичия,
Задумчиво живущее в песках?
В нем — два листа. Оно почти обманное;
Живет веками, чтобы подрасти...
Питается одними лишь туманами,
Зажатыми у вечера в горсти.

Вельвичия, у нас с тобой есть средство
Жить, как хотим... Любить: пески ль, стихи ль...
Стихия — это ад стихийных бедствий,
Когда в ней нет родных тебе стихий.
Вельвичия, в твоем пустынном доме —
Все то, что любишь ты. Вот так и я:
Жилье без книг, будь даже то — хоромы,
Считаю непригодным для жилья.

Твой мир — шуршанье выбеленно-выжженных,
Загадочно клубящихся песков,
А мне довольно кельи или хижины,
Иллюзий, миражей... твоих листков...
И надо жить, и надо как-то вынести
Горячий день, что испытаньем дан...
Пока на нас с тобою высшей милостью
Не снизойдет еще один туман...

---

[1]Шардени — пешеходная улица в историческом центре Тбилиси.

[2]Вельвичия — реликтовое дерево пустыни, которое живет на таком расстоянии от моря, куда могут доставать туманы, потому что оно питается туманом...

Встреча

А над Махат-горой другое небо,
Не знающее страха пустоты;
Лицо златого купола Самеба[1]
Осматривает город с высоты.

И мы с тобой — степенные, под возраст,
Под память — осторожные в речах,
Не любящие ветер и промозглость,
И любящие тихую печаль;

Идем по сонной улице Шардени,
Где чуждый взгляд меняя на иной,
Ты скажешь: «Этот небосвод намедни
Алел совсем другою стороной...»

— Бледны переносные олеандры, —
Подумаю, касаясь их рукой.
А память робко возвращает кадры
Из тех времен, где я была другой...

Тогда и птицы о тебе летели,
Мою надежду хрупкую держа...
А вслух отвечу: — Небосвод алеет
Той стороной, где у него душа...

Я проверила мир...

Я проверила мир: он купался в лучистых потоках
И легко обещал: «Всё на свете спасется, продлится...»
Впереди меня шла моя тень, шла на запад с востока;
Для нее ведь отстать — что пропасть, —
вот она и боится...
На пологом холме и под скалами в гофровом дыме
Говорила с рекою, поближе к себе подзывая:
«Не боишься, река, в океане забыть свое имя?»
Лучше вовсе не знать, чем терять.
Вот она и не знает...
Всё боится исчезнуть. У Леты есть пальмовый берег;
Нас приносят туда на уютных и теплых ладонях,
Там смеются Петроний с Нероном и Моцарт с Сальери;
Все родны, если что-то забыть.
Вот они и не помнят...

[1]Самеба — Храм Святой Троицы в Тбилиси.

Конь Калигулы

Ради благополучия и удачи Инцитата...
Из государственной присяги. Рим.

У всякого трона незримо
Присутствует призрак измен...
Калигула мертв, и над Римом
Парит божество перемен.
Судьбу лошадей и престола
Решает гудящий сенат,
И выдворен в общее стойло —
Вчерашний герой — Инцитат.
А он ведь не кто-то — сенатор,
Имеет финансовый ценз...
Теперь обходись без зарплаты,
Без дома, без принцепса, без...
Стоит он в обычной конюшне
С конями плебейских мастей;
Пугается криков снаружи,
Боится недобрых вестей.
Готов под присягой, коль надо,
Дать клятву, что он — только конь,
Не терпит сенаторов на дух
И больше в сенат — ни ногой!
И этим... жующим послушно, —
Попробуй теперь, докажи,
Что это не ты их подушным
Налогом тогда обложил;
И в мрамор прозрачно-зеленый
Не ты свой дворец облекал,
И пурпур себе на попоны —
Уж, точно! — не сам выбирал.
Похоже, он брошен, — похоже,
Пора подаваться в бега...
Он вспомнил Аспазию — лошадь,
Что так озорна и легка.
Тогда было сказано вкратце:
Мол, эта — тебе не под стать!
Теперь самому выбираться...
Теперь самому выбирать.

* * *

Минувшее размыто, как во сне...
А большего, чем выпало — не надо.
Я спасена от бывшего во мне
Дремучего и долгого разлада.

Итог весом: я без потерь могу
Списать в утиль года, мечты и лица...
Но тихо помню радость и тоску
Затем, чтобы не дать им повториться.

Я замерла, как скат на темном дне
(Любое одиночество пугливо)
И страшно... только всё же не страшней,
Чем снова попытаться быть счастливой.

В один из дней...

Давно уже ничем не дорожа,
Устав от бестолковости и лжи,
Она училась строить миражи
И растворяться в этих миражах.

В один из дней пустого октября,
Когда усталый ангел крепко спал,
Она привычно вышла в свой астрал,
Туда, где можно видеть, не смотря...

Ей грезилась спокойная река
И отраженный в ней миткаль берез,
А вдалеке — слепящий белый плес,
Куда с небес стекают облака.

Где есть причал ее волшебных снов,
Смолой и рыбой пахнущий настил;
Она к нему сумела подойти,
Не делая для этого шагов.

Да, ей дано летать!.. Едва дыша,
Она метнулась в сумрачную высь...

А потрясенный ангел падал вниз
Вослед за ней. С шестого этажа.

Точка, точка, запятая...

Мне забыли прилепить уши.
Голова моя срослась с тельцем...
Ах, зачем рисует мне сердце,
Не умеющий вдохнуть душу?!

Я — созданье не того сорта:
Я в гримасах превзошла мимов...
И страдаю, если вновь... зрима,
И ликую, если вновь... стёрта.

Песочные часы

(Из цикла «Истории чулана»)

Ну что же вы, песочные часы,
Лежите поперек, и всем на свете
Хитро смеетесь в пышные усы,
Когда в утробе вашей два столетья?

О, ваш песок, стареющий в мечте
О миражах таинственных барханов...
О, ваш песок, забывший о дожде
И звонком побережье океана...

Он своего проклятия печать
Сорвет однажды, пробурив вам темя.
Вставайте же, он хочет исчерпать
Любое время!

***

У медведей — время спячки и снов.
Да и я не прочь от стуж — на полати.
Что натопчут стрелки на циферблате, —
Как медведям, так и мне — всё равно.

Проскользну в декабрь с опавшей листвой
И замру под пледом, словно в берлоге;
Этим летом мне меня было много,
Да и осенью хватило с лихвой.

Нас с медведями окутают сны,
Может быть, о самом главном на свете...
Вот и парочка созвездий Медведей
Задувает огоньки до весны.

Наталья Богдановская
(Франция)

Родилась в городе Красноярске. После окончания университета по специальности «русский язык и литература» работала журналистом на ТВ, в 2005 году приехала во Францию учиться в Парижской школе кинематографии (спец.: «режиссура художественных и документальных фильмов»). Снимает документальные, короткометражные игровые, а также рекламные фильмы. Фотографию считает неотъемлемой частью своей профессии режиссера.

Черубина, или Дневник её подруги

(Продолжение. Часть II)

*Париж, 2 мая 20** г.*

Господину Стефану Жене
Имение Сорель
76000, Франция

Сомнения, о которых Вы говорите, крайне беспокоят и Веру: не странно ли, что предмет ее сердечных терзаний, в свои бодрые французские пятьдесят лет пустившись на поиски любовных приключений по интернету, вдруг вопреки логике своей тайной затеи отверг всех куртизанок, полусветских скучающих дам из числа паучих-соблазнительниц всемирной сети, и с восторгом ответил на письмо некой Черубины, которая вместо фотографии, сухих антропометрических данных под четко сформулированными ожиданиями, поместила туманное описание своего характера в стихах? Не подозрительно ли, что он стал с такой искренностью говорить о себе с Незнакомкой в первом же письме и не искал встречи, покорно довольствуясь ее романтическими эпистолами? А может, Оливье первый затеял этот розыгрыш, намеренно оставив перед Верой в компьютере открытую страницу со своим анонсом на сайте «ни к чему не обязывающих» знакомств, как иллюстрацию своего недавнего решения порвать с ней? Или, не будучи столь коварен, действительно забыл вовремя скрыть фривольные поиски, и потом, догадавшись, что Черубина — не более чем мистификация его «бывшей», решил подыграть?

Да, сомнения у нас есть. Но Вера, воспрянувши духом и вдохновением на дальнейшее эпистолярное раздвоение личности во благо своего будущего семейного счастья, собирается продолжать эту историю, во что бы то ни стало. Я, впрочем, не буду забегать вперед, скажу лишь, что уже

теперь наша Черубина преподнесла столько неожиданных поворотов сюжета и эмоций, которых хватит на еще одну тетрадь моего дневника.

Однако я совершенно ничего до сих пор не сказала Вам о характере героя Вериного романа! Мое собственное впечатление, не сдобренное личным общением, было б не глубже гороскопа в бульварной газете, но поскольку у моей подруги существует лишь две темы для разговоров: отношение Оливье с Верой и отношение Оливье с Черубиной, сухого остатка от ее слезных повествований у меня оказалось достаточно.

Добродушен, общителен, порой застенчив. Более всего на свете ценит свою свободу, но боится быть жестким и невежливым с дамой. Поэтому не может сразу и навсегда обрубить отношения, и оттого тяготится ими еще больше. Накручивает, становится нервным, нелогичным, и, на пике метаний, его попытки разрыва неловки и еще более грубы, чем можно было бы ожидать. Всякий раз, под натиском Веры, возвращается, во внутренних монологах, вероятно, сетует на свое малодушие, и все повторяется снова. Ее жизнь, казалось, мало интересовала Оливье в том стереотипе неэмансипированного женского представления, в коем Герой с охапкой роз и на эффектном средстве передвижения, непременно белого цвета, завоевывает сердце своей прекрасной дамы искренним участием в ее душевных и финансовых переживаниях. Оливье приезжал к ней, разлохмаченный каской скутера, по-французски неглаженно-одетый, во «что ближе лежало», вечно спешащий, как известный киношный проводник поезда Москва — Алма-Ата.

Оставим для психоаналитиков вопрос, что каждый раз пришпоривало Оливье из постели Веры бежать за «уходящим поездом». По ее словам, ожидавшая его дома «экзальтированная художница эротических полотен» не отличалась видимыми преимуществами перед Верой. По его же словам, в минуты их лирических откровений... тоже не отличалась. Он никогда не спрашивал, нуждается ли Вера в помощи. Когда она переехала из дальнего пригорода в Париж, с трудом, не по средствам, подыскав квартиру в двух шагах от его офиса, Оливье, вопреки ожиданиям, не высказал особой радости, парадоксально заметив вскользь, что теперь они будут видеться реже. Он неохотно приглашал ее на дружеские вечеринки и переводил разговор на неблагоприятные погодные условия всякий раз, когда она просила познакомить ее с родителями и родственниками. Все эти симптомы Веру не останавливали, а только подогревали ее ум к поиску изощренных обходных путей. Однажды она слишком близко подобралась к огню, попытавшись завязать доверительную дружбу с его ассистенткой. Дамы провели приятный светский ужин в обсуждении мсье О., а на следующий день Вера получила гневное письмо от предмета разговора, где он просил не вмешивать в их связь его коллег. Ей хотелось как можно быстрее привести своего избранника к стабильности в отношениях, которые она видела в голливудском «хеппи-энде», и она невольно замед-

ляла шаг возле витрин со свадебными платьями. Он же, как огня, боялся этого «голливуда». Только ли по долгу своей профессии, обязывающей, на свое же благо, поддерживать отечественного кинопроизводителя? А, может, боялся Оливье этого «энда» именно с ней?.. Все его поведение, столь оплаканное Верой, говорило о том, что он ищет других отношений с ней и другого отношения к себе. Отношений, где он никому ничего не должен. Вернее, где он не чувствует, что ему намекают на то, что он что-то должен… И кто знает, если бы у «Оливчика» была эта свобода, возможно, он и пришел бы сам, добровольно, к тому, о чем так мечтает Вера…

Дневник

Париж, 10 апреля.

Весь день Вера сияла, как тульский самовар, и к вечеру уже наизусть цитировала первый ответ Оливье на письмо Черубины, снабжая каждую фразу комментарием: «Нет, ну ты посмотри, каков шельмец, а!» Вопрос его измены начал плавно уходить в расфокус, а ведь измена была налицо: по факту, ее возлюбленный заинтересовался другой женщиной! Но интрига и предвкушение благополучной развязки занимало все ее воображение.

Как раз в это время Бернар Моэр, — друг и однокашник Оливье по киношколе, прислал Вере пригласительный на премьеру своего фильма. Вера самостоятельно, без помощи Оливье, подружилась с Бернаром около года назад, с одной лишь целью: сделать его своим агентом и посредником в моменты конфликтов с Оливье. Как режиссер, Бернар сразу же раскусил этот сценарий, но сознательно позволял ей плакаться в жилетку, как мне думается, профессионально коллекционируя всякого рода «человеческие трагедии», с тем, чтобы потом максимально правдоподобно выстраивать психологические образы своих киногероев.

Его новый фильм посвящался одному из молодых парижских бунтарей 1968 года. Вера пошла на показ не столько из-за режиссера и даже не из-за самого героя фильма, чье фото наглой юношеской улыбки в лицо вооруженному до зубов жандарму облетело в свое время весь мир. Другая улыбка влекла ее на вечеринку с плохо одетыми «парнями от киноискусства» — продюсера фильма Оливье М.

Уже две недели Вера тщательно планировала визит в стан Оливье. Репетировала перед зеркалом одновременно очаровательный и полный безразличия взгляд, придирчиво перебирала платяной шкаф и, неудовлетворенная ревизией, бегала по бутикам. Выстраивала на разные стилистические лады возможную фразу приветствия на тот гипотетический случай, если

в этот вечер Оливье окажется со своей бывшей более разговорчивым, чем последние полтора месяца.

В день премьеры, нетерпеливо-загодя собравшись, Вера быстренько настрочила Оливье сразу два письма: одно от себя, с вежливо-сухим поздравлением с фильмом Бернара, второе от Черубины, где сочно описала ее тоскливый, в отсутствие интернета, отпуск в «родной» нордической Скандинавии (мы подстраховались ее иностранными корнями, на случай мелких грамматических ошибок во французском языке). Оба послания уже полчаса как благополучно ушли адресату, когда ее приподнято-мечтательные губы вздрогнули страшным открытием: в обоих письмах она употребила одну и ту же синтаксическую конструкцию! Вера, которая «заткнет за пояс» любого среднего француза по лексическому запасу и знанию стилей, возвела в ранг катастрофы такую оплошность, как идентичная пунктуация в письме Веры и в письме Черубины. Она много дней скрупулезно разрабатывала стиль Незнакомки, перечитывала французскую беллетристику, анализировала письма мадам де Севиньи. Мотивация была следующая: поскольку Оливье уже прекрасно изучил за пять лет ее собственную манеру письма, и эта манера изобилует громоздкими предложениями с обилием причастных оборотов, Черубина будет писать ему намеренно чопорным языком, но предложения будут коротки, где-то оборванные многоточием неких намеков, размышлений и сомнений. Теперь же случилось, по ее словам, непоправимое: Оливье получил многозначительные многоточия не только от Черубины, но и от Веры. Начались стенания о безвозвратно ушедшем счастье, с завывами рефреном: «Все пропало: он обо всем догадается!»

Она разбросала по местам в тесном шкафу свою тщательно подобранную, неведомую стилистам смесь — «вамп-режиссерская тусовка», и даже хотела звонить шефу, чтобы просить отгул по состоянию здоровья на следующий день. Это «состояние», увы, не было преувеличением. Я вспомнила об Александре Кутине — сибирском психоаналитике, которого Вера нашла на каком-то форуме, подружилась для своей же пользы, и он, невзирая на разницу в часовых поясах, давал ей очень полезные советы. Авторитет он подкреплял примерами своей незаменимости, к коим с пафосом относил свои консультации в области политической пропаганды на ТВ, а также (торопливым говорком) «проходными» консультациями в женской колонии строгого режима на пустынной окраине его родного уездного города К — «ну, это так уж, из благотворительности». Свой первый мастер-класс в «стольном граде Москве» (чем он особенно гордился) для свободных, эмансипированных бизнес-леди, жаждущих сформировать любовную зависимость у потенциальных инвесторов, Кутин захотел, с легкой руки Веры и — практической — моей, увековечить на видео. Именно тогда он торжественно подписал мне свою новую

книгу, где, смакуя, разжевывал, как жонглировать чувствами партнера с помощью упрощенных для обывателя техник нейролингвистического программирования.

Теперь я в отчаянии листала его книгу, в поисках уместного для Веры утешения. Наконец, на 297 странице — «Разрыв шаблонов»! Вера, сквозь слезы и годы, приближающие к дальнозоркости, с трудом разбирала недорогой типографский шрифт... Еще менее понимала, к чему мы с Кутиным клоним. А идея была проста, как мычание: нужно отправить вдогонку постскриптум — что-то такое яркое, что бы отвлекло внимание Читателя от предыдущего сомнительного сообщения.

«Хорошая идея… А что писать?» — она, наконец, заметила свой отставленный бокал «Бордо». «Ну, что-нибудь… А Цветаеву ты до конца перевела?» Вера молниеносно зарифмовала оставшуюся от ее первого черубиненского анонса часть стихотворения. Мы проверяли его потом на французах-литераторах: все идеально! И почему она до сих пор не в Лиге переводчиков?.. Постскриптум получился несколько длинным, но он того стоил. Повод — фраза Оливье о том, что он ничего не знает о Незнакомке и просит подробностей. Подробностей мы дали предостаточно: полный перевод «Легкомыслие — милый грех…».

Отправив письмо, Вера успокоилась, снова открыла свой платяной шкаф, привычно-придирчивым движением рук вплыла в убористые вешалки сольдированных Гальяно и Диора, пересматривая все, что могло сойти за ее наряд, натягивающийся на свежие эмоции в прежних рамках «соответствия кинематографической тусовке».

Париж, 15 апреля.

Показ фильма о бравой юности героя студенческого восстания удался. «Гвоздя программы» не отпускали со сцены, на зависть режиссеру. Оливье, вопреки ожиданиям, на показе не был, и Вера, вначале еще с последней надеждой ухватившая бокал «для поддержания беседы», вскоре потеряла к общению с кем бы то ни было всякий интерес. Но не зря она рвалась домой, оставив в шумно-набитом подвале разочарование от неоцененного киношниками ее изысканного гардероба. В электронной почте Черубины Веру ждал ответ Оливье. Я привожу его здесь с некоторыми сокращениями, сохранив пунктуацию автора, и отсылаю заинтересованных к цветаевской поэзии…

«Добрый вечер, Черубина...

Я вновь и вновь с восторгом перечитываю Ваши стихи! Они так нежны, свежи, полны оптимизма!!! В них столько любимых мною слов: милый, мазурка, смех… Неужели Вы — все это одновременно? Да… Я

действительно совсем ничего о Вас не знаю! Но, я хотел бы открывать эту страницу для себя постепенно, подобно Рождественским календарикам из моего детства, в которых я день за днем отрывал новую страничку, за которой скрывалась картинка, полная ярких красок! Однажды, я был настолько нетерпелив, что слукавил и сразу оторвал несколько листков 20, 21, 22 и 23 декабря! И, чтобы наказать себя за проявленное нетерпение, провел 4 последующих дня в полном „неведении".

А, кстати, у меня тоже северные корни: если быть более точным, моя семья происходит из Фландрии…

Приятных сновидений, Черубина!»

Говоря о Фландрии, Оливье намекал на одноименную песню шансонье Жака Бреля «Страна равнин». А о том, что Жак Брель — любимый автор-исполнитель нашего героя, Вера и так прекрасно знала. Теперь все собранные за пять лет стратегические данные о многогранных вкусах Оливье работали на тактику Черубины.

Вера немедленно скачала песню из Интернета и, снабдив пафосным комментарием, приготовила к отправке. «Стоп… А как озаглавить письмо?» — в ее глазах снова заметалось беспокойство от встречи с непреодолимым препятствием. Я еще раз перечитала ответ Оливье. И вдруг там, в его же собственных строках, я обнаружила мысль, которая выстроила всю нашу дальнейшую концепцию переписки Черубины. Фраза, где он признается, как отрывал листки календаря, в детской наивности приблизить праздник. А ведь и первая встреча с Черубиной должна стать для него таким же долгим ожиданием чуда! Свое письмо, сочиненное под шелест весенних листьев, Таинственная Незнакомка озаглавила «1 декабря».

Париж, 21 апреля.

Вот и наступил второй переломный момент в истории: мы ждем, поддержит ли Оливье игру «в отрывной календарь». С этого момента наш сценарий приобретает более замысловатые очертания: каждое письмо станет «листом календаря», приближая момент «рождественского чуда» — первую встречу с Незнакомкой. Но как целый месяц поддерживать интерес Оливье одними лишь эпистолярными вздохами по электронной почте, да еще через сайт, где отговорки от личной встречи выглядят, мягко говоря, неожиданно?.. А тут еще и Вера заявила, что планирует растянуть «декабрь», как минимум, на полгода. Зачем? — «Чтобы в полной мере осознал — это ему не какое-то там непонятное знакомство по Интернету! Пусть чувства проявятся!». (Проявляться, на мой взгляд, пока было нечему, но я осторожно молчала). Теперь Вера собирается «отры-

вать календарь» не в каждом письме, а только в Очень Значимом. А как разделить письма Черубины, уже по определению небанальные, на «значимые» и «менее значимые»? Необходимо придумать что-то такое, чего искушенный киношник Оливье еще не видел ни на экране, ни в жизни… «1 декабря» Черубина отправила песню Жака Бреля, которого, как Вера прекрасно знала, он обожает. И что дальше?..

Вечером, когда я вернулась после всех деловых встреч, мы сели на кухне и вдруг как-то запросто придумали нюанс, который даст их отношениям новый шарм. Вера тут же настрочила Оливье спешный постскриптум, который мог бы ответить на вопрос — как и чем «заволокитить» переписку на полгода.

«…Признаюсь, я безмерно сожалею о том, что вынуждена писать Вам по электронной почте! Если бы Вы знали, как мне хочется отправить Вам настоящее письмо! Письмо, которое можно держать в руках, ощущать шероховатость бумаги, вдыхать почти неуловимый аромат моих духов и видеть живой почерк, вместо бездушного шрифта… Тогда эта связь, едва возникшая между нами, стала бы более чувственной. У прежних, настоящих писем была душа, которой нынешние «мейлы» совершенно лишены… Это так грустно! Вы не находите?»

И Оливье нашел! Оказалось, он всерьез волновался недельным затишьем Черубины и, получив, наконец, не только песню, но еще и такой крутой поворот сюжета в постскриптуме, не дожидаясь конца рабочего дня, отправил восторженный ответ.

«До чего же прекрасно Ваше письмо! Какое удовольствие, после стольких дней ожидания, наконец, получить его! Умоляю, Черубина, никогда больше так не делайте! Я даже начал думать, что Вы меня покинули навсегда, отправив в качестве прощального подарка несколько нот из песни. Песни, которую я давно ношу в своем сердце. Вы — волшебница! Как Вы угадали? Ведь я — большой поклонник Великого Жака… Но у нас еще будет время поговорить об этом: может быть, это произойдет в теплый весенний вечер, или на закате жаркого летнего солнца?.. Все зависит от того, сколько времени нам понадобится, чтобы увидеть друг друга, не так ли? Впрочем, спешу заверить: ностальгия по очарованию писем былых времен, с их чернильными завитками на шершавой бумаге, возмещается изысканностью и красноречием Вашего текста. И то, что я получил его благодаря компьютерным технологиям, ничуть не умаляет удовольствия и волнения, которые переполняют меня в этот момент!

Моя милая Черубина, знайте: мне настолько же приятно читать Ваши письма, насколько не терпится Вас увидеть! Но предоставим времени выполнить положенную ему работу…»

Следующая, прощальная фраза развлекла Веру необычайно (похоже, Оливье совершенно забыл, с какими откровенными намерениями он оставил свой призывный клич на сайте фривольных знакомств!): «Позвольте, моя Прекрасная Дама, пожелать Вам сладких сновидений этой ночью, прикоснувшись к Вашей правой щеке в целомудренном поцелуе…»

Определенно, вспоминается грибоедовское: «Шел в комнату, попал в другую. — Попал, или хотел попасть?» …

Париж, 22 апреля.

Целый день Вера провела в магазинах. В век «компьютерных технологий» для нее, вот уже лет двадцать вспоминавшей даже о шариковой ручке не более чем для быстрого росчерка редкой административной подписи, оказалось не так-то просто найти «шершавую бумагу» и перо, которое бы выписывало желаемые завитки. В процессе поисков стали возникать сопутствующие идеи: не только создать письмо «а ля 19 век», но и скрепить его для пущей убедительности сургучной печатью. В конце концов, Клондайк ностальгической атрибутики нашли в квартале Маре. Владелец магазинчика, кокетливый брюнет средних лет, услужливо выложил перед Верой весь ассортимент: сургуч черный, сургуч бордовый, сургуч «заморский» — советский. Узнав, для чего поиски, сам предложил бордовый, как более подходящий по концепции, — именно этот цвет использовался в прошлом для запечатывания писем. Объяснил и как им пользоваться: есть специальный пистолет (за 20 евро). Но можно обойтись и без него — просто разогреть над свечой кусочек сургуча в ложке. «Не изволите ли и печать приобрести?» — лукаво улыбнулся продавец, извлекая из витрины коробку, полную вензелей на все буквы латинского алфавита. И вот тут обнаружилась проблема: «Черубина» на французском начинается на «Ch»: две буквы означают один звук. Но как будет правильнее сократить это имя — «Ch» или только «C»? Поиск быстрых аналогий зацепился за патриотический триколор — Шарль де Голль. Названный в его честь аэропорт сокращается CDG. Возможно ли это применить к Черубине де Габриак? Вера не хотела, чтобы Таинственная Незнакомка вызвала у нашего прямолинейного француза ненужные мысли о нечаянных авиакатастрофах. Стали звонить знакомым: по человеку и аэропорту мнения разделились. Споры, то на русском, то на французском, продолжались четверть часа. Продавец «канцтоваров», потерявшись в билингвизме, устроился в своем закутке и, в ожидании нашего решения, манерно поправлял шейный платок в зеркальце пудреницы. Неизвестно, на сколько бы еще могли затянуться наши прения о покупке одной, двух, трех или всех четырех печатей, если бы Вера не

взглянула, наконец, на ценники… Через пять минут она галопировала к ближайшему метро, бережно держа объемный пакет с «шершавой бумагой» цвета «проверенное временем», гусиным пером, банкой коричневых чернил «сепия», пятнадцатисантиметровой палкой бордового сургуча и печатью, в замысловатом вензеле которой с трудом угадывалась буква «С».

Вечер начался с лабораторных исследований: реакции данного вида бумаги на гусиное перо (было специально куплено несколько листов, на случай кляксы). Вера, которая прекрасно изучила своего друга за пять лет, смешно изображала в лицах его изумление и детскую радость… Думали, что подготовить подарок Оливье — дело получаса. Но восторженные описания «настоящего манускрипта» — одно, а практика чистописания, — оказалось, совсем другое. Чернильные завитки в руке, привыкшей к клавиатуре, ложились корявым заборчиком, а перо предательски цеплялось за ворсинки, ради незабываемого эффекта которых Вера выложила из своего бюджета внушительную сумму. Высунув кончик языка, почти лежа щекой на шершавом листе, она падала в зазеркалье — 35-летнюю давность: в белые банты, пестрые сентябрьские астры, ломаные линии прописей и испытание первым сочинением, повлекшим семейный скандал: «Жил бил йожик. Он залес фсвоё дупло лёх и сдох».

К исходу второго часа упражнений, более или менее эстетически приемлемые членораздельные каракули для очарования Оливье были готовы. Вдохновленная успехом каллиграфии, Вера уже собиралась топить в ложке сургуч, как вдруг вспомнила об оброненном в письме «неуловимом запахе духов»! В борьбе за чистописание, она совершенно забыла о том, что предстоит еще одно ответственное дело — выбрать Незнакомке духи, которые бы, с одной стороны, отдаленно напоминали ее, Верины, вкусы, а с другой, — были бы чем-то таким, что бы заставило Оливье восхищенно принюхаться к манускрипту: вдохнуть, и через критическую для жизни минуту выдохнуть: «Черубииина!»

Париж, 23 апреля.

Утром Вера с трудом утрамбовывала в хозяйственную сумку расчлененное на сотню маленьких тряпочек вафельное полотенце. На мой вопросительный кивок в сторону тряпичной горки деловито буркнула: «запястий только два, а духов — много… куда брызгать-то? На эти их бумажки?» Экипировавшись таким образом, Вера отправилась выбирать аромат для Черубины не куда-нибудь, а в бутики «нишевой парфюмерии».

Пергидрольная консультант магазина наметанным глазом в секунду определила в Вере этническую соотечественницу и вложила в свою заученную пропагандистскую речь всю звонкую силу мотивации от хо-

рошего процента с продажи. Фразы о «натуральных материалах», об «искусстве создания аромата», о «религии парфюмерных нот» и даже о «философии раскрытия парфюма на коже» опускались на Веру и ее тряпочки дисперсной благоухающей взвесью из бесконечных флаконов.

Конечно, блондинка умолчала о самом главном — нестойкости и мимолетности упомянутых фактов... Но и так было понятно, что клиентка уже не уйдет отсюда с пустыми руками — ведь реклама легла на подготовленную почву. Одни только ингредиенты потрясали воображение: водка и шампанское, гваяковое дерево и дерево аод, мокрый табак и древесина на морозе. Вера не стала экспериментировать с неизвестными ботаническими названиями, перейдя к витрине с ассоциациями более традиционными: мимоза, горячий красный перец, взволнованный пион… Когда вафельные тряпки подошли к концу, она, наконец, обнаружила то, что идеально отвечало ее поиску: «шоколад в морской пене».

Домой Вера вернулась в гордом благоухании чего-то загадочного и доселе ненюханного. Щедро окропив новыми духами «шершавую бумагу» (при этом одна буква предательски расплылась), она уверенным движением советского почтового служащего залепила сургучом скрученный в трубочку свиток и торжественно припечатала его вензелем «С». Мы придирчиво оглядели результат: хорошо, но как-то маловато для подарка.

— А не пора ли дать мсье Оливье некий намек на образ Очаровательницы в виде фотографии? — В моей голове уже возникла четкая картинка, но я наслаждалась вериным испугом.

— Ты что?? Он же меня узнает!!

— Не узнает: мы подойдем к делу шире… точнее, уже — с точки зрения крупных планов: Надо сделать фото, где Черубина пишет это самое письмо. Лица видно не будет.

— Так ведь… как?.. он же поймет, что это мизансцена, что кто-то специально снимает... неестественно будет… — растерянно бормотала Вера из шкафа, где, по ее представлениям, второй год валялась в нераспечатанной коробке незатейливая кэноновская «мыльница».

Пока она шуршала инструкцией, бряцала в шкатулке кольцами и браслетами, откапывала в недрах комода перчатки в сеточку, примеряла блузку с тесноватыми кружевными рукавами, я мастерила «эстетическое наполнение кадра» из подручных материалов. Вытряхнув подаренные каким-то туристом московские конфеты из блестящей коробки, поместила ее на задний план в качестве экрана: свет от настольной лампы должен падать на фольгу и играть рельефом конфетных ячеек в стекле флакона новых духов. В качестве дополнительных отражателей для освещения бокала с вином, примостила свои зеркальные клипсы. На крупном плане и клипсы, и пустая коробка из-под конфет, должны быть таинственными, как можно более непонятными предметами. Декорацию завершили оставшийся от экзерсисов чистый лист и чернильница с пером.

Когда все было готово: зажжена свеча, привязана скотчем под нужным углом лампа, а Вера, отхлебнув для храбрости половину из бутафорского фужера, задорно скомандовала «мотор!»… в квартире выбило пробки… Уж не знаю, что стало причиной: наш ли «эмоциональный накал», или мистика, о которой Черубина намекала Оливье, но только все погрузилось во мрак, словно некий знак того, что «обманывать — нехорошо». (Хотя, это еще вопрос, кто кого больше обманывал!)

Вера, однако, уже вошла в образ и не собиралась расставаться с ним из-за каких-то мистических знаков. В мерцающем свете той самой романтической свечи Прекрасная Дама долго и безуспешно клацала в коридоре внутренностями электро-шкафчика, затем хлопнула входная дверь, я услышала сперва настойчивые трели звонков в соседние квартиры, затем торопливые шаги вниз по лестнице. Через минуту, запинаясь о длинноносую, средне- и высоко-каблучную разносезонную обувь 41-го размера, появился лысоватый спаситель с третьего этажа. «Какая удача: представь, он — электрик!» Словно в подтверждение ее восторженного шепота, все 30 квадратных метров залил свет, и даже стиральная машинка возобновила тихое хлюпанье деликатными тканями.

Остаток вечера мы провели в затяжной креативной фотосессии. Идеи роились и наслаивались одна на другую, словно многослойное желе кондитера-экспериментатора: готового материала Черубине с избытком хватит до самого Рождества, даже если она растянет месяц на полгода. Каждое созданное из клипсов отражение будило фантазию о невидимых прелестях образа загадочной Незнакомки, каждый блик конфетной коробки таил в себе ее мистические чары. Сегодня утром, рассматривая свежеотпечатанные фотографии, Вера уже злорадно сравнивала Оливье с Генрихом из оперетты «Летучая Мышь»: «Ах! У Вас на руке такая же родинка, как у моей жены… Но разве может ее родинка сравниться с Вашей?!»

Она в последний раз удовлетворенно оглядела благоухающий пеной морского шоколада сверток и вдруг, в ужасе, рухнула на стул в очередном страшном озарении: «А как он его получит? Адреса-то у Черубины нет!» Раздвоение личности впервые проявилось так явно: Вера, прекрасно зная почтовый адрес Оливье, совершенно забыла о том, что ее двойник — Черубина — такой административной французской необходимостью не обладает. Это открытие на некоторое время совершенно парализовало работу наших четырех полушарий. Спустя несколько минут, первым зашевелилось мое — правое:

— Честно говоря, посылать по почте все это ему домой было бы както… банально…

— Ну?.. — это междометие у Веры выражало, в зависимости от контекста, либо нетерпение, либо полное безразличие, либо намек, что продолжение мысли все равно не изменит трагизма ситуации, и нет смысла

дальше говорить. По ее взгляду я понимала, что здесь «ну» иллюстрирует именно последний случай, но все же продолжила:

— Тогда... если не по почте, то надо где-то оставить, чтобы он забрал…

— Ну? (В междометии проскользнул прогресс — полное безразличие).

— А если оставить сверток в кафе?! — Я произнесла это так, будто меня озарила гениальная идея.

— Ну? (гласная поднялась на градус нетерпения) — Он придет туда забирать, полюбопытствует у официанта, кто принес, тот меня чудесненько опишет! И все провалится!

Прозвучало это больше как вопрос, а не утверждение. Теперь дело за малым — найти убедительные аргументы, эффектное место и надежного связного, иначе снова — валиум, разговоры под ее всхлипы на всю ночь, а у меня с утра деловая встреча...

В адресной книжке я довольно скоро нашла подходящий вариант: Гастон Фертье — актер-любитель. Он играл в моем первом фильме роль психоаналитика, сам — исключительно чувствительная натура и, к тому же, не лишен безобидного авантюризма. Хотя, по правде, этот авантюризм в настойчивости застолбить свою кандидатуру в фильм, на съемочной площадке не выглядел столь безобидным: стоило мне скомандовать «аксьон!», как у Гастона начисто пропадало все записанное в сценарии красноречие. И я тихо радовалась только одному: кинопрогрессу, который создал для глупейших 36 дублей замечательную, почти бесплатную цифровую технологию записи... Себе на жизнь Гастон, к его чести сказать, зарабатывал не актерством, а коммерцией. Весь 20-й округ Парижа знает его милый магазинчик с элитными сортами чая и кофе, где еще его отцу удалось создать «винтажную атмосферу»: огромная машина для жарки зерен с порога погружает посетителя в очарование незыблемости традиций. Аромат, классическая музыка, репродукции картин, намекающие на тонкий вкус уже нынешнего хозяина, плюс его немного сознательно демоническая внешность и нарочито куртуазные манеры…

Идеальный вариант. Гастон не только передаст сверток, но и опишет Незнакомку так, что не только Оливье, сама Вера в ней себя не узнает.

25 апреля.

Гастон, как никто другой, любил и умел напустить таинственного туману в самые обыденные и незначащие события. Даже на традиционный, предполагающий равнодушный ответ, вопрос «как дела?» — он с таинственной полуулыбкой оглядывал меня с ног до головы, выужи-

вал беглым глазом какую-нибудь совершенно незаметную деталь кроя или дизайн аксессуара, затем, обойдя весь свой длинный прилавок, брал в руки объект внимания и глубокомысленно произносил что-то вроде: «неплохо...» На этот раз Гастона, только что вернувшегося с очередной пассией из поездки в Россию, мы застали в образе «кочующего черкеса». Обычно эстетствующий, он нарочно, для эпатажа, нарядился в старые свитер и джинсы, а на голову нацепил кепку в стиле «аэродром». В глазах, под напускной флегматичностью, прятался характерный блеск, вспыхивающий при малейшем луче авантюры.

Выудив из Веры все подробности, на случай, если Оливье станет любопытствовать, Гастон спрятал драгоценный сверток в недра прилавка и заверил в немедленном информировании, как только «клиент» покажется на горизонте.

Разговор постоянно прерывался на обслуживание ценителей элитного кофе. Жители квартала даже не подозревали, какая история затевается в их любимой кофейне — они сгребали в охапку душистые пакеты, практически не обращая внимания на нервно озирающуюся Веру: ей уже во всяком силуэте чудился Оливье в поиске заветного подарка. В конце концов, Гастон, понимая всю абсурдность ее страха, но с уважением к ее надеждам, вывел нас через черный ход.

Дома Вера принялась ждать немедленного результата: разбила любимую фарфоровую чашку, прозевала готовящийся по-турецки кофе и, что самое страшное, едва не опрокинула на кафельный пол установленный рядом с плитой ноутбук. Позвонила, предательски запинаясь словами, Оливье, будто бы уточнить какую-то деталь для его сайта, который она на всякий случай, как до разрыва, «делала вид, что делает», чтобы иметь запасное оправдание для рандеву. Звонок ее немного успокоил: теперь она знала — Оливье еще на деловой встрече, которая продлится, по ее предположениям и хорошему знанию планинга «объекта», минимум до 9 вечера. Это значит, что сегодня он в кофейню уже не успеет. Удовлетворенная определенностью на ближайшие сутки, она уже более эффективно продолжила «быт» засолкой лосося.

30 апреля.

Четыре дня прошло с ноутбуком, следующим за Верой во все уголки полезной жилплощади, но Гастон по-прежнему не подавал признаков личного общения с Оливье. За это время у моей подруги закончился месячный запас валиума, прошел второй сеанс у нового психоаналитика и в нервном психозе после него куплено дорогущее, но очень эффектное платье «на случай, если вдруг». Случай я ей предложила совсем другой, но, на мой взгляд, не хуже — посетить Комеди Франсэз — отвлечься от состояния ожидания. Вера, вроде бы согласилась. Мне даже удалось

вытащить для компании моего хорошего друга Венсана, вечно мотающегося по миру в силу пресс-служебной обязанности сопровождать везде и всюду премьер-министра, и вдруг сегодня оказавшегося в Париже с забытым и растерянным ощущением «свободного дня». Перед спектаклем я решила зайти за Верой, опасаясь сюрпризов, но почти успокоилась, встретив ее в дверях при полном параде и с мусорным пакетом в руках. Со счастливой улыбкой она выпорхнула на улицу, бросив на бегу: «я скоро вернусь!» Эта улыбка могла означать только то, что сразу после мусорки она идет на соседнюю улицу, где находится «контора» Оливье.

Решив, что их свидание каким-то неожиданным чудом согласовано, а может и все у них снова наладилось, я спокойно устроилась перед телевизором. Оставленный включенным, скверно дублированный полицейский сериал привлекал только «лингвистикой», к тому же в вечном бардаке я даже не пыталась искать пульт. Не знаю, сколько прошло времени — все еще продолжалась изнурительная и несовместимая с реальной жизнью погоня за наркоторговцем — когда коротко, в доверчивом полуобороте звякнули ключи, входная дверь грохнулась о стену, сминая в кучу демисезонные сапоги, весенние туфли, брошенные после вечеринки босоножки и беговые кроссовки. Молчание.

— Вера! Ну как? — я поняла всю глупость вопроса слишком поздно: вместо ответа из коридора в угол комнаты полетела вечерняя сумочка.

— Он что, сказал опять какую-то гадость? — Я удачно увернулась от сумки и пыталась придать тону повседневность. В ответ — всхлип. Вера появилась в дверях, рыдая в обе ладони.

— Да что случилось? — Я уже начала всерьез волноваться — до приезда такси по маршруту «15 округ — Комеди Франсэз» оставалось всего четверть часа. Вера сползла по косяку.

— Да что он тебе сказал??

— Ничего-о-о-о… — прорыдала Вера и мазохистски размазала по лицу тушь.

— Он отказался с тобой разговаривать?

— Да его вообще там не было! Контора закрыта-аа-аааа!!!

— А ты смотрела, может, он записку тебе оставил, может у него срочная встреча? У него же сейчас, ты ж сама говорила, уволенный сотрудник процесс затеял, может, что неотложное!

— Какая записка?? Он же не знал, что я приду!!

В другой ситуации я бы рассмеялась всей анекдотичности сцены. Но не в этот вечер: зная Веру, я понимала, что успокоить ее простой логикой: человека нет на месте, потому что он был в счастливом неведении твоего визита — невозможно за отведенные мне минуты до приезда такси! В этот срыв, практически на пустом месте, она собрала все: и многолетние капризы Оливье, и свои изощрения разбудить в нем настоящие чувства, и полное погружение в рискованную затею с мистификацией

на сайте знакомств, и недельное ожидание его приезда в кофейню за подарком, и страх, что он потерял к Черубине интерес, а значит и провал на возможность вернуть его через дебри девственной аргументации: «я та, которую ты бросил в жизни, но та, в которую ты влюбился в Интернете».

Я молча бродила по квартире, ища какой-нибудь новый, «незаезженный» предлог ее успокоить. А Вера следовала за мной, шаг в шаг по 30 квадратным метрам в бессмысленной траектории, бормоча все, в кучу собранные, свои разочарования, обвиняя себя в долготерпении, Оливье в близорукости, его семью в «трусливой политкорректности», а меня, разумеется, в безучастности ко всему перечисленному. Макияж был безнадежно размазан по щекам, рукам и черным колготкам, нервно стянуты кольца, шмякнуто в шкатулку жемчужное колье. Вера попросила меня извиниться перед друзьями за отсутствие на спектакле…

Казалось, вечер был обречен, но тут, словно в недосмотренном мной дешевом сериале, раздался телефонный звонок. Она замерла на полувсхлипе и, похоже, так и оставалась, не дыша, все время, пока мы обменивались с господином Гастоном Фертье никчемными, но такими незыблемыми для французов фразами «как дела?» — которые он, понимая телефонную невидимость его таинственного молчания, с неспешным удовольствием трансформировал в более традиционные вербальные формы.

***

«О, Черубина, как Вы прекрасны! Как же благосклонна ко мне судьба, подарившая это знакомство! Я не решался открыть Ваш подарок. Я боялся его повредить… Потом все же набрался смелости…»

Вера упивалась преступным чтением мейла Оливье прямо со смартфона. Недавние нервные намерения манкировать «Комическую иллюзию» Корнеля, всхлипы, подвывы на конце фраз, срывания жемчужного колье, обвинения всех во всём, и меня в первую очередь, — все страсти классического театра высохли, испарились, выцвели на свежеотретушированных щеках. После спасительного звонка Гастона, где он во всех возможных подробностях описал долгожданный визит Оливье в «Кофейню», я успела запихнуть Веру в такси, и всю дорогу к театру, разложив на заднем сиденье косметичку, словно ассистент хирурга, подавала ей то кисточку, то тушь, то карандаш. От светофора к светофору, она чертила на своем лице ровные, уверенные линии, навсегда отсекая ими только что пережитое.

Мы влетели в бельэтаж на секундной световой грани приличия, когда зал уже погружался в торжественную темноту. Некоторое время ничто,

казалось, не нарушало внимания Веры к происходящему на сцене. Я понимала, что моя подруга еще более далека от актеров, чем это предполагалось нашими не самыми приоритетными местами последних рядов. Когда же на сцене классическое триединство стало подбираться к кульминации борьбы между любовью и долгом, декольте соседствующей с Верой француженки вдруг гневно всколыхнуло на ее груди крупные стразы, в гранях которых нагло блеснул светящийся открытым мейлом экран вериного смартфона: во Франции во время спектакля не принято даже прикасаться к телефону! А тут — о, ужас! — в блестящем золотом и легендами зале Ришелье… в «Доме Мольера»!.. Дама выпустила сквозь презрительно сомкнутые губы тот характерный звук, которым французы выражают крайнее недовольство ситуацией. Молоденькая капельдинерша, словно утка на зов хитрого охотника, чутко встрепенулась, услужливо вытянулась в сторону подозрительного ряда. Вера почти с головой закопалась в сумочку, но и там продолжала смаковать восторги Оливье:

«...в нем я нашел ту тонкость Вашего ума, которую я имел уже счастье немного познать… Пьянящий аромат Ваших духов мне, напротив, доселе был неведом! Бесконечно благодарю Вас за восхитительный подарок! Бесконечно признателен Вам за этот дар. Я касаюсь перьев вашего веера. Глажу вашу кружевную перчатку. Вдыхаю Ваш аромат… я дышу Вами… (Оливье почти попадал в такт Корнелю), *...я обнимаю Вас так нежно, насколько мне позволит Ваша благосклонность, и прикасаюсь к Вашей щеке в целомудренном поцелуе. Ваш Прекрасный Принц».*

Занавес. Овации.

Выйдя из зала, Вера терпеливо ждала, когда последний обладатель мыльницы удовлетворит свое тщеславие на фоне бюста Мольера, и потом, положив руку на холодный мрамор плеча реформатора сцены, по давней театральной легенде сулящее счастье каждому прикоснувшемуся, долго всматривалась в его каменный парик. Если бы в этот момент кто-то спросил ее, что она видит, то верно, немало бы удивился ответу…

Продолжение в следующем номере

Алёна Асенчик
(Беларусь, Гомель)

Родилась в г. Витебске. С семилетнего возраста живу в Гомеле. С этого возраста пишу и стихи. Закончила филологический факультет Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, несколько лет работала учителем в школах Гомеля и Минска, сейчас преподаю на Кафедре русского, общего и славянского языкознания в родном университете. Стихи печатались в газетах, журналах («Нёман», «Маладосць», «Контр@банда»), альманахах («Литературная Брянщина», «Междуречье», сетевом альманахе «45-я параллель»), коллективных сборниках «Сила символа», «Вершы паэтау Гомельшчыны», «Я молодой», «Многие точия».

Являюсь членом редколлегии сетевого журнала «Буквица» (http://bukvitsa.com/). Вошла в шорт-лист международного литературного фестиваля «Русский стиль — 2008» в Штутгарте, в шорт-лист международного фестиваля «Славянские традиции — 2013». В 2013 году участвовала в Кубке мира по русской поэзии, стихотворение «Перемена» было отмечено председателем оргкомитета Евгением Орловым и вошло в сборник «Плюс шестнадцать» (http://issuu.com/89964/docs/_16_stihi.lv.docx_06a00a99737992/5).

Холода

Холода

Вместо кофе выпью самообман:
да, я выспалась — бодра, весела!
...А за окнами туман да туман.
Время вязнет в нём, гребёт вполвесла...
Игнорируя устойчивость стен,
проникает беззастенчиво — за...
Пусть мурлычет о любви Джо Дассен,
если близкий о любви — не сказал...
Не грусти, что всё один да один;
не жужжи над ухом, словно оса:
не до лампы мне пока, Алладин!
И до лампочки — твои чудеса...
Я сама руками тучи могу
разводить, не дожидаясь стихий...
А бывает — на лету? на бегу? —
сочиняются, как случай, стихи.
И становится как будто тесней
в старых рамках, и тесней — навсегда...

(это, в общем-то, стихи о весне,
до которой — холода, холода...)

Ты сочинишь...

...и вот однажды ты решаешь — хватит…
Юлия Драбкина

...и вот однажды, чувствуя: не нужен
твой бред словесный и напев лиричный,
ты вылезаешь — из калоши, лужи,
ты запираешь честным словом душу
и варишь крепкий кофе по привычке.
И долго им пытаешься согреться
(как будто можно внутреннее — внешним)...
О запертую душу бьётся сердце,
но ты умеешь рогом упереться,
не уступая слабостям сердешным.
И в час, когда с церковных колоколен
взлетают в небо ангелы и птицы,
и каждый звук — пронзительно бемолен,
и каждый сон — рассветом обездолен,
и, падая — нельзя остановиться,
ты сочинишь распахнутые окна,
перешагнёшь запретную границу...
Душа взметнётся, обречённо охнув,
мелькнёт стены обветренная охра,
и Бог черкнёт в блокнотике: «Не птица…»

Остановка

От взрыва в московском метро в марте 2010 года
погибло 40 человек...

И хлопнет метро в ладони своих дверей,
как фокусник перед началом манипуляций...
С утра подгоняет время: скорей, скорей,
а мы — почти не умеем сопротивляться.
У нас судьба расписана по часам,
по нашим, взрослым: планам, обедам, играм;
и каждый верит, что всё выбирает сам,
и каждого Бог уже для чего-то выбрал...
Бегут минуты: время не спит, устав —
и днём, и ночью, бедное, тянет лямку,
и молча смотрит, как трогается состав,
к восьми часам назначенный на «Лубянку».
Мелькнут — чей-то локон, чей-то овал лица,
поверхностный взгляд, убегающий — не всмотреться...

«Осторожно! Двери закрываются!
Следующая — остановка сердца...»

Однажды

Однажды Бог завёл себе этот блог,
назвал его «Жизнь земная», украсил даже.
На верхний пост приладил большой замок —
от посягательств собственных персонажей.
Во всех историях каждому выдал роль:
здесь ищут клады и приручают дали,
а смельчаки угадывают пароль
от блога, но ни разу не угадали.
Он, может, и ладно скроен, да криво сшит,
наш мир — «наполовину пустая чаша»,
где каждый сначала искренне согрешит,
потом не менее искренне «отченашит».
Как гиперссылки, чувствуя лёгкий клик,
идём по следу нам присуждённой роли,
а Бог искусно монтирует каждый клип
в один большой и многосюжетный ролик.
Стирая налёт безумий и суеты,
за чашкой ночного кофе со звёздным млеком,
Создатель ищет в людях свои черты...

А люди ждут пришествия Человека...

Перемена

Сейчас он поставит чайник, заварит чай,
добавит корицей пахнущего бальзама...
Нескромный взгляд, объятия при свечах:
такая вполне «заигранная» программа,
но в день рожденья — всё, что угодно ей:
пусть даже эта обычность всегда угодна…
Да что застыл-то: и не зажёг свечей,
и чайник так и оставил стоять холодным?!
Стареет, наверно: от старости средства нет.
Вздохнул, тревожно взгляд задержав на стенах...
Ну что за мода — ленточку на портрет?!
И вдруг так горько вспомнил о переменах...
Метнулся к двери (чтоб не услышал кто!
не шаркнуть тапкой, не загреметь замками!),
пытаясь попадать в рукава пальто,
ещё по привычке думая, что руками...

Маленьким тёплым плюсом

Передним рядам легко предпочла галёрку.
Но дальнее стало ближним: не отвертеться...
Судьбу вращают времени шестерёнки.
А я купила себе шоколад «Алёнка»:
гурманский способ типичного самоедства.
Мол, что уж теперь?! Молчу без оглядки: вызов
моей натуре, всей из себя вербальной...
Меня подразнив, помучив, лимоном выжав,
слова опять в никуда навострили лыжи:
меня штормит на «десять» по пятибалльной.
Программа сбилась с курса? Схватила вирус,
поскольку незнакомый, то не искомый?
Прошу Тебя, помоги, пока он не вырос,
пока не вверг мой мир в состоянье «минус»,
пока его иконок сильней Икона!
Я в каждом файле бешено жму на поиск,
бегут по клавишам пальцы в упрямом танце...
Скажи мне: если жизнь — идущий поезд,
пейзаж вокруг не так уж и важен? То есть,
всё дело — лишь в числе и ранжире станций?
Я зарастаю прошлым, как воды тиной...
Ты лепишь мне подсказки на стену скотчем,
включаешь звёзды, ветром толкаешь в спину,
пока я лишь мазком — на твою картину,
и образ мой неярок и незакончен...
Пока я слов не меньше хочу, чем хлеба,
пока мой вирус — силой Твоею сплюснут,
пока я чуду верю, по-детски, слепо,
пока мой поезд на многих из станций не был,
и крестик на шее — маленьким тёплым плюсом...

© Художник Елена Любович

Ольга Туханина
(Россия, Новосибирск)

Родилась в СССР в 1968 году. Пошла в педагогический по призванию и желанию (быть может, одна из всего потока). С удовольствием работала в школе до тех пор, пока собственные дети не потребовали матери в доме. С тех пор сижу на хозяйстве и думаю о судьбах мира. Жила в г. Рошале Московской области (самое дальнее Подмосковье, какое вы можете себе представить). Сейчас вернулась в родной город — Новосибирск. Обычный человек, никаких достижений.

Почему я ненавижу карликовых пинчеров

На свете существует целая куча отвратительных животных. Не буду говорить, что люди входят в их число — это мелко и плоско.

Но есть пыльные росомахи, которые жарко мечутся из стороны в сторону по своим клеткам в зоопарках, точно меховые маятники.

Есть сколопендры и мокрицы.

Стервятники.

И надо же: ко всем этим тварям я гулко равнодушна. При взгляде на них, у меня под солнечным сплетением появляется чайная ложка пустоты... И, пожалуй, всё. Одни лишь карликовые пинчеры вызывают в моей душе ненависть, сравнимую по силе с напряжением сухого кипятильника — эта ненависть цвета свежей ангины.

Мой дедушка умер от рака горла. Он был сильным человеком и сопротивлялся долго. Может быть, слишком долго. Он полтора года пролежал на своей кровати в дальней комнате и таял на мятых простынях, как шмат масла на раскаленной сковородке. Перед самой смертью в нем было килограммов сорок, едва ли больше. Его ноги обратились в ничто, и казалось, что синие тренировочные штаны просто лежат на узкой постели, стягивая резинкой обрубок тела. Поэтому ступни дедушки всегда были внезапны и зрительно слишком велики. Дряблая кожа со щетиной болталась на его кадыке, как мокрая тряпка на швабре.

Мне тогда не исполнилось еще и двенадцати. В этом возрасте мир вращается медленно, предметы вечны, а все обстоятельства жизни принимаются без вопросов, как данность. Но уже в то время, наверное, я не смогла бы вспомнить, каким человеком дедушка был до болезни. Потом-то мне рассказывали и о нем, и о нас с ним, и я постепенно стала воспринимать чужую память, как свою собственную, хотя отлично знаю, что это всего лишь суррогат, конфетки для диабетиков с ксилитом.

По утрам дедушка шумно кашлял и харкал волокнами слизи в маленькую баночку из-под майонеза — я до сих пор чувствую отвратительный запах, от нее исходивший.

Дед требовал папиросу, ему не давали, а я под эти визгливо-хриплые препирательства собирала портфель. Это была обычная жизнь, и я относилась к ней спокойно. В конце концов, есть дедушки пьющие, есть впавшие в маразм, отсидевшие (в жирных синих наколках), занудные, знаменитые... Мой умирал от рака, и я думала, что так было всегда, и будет до скончания веков.

Иногда я заходила к нему в комнату.

— Вот, — говорил дедушка с присвистом, — загибаюсь.

— Да ладно тебе, — говорила я тусклым голосом. — Еще сто лет проживешь.

— А оно мне надо? — говорил дедушка и смеялся (особенно жутко было, когда он смеялся). — Дай-ка мне папиросу...

Я знала, где мать прячет пепельницу и табак. Дедушка делал пару жадных затяжек, беспомощно хватал губами воздух и снова кашлял, кашлял до тошноты. Я любила его, но маленькой и аккуратной любовью — размером с таблетку нитроглицерина.

Всё это было так. Но когда смерть дедушки, наконец, состоялась, и наша квартира вдруг наполнилась мрачными незнакомыми людьми, снующими из комнаты в комнату, набилась под завязку родственниками с припухшими глазами, запахом корвалола и валерьянки — я была по-настоящему ошеломлена. У меня в семье еще никто не умирал. И дедушка, в моем представлении, должен был мучиться от рака вечно. Или до тех пор, пока я не вырасту и не придумаю чего-нибудь гениально-лечебное. Или пока кто-нибудь не придумает лекарства «три-четыре»: принимаешь такое лекарство и — три-четыре! — здоров. Во всяком случае, дедушка не имел никакого права обращаться в труп вот так вот обыденно, без трубного гласа с небес и фанфар. Он являлся частью моей персональной вселенной, и умереть для него значило украсть часть чужой территории. Земли, которая ему не принадлежала.

Я путалась у всех под ногами, я мешала. Покойник пугал меня и притягивал. Я — то и дело, будто случайно, пыталась заглянуть туда, где обряжали труп. Тогда мать довольно грубо выставила меня из квартиры.

— Куда же мне идти? — спросила я с обидой.

— Не знаю, — сказала она ворчливо и добавила крамольную фразу, — Иди на улицу, поиграй.

Что она говорит, как я могла играть в такой день?!

Но я пошла.

Возле нашего порога уже появилась крышка гроба — франтоватая, с кокетливыми бантиками по краям. Я провела по ней пальцем и ощутила сучковатость дерева под материей.

На улице я села на скамейку и просто сидела на ней, нахохлившись. А что было делать? Цепочкой ритуала я еще не прониклась.

Минут через двадцать рядом со мной опустился Иван Валерьевич, наш сосед снизу. Он всегда мне нравился — толстый пенсионер в белой дырчатой шляпе, веселый и приветливый.

— Ну-с, княгиня Ольга, когда будем жечь древлян? — говорил он мне, когда мы встречались в подъезде. Фраза была шутливой, но взрослой, и я радовалась, что понимаю шутку, знаю, кто такие древляне, и как с ними обошлась моя суровая тезка.

— Я не княгиня, — отвечала я глупо.

Сосед серьезно кивал.

— Слава Богу. Ни к чему нам князья. Идиотов у нас и так хватает.

Он дергал за поводок, и карликовый пинчер по кличке Сквозняк, перестав обнюхивать мои лодыжки, плелся на своих соломенных лапках за хозяином.

Да, мне нравился сосед, и нравилась его собака. Она выглядела беззащитно: с лупоглазыми глазами, с вечным тремором, с обреченной какой-то агрессивностью.

Но в день смерти дедушки я никого не хотела видеть. Кажется, сосед это сразу понял, однако не смутился и от меня не отстал.

— Слышал, у тебя дед умер? — спросил он прямо.

— Утром, — сказала я.

— Хороший был человек.

— Да, — сказала я. — Вы его не знали.

— Примета есть народная. По воскресеньям умирают хорошие люди.

— А по понедельникам дерьмо всякое?

— Не стоит грубить, — Иван Валерьевич был миролюбив. Он привычно подергивал поводок со Сквозняком на конце и не смотрел в мою сторону.

— А что стоит? — дерзость внезапно заклокотала во мне и спешно пыталась найти выход. — Что стоит-то?! Почему мы все должны умирать? Зачем тогда рождаться вообще?!

Сосед цокнул языком.

— Ты знаешь, — сказал он, — вообще-то смерти нет.

— Да? Я в Бога не верю.

— Бог тут ни при чем. А то, что смерти нет, я заявляю тебе со стопроцентной достоверностью, — он перешел на таинственный шепот. — Дело в том, что я сам давно умер. Уже как двадцать восемь лет.

— Ага. Призрак, — смех булькнул во мне, мешаясь со слезами.

— Если тебе угодно. Хотя, конечно, сквозь стену я пройти не смогу. Мертвецы более материальны, чем принято считать. Хочешь верь, хочешь не верь.

Само собой, я ему не верила. Просто в то сентябрьское воскресенье абсурдная гипотеза о мертвых, существующих рядом с живыми, развлекла меня. И — отвлекла.

По словам Ивана Валерьевича, после смерти человек сразу попадает обратно на Землю, только в другую страну, подальше от своего дома, родных и знакомых. Он выглядит так же, как и при жизни, он может общаться с живыми, читать газеты и смотреть телевизор. Он понимает любые языки, а налоговые службы и организации, занятые переписью населения и контролем над людьми, попросту его не замечают. Мертвец может занять любую пустую квартиру или дом и находиться там до тех пор, пока жилье не понадобится хозяевам. Многие поэтому селятся в брошенных деревушках — там тихо. Но вот чего покойники не могут, так это вмешиваться в происходящее. Они лишь наблюдатели. Они присутствуют, но не являются.

— Это достаточно сложно, — сказал Иван Валерьевич в конце рассказа. — Я и сам не все хорошо понимаю.

— Пусть так, — согласилась я. — Но почему же тогда мертвые не сообщают ничего своим родным? Так, мол, и так, я теперь болтаюсь по Аргентине, у нас страшная жара, не скучайте...

— Во-первых, иногда сообщают. Только бессмысленно это. Никому оно не нужно. Мертвые для живых — лишняя обуза. Ну, а во-вторых, нам это запрещено. За это нас уничтожают, окончательно и бесповоротно. Выковыривают из мира, как соплю из носа. Ра-а-аз! И ты уже вакуум.

— Кто выковыривает?

— Какая разница.

— А как они узнают?

Иван Валерьевич глазами показал на свою собачку.

— У них есть соглядатаи, — прошептал он. — Мы под надзором.

— Зачем же вы мне все это сказали? Ведь теперь и вас могут это самое... выковырнуть.

Сосед пожал плечами.

— Мертвым быть неплохо. Ничего не болит, ни в чем не нуждаешься. Только мы скучаем, княгиня. И, что самое ужасное, скука эта — бесконечна.

Он встал и направился к подъезду.

Потом были похороны, и девять дней, и сорок. Жизнь, в сентябре вильнув толстым задом, опять вошла в колею, и я катилась по своим рельсам, и постукивала на стыках суток.

Про нашего соседа снизу я вспомнила только через полгода. За все это время я не видела его ни разу, а ведь раньше встречала едва ли не каждый день.

— А что, — спросила я у матери, — Иван Валерьевич переехал?

— Какой Иван Валерьевич?

— Сосед снизу.

— Понятия не имею.

Дальше я ничего не стала выяснять. Да и кем он был мне? Ни другом, ни наперсником, ни дедушкой. Неплохой сосед снизу, который никогда не стучал шваброй в потолок, если я ненароком роняла пару табуреток.

И теперь, в свои тридцать шесть, я сомневаюсь даже в самом его существовании. Должно быть, моя иррациональная ненависть к симпатичным, в общем-то, собачкам, требовала причины, и память услужливо подсунула фантом Ивана Валерьевича, поместив его в одну из болевых точек биографии — для достоверности. Может, и был какой-нибудь сосед с дежурной шуткой о княгине, и была соседка с пучеглазым псинкой, норовившим тяпнуть меня за пятку... Не знаю.

Но если я встречу на дороге карликового пинчера, одного, без хозяина, я всажу ему шпильку под ребра.

Хотя вру, конечно. Не всажу. Но обязательно представлю, как я это делаю.

© Художник Елена Любович

Ирина Ремизова
(Молдова, Кишинёв)

Родилась и живёт в Кишинёве. Закончила филологический факультет Молдавского государственного университета, где ныне работает на кафедре русской филологии преподавателем русской литературы XVIII—XIX веков и теории литературы, включая стиховедение. Автор книг «Серебряное зеркало», «Прикосновения», «Неловкий ангел».

Ходики с кошачьей головой

Ходики с кошачьей головой

«Здесь когда-то мы произойдём».

В комнатах прохладно и бело —
пахнет вишнецветьем и дождём
спящее в чулане помело.
Вещи разошлись по адресам:
гардероб, комод, бюро, буфет —
будто кто-то всё прибрал, а сам
из дому отправился чуть свет
на вокзал садовый, различив
поезда цикадового звук
за базарным воробьиным «чив»
и туманом, сбившимся вокруг.

Тёплый день толкушками размят
и оставлен стынуть на окне…
Комнаты крахмальные стоят
по колено в чистой тишине,
а вверху, в светёлке угловой,
мерно ворошат календари
ходики с кошачьей головой
и неспешным осликом внутри.

Загоняя стеблем конопли
тень свою на солнечный лоскут,
мимохожий скажет: «Все ушли».

Просто он не знает: здесь нас ждут.

Милая бабинька

Милая бабинька, это я.

Финским ножом по треске солёной пишется весело — чешуя светится, щёлкая удивленно. И угораздило же — пропасть, не перемолвившись даже словом... Помню, метель разевала пасть, снежную сплёвывая полову, ветер хватался за молоток, в дверь колотил, угрожал бедламом... Кто-то меня завернул в платок, и показалось, что это мама. Молча, высокая, обняла — щёки кололись о платье в звёздах. Не было в ней твоего тепла — только покой, тишина и воздух.

Бабинька, знаешь, наш дом видать в посеребрённый бинокль нагрудный. Здесь хорошо ничего не ждать, только дышать с непривычки трудно. Слышно, как лемминги к сундукам гномьим идут из подснежной кельи... Мне бы прижаться к твоим рукам, пахнущим кухней и рукодельем, внюхаться в розовые кусты до перестукиваний височных...

Бабинька, здесь не растут цветы. Здесь и земли не бывает, впрочем.

Люди соврали — она не зла и не ворует детей окрестных, просто огромные зеркала застят ей солнечный свет небесный. Я у неё погощу чуть-чуть: льдинка — и сложится слово ВЕЧНОСТЬ. Жаль, позабылся обратный путь, ну да спрошу у кого из встречных.

Вот и приходит письмо к хвосту, кстати, и нож заскучал по ножнам.

Бабинька, милая, я приду — только прости меня, если можно.

P.S.

Герде скажи, что живу теперь в славном Слагельсе — удачный случай! Стал подмастерьем из подмастерьев у сапожника, самым лучшим. Не предаюсь никогда нытью, хоть и бывает мне не до смеха. Выучусь — туфельки ей сошью, бархатные, а скорей, из меха.

Горячий чай

звякает кочерга,
бродит в печной золе...
а над землёй — снега
выше, чем на земле.
как самоцветный клад,
взятый с морского дна,
светится мармелад
в сладкой горсти зерна,
в кипенных блондах пен
дремлет, вздыхая, взвар —
из-за небесных стен
тянется тёплый пар.
ходит в потёмках Бог
со слюдяной звездой —
носит падуб и мох,
радостный, молодой.
чашечный перезвон,
запросто, без затей:
чай, молоко, лимон —
в доме, где нет гостей,
здесь их не ждут — и ждут,
сами боясь того:
только на пять минут,
только на Рождество,
только взглянуть — тайком,
будто никто не звал...

просто у них есть дом,
прежде же — был привал.
не доберешься вскачь,
не передашь письма...

...чай до того горяч,
что запотела тьма,
так, что не видно глаз
в праздничной пряной мгле
путников, что сейчас
странствуют по земле.

Век идёт

алеманн ли, эллин или влах —
слов не разобрать в шмелином гуде.
в скатертных миткалевых узлах
накрепко завязанные люди
будто и не слышат: за стеной
скручивая время в рог бараний,
век идёт — то редкий, то сплошной,
пятками по крышам барабаня.

нет ему начала и конца,
просто каждый, глядя из окошка,
из его огромного лица
видит что-то —
вскользь и понарошку,
подбирает имя и число:
медный глаз, пятнадцатое веко —
а потом вздыхает: «всё прошло»,
и вдогонку:
«ночь, фонарь, аптека...»

век идёт и тает на лету,
обнимая тёплые скудели,
потому что жить невмоготу
в календарном гусеничном теле,
собственных не чувствуя краёв,
ни кнута не ведая, ни ига,
но, по воле умных муравьёв,
будучи расчисленным до мига.

но, когда развяжется миткаль,
пленника из горсти выпуская,
встанет перед ним такая даль,
высота обрушится такая,
что, неловко прошагав квартал,
прежнего быстрей и легче втрое,
он поймёт, что век не перестал,
встанет под него —
и зонт закроет.

На большой земле

Разделённый ангелом и бесом
пополам, а чаще наугад,
вот и стал непроходимым лесом
некогда любимый вертоград —
бабочки надеты на булавки…
Только и осталось, что весной
обходить по очереди лавки
в поисках единственной, одной:
где-то там, среди растений прочих
притаившись в дальнем уголке,
продаётся аленький цветочек,
выросший в пластмассовом горшке.

Он стоит, не узнан остальными,
и глядит рассеянно в окно.
У него затейливое имя —
но не настоящее оно.
Листья — настороженные ушки,
лепестки — ажурное шитво…
Он меня узнает, потому что
я ему скажу, как звать его.
Унесу, укачивая шагом,
тихим непоспешливым пешком,
с головой завёрнутый в бумагу,
не вазон, а остров с маяком.

Звёзды спят на корабельном днище,
темнота вздыхает под веслом…
Помнишь? Там земля, где нас не ищут,
но тоскуют, как о небылом.

Про льны

за весной, в траву одетой,
наскакавшись по пятам,
молодой кузнечик лета
смотрит в горницу, а там
из непряденой обновы
когтем дёргает судьбу
семишерстный зверь котовый
с белой звёздочкой во лбу.
не расспросишь —
не расскажет,
фыркнет: кыш, покуда жив!..

в небе дремлет волк лебяжий,
морду в лапы уложив,
и не слышит шума снизу:
заглушили облака
потатуйкины капризы,
трясогузьи вокализы
и осиных гнёзд сервизы,
дребезжащие слегка…

от суседки, вредной сватьи,
в жаборинье прячет сом
драгоценное лататье,
завалив гнилым овсом:
пусть кикиморе не спится
в тишине лягвейных вод —
молодая водяница
одолень-траву сорвёт,
запроказит по озёрам,
заведёт кордебалет….
знать, и ей за прялку скоро —
пусть попляшет напослед…

в доме солнечно и звонко —
зайца солнечного топ
не даёт уснуть котёнку
мельтешением синкоп.
подрастают льны на поле —
ни цветка шального нет.
и непряденая доля —
всё ещё земля и свет.

Нимфа

Нимфой назвали — дурачась и невпопад,
а оказалось — напели дурной дудой.
Есть у Офелии свой королевский сад —
жаль, не растёт розмарин под морской водой.
Впрочем, у здешних цветов не букетный нрав,
из голубых ноктилюк не сплетёшь венка.
Райские рыбки чирикают в кронах трав —
дразнят брюхатым задумчивого конька.
Жить под водой всё равно, что летать во сне —
даже не верится, что наверху земля.
Тихо томится в ракушечной западне
каменный мальчик с повадками короля.
Высунешься из окна, обманув сестёр,
в лунную ночь — а потом упадёшь в кровать:
над головой, словно облако, Эльсинор…
как там сегодня его по-норвежски звать?
Всё хорошо: прошивают насквозь дожди
три лоскута, не жалея босых ступней.
Мраморный мальчик во сне говорит: «приди» —
только ходить ей всё медленней и больней.

Элли и Кот

В синем кувшине
остыл компот,
страшный забыт чердак…
Элли теперь не одна —
с ней кот,
встреченный просто так:
кот не чеширский
и без сапог,
с миром накоротке,
просто сидит,
подставляя бок
солнышку — и руке,
щурит внимательные глаза,
слыша шмеля в траве…

Элли смеётся, впервые за
целые жизни две,
за небольшое своё житьё
(тысяча лет до ста).
Элли понятно,
что кот — её
и что она — кота.

Но, подбирая слова с трудом,
словно бросаясь в бой,
ей говорят:
«У кота есть дом,
он не пойдёт с тобой.
Элли, пойми — и навек усвой,
дабы избечь невзгод:
каждой душе
предназначен свой
хлеб, государь и кот».

…А у кота над бровями — знак,
тёмная буква «М».

Элли молчит и не помнит, как
жить без кота — совсем.

Конь муругий

о ком печалишься, родня?
о чём молчите, други?
ужель о том, что без меня
вернулся конь муругий?
на тризну собрались, небось,
на сумрачной полянке?
а вот он я, нежданный гость
и повод вашей пьянки.

жена, умерь-ка печки пыл —
смотри, коль интересно,
какую душу я купил
на рынке старомостном:
она лучится на свету,
как снежная водица,
и сторговал мне душу ту
проезжий хмурый рыцарь —
а после ускакал во тьму,
в трактире выпив лишку.
я щедро заплатил ему
кошачьим золотишком.

как пахнет небом свежевьё!
где крючья, пастушонок?
сейчас разделаем её
на дюжину душонок —
расправим бременем невзгод
натруженные плечи,
и будет гномий наш народ
почти как человечий,
и вместо жалкого глотка
задышит полной грудью…
а что душа невелика —
так ведь и мы не люди.
ого, какие калачи
дымятся на подносе!

…скачи, неведомый, скачи,
покуда конь выносит.

Вячеслав Долинин
(Россия, Санкт-Петербург)

По образованию инженер-экономист. Родился в Ленинграде. С 1960-х занимался распространением запрещённой литературы, участвовал в подпольных кружках и семинарах, печатался в самиздате. Был соредактором нелегального Информационного бюллетеня Свободного межпрофессионального объединения трудящихся. В 1982 арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде (Ст. 70 УК РСФСР). В 1987 вместе с другими политзаключёнными освобождён по «горбачёвской амнистии». После освобождения включился в работу ряда демократических организаций. Избирался в руководство нескольких демократических объединений. Организовывал выставки и конференции по истории неофициального культурного движения и антикоммунистического сопротивления. Издал книжку тюремно-лагерных мемуаров «Не столь отдалённая кочегарка» (2005). В соавторстве выпустил литературную энциклопедию «Самиздат Ленинграда» (2003) и ряд других книг. Опубликовал свыше ста статей по общественно-политической и историко-культурной тематике. Живёт в Санкт-Петербурге.

In vino veritas

Михалыч повернул ручку радиоприёмника и услышал знакомую песню, сидевшую в памяти с самого детства. Исполнитель торжественно выводил: «Широка страна моя родная, / Много в ней лесов полей и рек…» «И ещё лагерей», — добавил от себя Михалыч: не только песни и радиопередачи открывали перед ним широкие просторы родной страны.

В первый раз он получил лагерный срок в семнадцать лет, когда учился в ПТУ на слесаря-сборщика: однажды ночью вместе с двумя приятелями залез через окно в магазин и утащил ящик водки. Пьяных пэтэушников арестовали на следующее утро. Улик против неопытных взломщиков было более чем достаточно, и юный слесарь оказался в зоне для «малолеток». Потом последовали новые посадки, в основном такие же нелепые, как и первая, — то мелкие кражи, то пьяные драки. Это всегда происходило неожиданно и стремительно, так что Михалыч сам потом удивлялся и недоумевал, что толкнуло его на очередной «подвиг», и почему он так глупо попался. Если сложить все отбытые им сроки, то получалось в общей сложности четырнадцать с половиной лет. В промежутках между отсидками он менял профессии и места обитания, какая-то непонятная стихия захватывала и переносила его из одного города в другой. Эти города были похожи друг на друга, и, как ему казалось, в них не было ничего, кроме одинаковых бесконечных промзон. В одно грязное пятно в воспоми-

наниях Михалыча слились корпуса цехов с огромными закопчёнными окнами, бетонные заборы и устремлённые в небо ржавые трубы.

Его прежние приятели по ПТУ со временем обзавелись семьями, они жили в «хрущобах» и работали на заводах и стройках. Михалыч не завидовал их оседлой, монотонной жизни — жизни, в которой нудно, тесно и душно, а каждый шаг — это шаг вынужденный.

К пятидесяти годам он оказался на Севере, в посёлке нефтяников с индустриальным названием Головные Сооружения. Этот населённый пункт был центром нефтедобычи в республике Коми. Сбоку к стандартным баракам посёлка прилип участок самостроя, который одни именовали «Нахаловкой», другие «Шанхаем». Михалыч проживал там, в одной из старых бытовок, оставшихся от строителей Головных Сооружений. Сами строители давно перебрались в другие места, а их временные жилища заселил пёстрый неблагополучный народ, по разным причинам выпавший из обжитых городов и посёлков на географическую и социальную периферию.

В Головных Сооружениях Михалыч трудился дорожным рабочим второго разряда. Всю зиму его бригада очищала от снега и льда мосты через реки и посыпала песком заледеневшие спуски и подъёмы на автотрассе. В летнее время он занимался укладкой асфальта на новых участках дороги, постепенно продвигавшейся в сторону Ледовитого океана.

Благодаря северным надбавкам, его заработок по меркам 1980-х был гораздо выше среднего по стране. Заработанные потом и кровью длинные северные рубли пропивались в самые короткие сроки.

Антиалкогольная кампания, начатая Горбачёвым вместе с «перестройкой», привела к перебоям со спиртным в единственном магазине, торговавшем в Головных Сооружениях. С наступлением трудных алкогольных времен Михалыча выручала знакомая продавщица Надежда, работавшая в винном отделе магазина. Из-под прилавка она продавала ему водку в необходимом количестве. Жизнь, однако, менялась в худшую сторону. Однажды, по пути с работы, Михалыч по привычке зашёл в магазин. К несчастью, водку в этот день не завезли, и Надежда не смогла предложить ему ничего, кроме бутылки сухого красного вина.

«In vino veritas» — говорили древние римляне. Корни античной культуры погружены в амфоры с красным вином. Подобно Капитолийской волчице, вспоившей своим молоком Ромула и Рема, виноградники Европы вспоили вином готику и ренессанс, барокко и классицизм.

Но Михалыч терпеть не мог вино — он имел иные алкогольные пристрастия: «Что толку от этой красноты? Она мне как слону дробина. Крепости никакой: кисленькая водичка — и только. Нормальному мужику нужна сорокаградусная». Такие предпочтения объясняются просто — сильные люди не пьют слабые напитки. В бутылке водки скрывался заряд буйной доисторической свободы, которой так не хватало Михалычу не только в тюрьме, но и за её стенами, и к которой он неосознанно тя-

нулся. Подобно джинну из лампы Аладдина, свобода вылетала из бутылки и каждый раз вселялась в Михалыча. И зло и добро водочный джинн творил с одинаковой лёгкостью.

Поскольку желание выпить было непреодолимо, пришлось пойти к подпольному торговцу. Этот деятель объявился в посёлке одновременно с алкогольным кризисом. За пол-литра водки требовалось переплатить тридцать рублей.

По дороге домой Михалыч чертыхался и бормотал: «Наживаются гады на нашем брате — за каждую бутылку дерут по тридцатнику сверху…» От досады хотелось пристукнуть первого встречного. Внезапно в его голове, как золотая рыбка в аквариуме, сверкнула мысль: «А почему бы и мне не зашибить деньгу на водяре? Чем я хуже этого барыги?»

Историю первоначального накопления капитала по Марксу и формулу «товар — деньги — товар» Михалыч запомнил со времен учёбы в ПТУ (без знания азов политэкономии советский слесарь-сборщик не мог ни слесарить, ни собирать). Он легко прикинул, что, продав с наценкой десять бутылок водки, на вырученные деньги сможет купить у Надежды уже пятнадцать, а продав пятнадцать, ещё больше увеличить «прибавочную стоимость». Клиентуры в бараках Головных Сооружений было предостаточно.

Зарплату Михалыч получил днём раньше и ещё не успел пропить, так что стартовый капитал у него был. Бизнес-план выглядел безупречно, теоретически ничто не должно было помешать его исполнению. Оставалось только осуществить замысел на практике.

На следующий день Михалыч пошёл к Надежде, и она за небольшую переплату продала ему из-под прилавка целый ящик водки. Вечером он принёс товар в свою хибару и засунул под раскладушку. Слух о том, что у Михалыча есть водка (а на прилавке магазина её в тот день не было), таинственным образом разлетелся по посёлку. Покупатели нашлись быстро. Сначала купили одну бутылку, через двадцать минут вторую. Прибыль составила шестьдесят рублей. Жить стало лучше, стало веселей.

Вскоре появились Витя, Коля и Паша, соседи и постоянные собутыльники Михалыча. Они купили две бутылки и удалились. Через полчаса соседи в приподнятом на изрядный градус настроении вернулись за третьей. Бутылку гости открыли прямо в комнате Михалыча и предложили ему составить компанию. Он проглотил стопку. Водка в горло пролезла с трудом. «Что за дрянь мне Надька подсунула? — вздрогнул Михалыч, — неужели „палёную” отраву?» Однако после второй стопки выяснилось, что водка вовсе не такая уж гадость, как показалось вначале. Закуска была вполне созвучна выпивке. На столе красовались полбуханки хлеба, консервы «Минтай в томате» и сиреневая колбаса ценой два рубля двадцать копеек за килограмм. Закуску принёс бывший милиционер Коля. Несколько лет назад его выгнали со службы за утрату табельного ору-

жия. Коля утверждал, что пистолет у него украли, но от расспросов о подробностях кражи уклонялся, что порождало разнообразные слухи о действительной подоплёке этого события.

В бытовке Михалыча гости чувствовали себя непринуждённо. Коля был особенно говорлив:

— Витя, расскажи, как ты чёрта видел.

— Да я уже рассказывал.

— Так Михалыч ещё не слышал.

— Ну, в городе это было, в общаге. В пятницу с получки сходил в магазин. Поллитровок не оказалось, и я взял двенадцать «маленьких». Потом вернулся в общагу и начал потихоньку одну за другой приговаривать. Из комнаты все выходные не выходил, но допить не успел. В воскресенье совсем плохо стало. Тут вижу — в дверях чёрт стоит, высокий, ростом под потолок, и рукой манит к себе. Меня так и тянет подойти, хочу встать, но не могу — сердце прихватило. Хорошо, ребята вошли в комнату, увидели, что я загибаюсь, и вызвали «Скорую». Врач сказал потом, что меня еле откачали.

— А больше чёрт не приходил? — не успокаивался Коля.

— Нет, но велел передать, что в следующий раз придет к тебе.

— Добрый ты, Витя.

— Коля, расскажи лучше, как казённый пистолет пропил.

— А ты видел? — Коля мгновенно раскалился докрасна, — ты что, со мной пропивал?

— Мужики, кончай собачиться — стаканы высохли! — произнес своё веское слово Паша.

Третья бутылка была допита, и Михалычу, как человеку чести, пришлось поставить выпивку со своей стороны. Его бутылка опустела в несколько минут. Следующая прилетела сама, за ней ещё одна. После этого счёт опустошённой стеклотаре был потерян.

На улице по-осеннему быстро стемнело, но мрак никого не останавливал. Из черноты в бытовку к Михалычу вваливались новые гости. Их встречали радостными криками. Количество гостей двоилось и троилось. Расщедрившийся хозяин наливал всем. О своем коммерческом проекте он уже и не вспоминал. Никакие меркантильные интересы не могут устоять перед бескорыстным и беспредельным праздником жизни.

После очередной стопки Витя вдохновился и затянул: «Цветы роняют лепестки на песок. / Никто не знает, как мой путь одинок…» Глотнув ещё стопку, он перешел на трагический вой: «Да, я шут, я циркач, так что же? / Пусть меня так зовут вельможи…»

Пашу коробило от этого пения: «Витя, кончай оперетту — стаканы высохли!»

Гости пили, гоготали и беспрерывно курили. От табачного дыма комнату постепенно заполняли сумерки, будто тьма с улицы начала прони-

кать в бытовку. А в голове Михалыча лучезарное утро, прозрачное, как чисто вымытый стакан, померкло, и наступила ночь. Веселье продолжалось уже без его участия.

На следующий день Михалыч очнулся на раскладушке в домашних тапочках. Свет медленно возвращался в его сознание, с трудом преодолевая алкогольное помрачение. Он попытался восстановить в памяти события прошедших суток, но вспомнил только, как стоял в углу и держался за стену, разглядывая царапины на обоях. Потом стена внезапно наклонилась и ударила его прямо в лоб.

Похмелье никогда не бывает лёгким. Долгие годы упорных тренировок и накопленный опыт не спасают от мучений. Затылок трещал от боли, в глазах мелькали беспокойные разноцветные змейки. Ступив на пол, Михалыч наткнулся на пустую бутылку, и сразу же погрузился в тоску: «Где ящик с водкой, где остальные бутылки? Неужели всё выжрали?» Он принялся искать своё сокровище. Ящик обнаружился под столом. В нём ничего не было. Опустошённые бутылки валялись на полу и стояли на подоконнике. Надежды, возложенные на свободное предпринимательство, не оправдались. Оказалось, что бизнес-формула Карла Маркса не учитывает особенностей российской жизни, как и всё его кабинетное утопическое учение.

Горечь от коммерческой неудачи отравила Михалыча. Пустой ящик застрял в голове и скрёбся о стенки черепной коробки. С дрожью в коленях добрался он до двери и вышел на открытый воздух. За ночь серебристый мох тундры, изрезанный чёрными тракторными тропами, побелел от свежевыпавшего снега. В шахтёрском посёлке, в котором Михалыч вырос и в котором впервые попал в тюремную камеру, снег никогда не был таким чистым. Белый покров с алмазными блёстками застелил всё вокруг. Местами из-под снега торчали редкие жёлтые травинки — напоминание об ушедшем лете.

Михалыч долго стоял, держась за распахнутую дверь. Глядя на снежную белизну, он чувствовал, как растворяется муть, наполнявшая его полусонный мозг, как где-то внутри вновь пробуждается желание дышать, желание жить. Лужа у крыльца бытовки, к утру покрывшаяся льдом, под ранним неярким солнцем начала оттаивать. До наступления беспросветной полярной ночи оставался ещё целый месяц.

«In vino veritas» — говорили древние римляне. Пунцовое закатное солнце, таящееся в красном вине, растекаясь по венам, согревает кровь и оживляет невидимое вещество мысли. И тогда перед ожившей мыслью открывается истина во всей своей грандиозной непостижимости.

Наверное, и вправду истина в вине, но в России пьют водку.

Мария Рубина
(США, Бостон)

Родилась в Петербурге. Там же окончила среднюю школу и одно высшее учебное заведение. В 1989-м году эмигрировала в США с младенцем на руках. Живу в пригороде Бостона с мужем, котом Семёном Семёновичем и спаниелем Матрёной. Больше всего на свете люблю сочинять. Некоторые сочинения увидели свет в таких изданиях как «Фонтан», «Секрет», «Чайка», «Нева» и др. К своим стихам, как и к себе, слишком серьёзно не отношусь, что значительно облегчает нелёгкие трудовые будни и борьбу с существованием.

Оборотная сторона луны

Графомания

Я как раз из больных, из тех,
что строчат при свечах уныло.
Графомания — тяжкий грех,
я б за это себя убила.
Где я темы беру? — Бог весть!
Не пророк я и не оракул.
Не желаете ли прочесть?
Тут один прочитал и плакал.

А ещё я люблю шутить.
Это, кстати, коронный номер.
Не желаете ощутить?
Тут один ощутил и помер.
Пусть пузырь я и пустобрех.
И пусть прёт из меня позёрство.
Графомания — это грех.
Но не больший ведь, чем обжорство!?

© Художник Елена Любович

Кто виноват?

(или краткие заметки по национальному вопросу)

Я не могу писать витиевато,
мой лексикон уныл и скуповат.
Но в этом я совсем не виновата.
Наверно, в этом папа виноват.

Скудна метафор серенькая гамма,
глагольных рифм довлеет кабала.
Но в этом точно виновата мама:
она меня такою родила.

Пишу топорно, сухо, без экспрессий,
эмоции не прут из-под пера.
А виновата в этом тётя Песя —
единственная мамина сестра.

Я не прославлюсь. Так и постарею.
Нетленок не создам наверно я.
Кто виноват? — Конечно же, евреи:
любимая и дружная семья.

Чего скрывать? Судьба моя — индейка,
и ничего уже не изменить.
А если б родилась я не еврейкой,
кого б тогда могла я обвинить?

Романс

На увитой веранде, подле старой ракиты,
мы уселись, любовью палимы дотла.
Ой, забыла сказать, чем веранда увита:
диким плющем веранда увита была.

Ты держал мою, пел про любовь и про муку,
обнимал за, сулил тишину и покой,
Ой, забыла сказать, что держал-то за руку!
Обнимал же за плечи свободной рукой.

Раздавались в ночи звуки, в розовой шали,
я смотрела на твой, я пьянела от роз;
Ой, забыла сказать — это звуки рояля,
а смотрела на твой то ли глаз, то ли нос.

Задыхались сердца в озорной сарабанде,
и горели огнём под бровями глаза...
Ой, забыла совсем: был же секс на веранде,
до того как мы сели. Забыла сказать!

О звезде

Гори, гори, моя звезда,
гори на тёмном небосклоне.
Пусть голова моя седа,
и не сильна я в биатлоне,
и в беге тоже не сильна,
в прыжках с шестом
и на батуте, —
люблю, когда горит она
в далёкой тёмно-синей жути.
Глаза мои давно косят,
и позвоночник крив. И зубы.
И выгляжу на шестьдесят,
и очень скоро врежу дуба.
Что ж... не судьба... Права качать
теперь уж поздно, и не надо.
Сидеть — и в тряпочку молчать,
(или мычать) — одна отрада.
И любоваться в темноте
на свет, рассеянный и слабый,
и слать привет своей звезде:
она ж, по сути, тоже баба.

Лирическое отступление

Люблю смотреть
в чужие окна:
там так уютно и тепло,
там жизни не моей волокна
ложатся вязью на стекло.
Там свет лиловый тихо тает,
паркет надраенный блестит,
там красный чайник закипает
и громко носиком свистит.
В большой гостиной —
полутени
и шорох шёлковых портьер;
На книжной полке —
Блок, Катенин,
Рембо, Есенин и Мольер.
И в спальню
дверца приоткрыта,
а в ней... как в сказочном лесу...
Сидит бухой мужик небритый,
и ковыряется в носу.

Уйди-ка, юноша, ты пьян!

Уйди-ка, юноша, ты пьян!
Не лезь со стопкой.
Ведь я пьянею вдрабадан,
понюхав пробку.
Не искушай меня без ну-
жды. Нет резона!
Не то напьюсь тут и засну
среди газона.
Лежать, чтобы наткнулся муж,
кому охота?
Без макияжа я, к тому ж,
и в жёлтых ботах.
Уйди, нетрезвый сумасброд,
так будет лучше.
Ведь я стара, как анекдот
об этих... чукчах.
Оставь напрасные мечты,
ой, как ты смеешь?!.
ведь завтра протрезвеешь ты
и обалдеешь.

Пробка

Застряла в пробке. Значит опоздаю.
Натянут звонко слабых нервов лук.
Гляжу на руль и тут же представляю,
как ждёшь меня, кусая ногти рук.
Идут часы. Но не видать движенья.
Вот село солнце, дунул ветерок.
А ты все ждёшь, кипя от раздраженья,
И, закипев, кусаешь ногти ног.
Ну что сказать? — не огорчайся слишком:
К тебе ведёт мой горестный маршрут.
Ты не любил меня с короткой стрижкой?
За это время патлы отрастут.
Я сброшу двадцать-тридцать килограммов,
(в машину ведь не подадут обед!)
А может, в пробках нет такой уж драмы?
А может, вовсе в пробках драмы нет?
Но отчего-то мысль не покидает:
Вот пробка рассосётся, и домой
приеду я: поджарая, худая...
А ты пузатый, лысый и глухой.

Знакомство

Мы познакомились в субботу,
часа в четыре… может, в пять.
Вы мне травили анекдоты,
и норовили приобнять.

Потом продолжили знакомство,
сначала в парке, на скамье.
Потом в подъезде. (Скопидомство
присуще было Вам вполне.)

Болтались, в общем, по подвалам,
чтоб то да сё, плюс поболтать.
Но этого Вам было мало:
Вы обо мне хотели знать.

Где родилась? Бедна? Богата?
(Ах, папа — знатный скотовод!?),
какой метраж у нашей хаты,
и какова зарплата в год.

Что пью? — Портвейн, текилу, соки.
Кто идеал? (Да нуу, Фрадков??)
А из писателей? — Сорокин.
А из поэтов? — Михалков.

Любимый цвет? — Конечно, синий;
Роман Полянский — мой кумир;
Люблю Феллини, Пазолини,
лингвини, зити, козий сыр,

сыр эмментальский, сыр копчёный,
и колбасу из требухи,
мой дядя Петя — заключённый,
а дядя Федя — от сохи,

не брею ног, не верю в Бога…
Допрос закончим, может быть?
Теперь Вы знаете так много,
что мне придётся Вас убить.

***

Застыл пузатый старый кот,
как монумент, в оконной раме.
Канает в Лету Старый Год,
и Новый уж не за горами.
У двери старый спаниель
лежит, стуча хвостом сердито.
Уходит Старый Год. Метель.
И дверь для Нового открыта.
Но мне ль бояться новых стуж?
Я хороша собой, здорова...

Сидит на кухне старый муж.
И пусть сидит. Зачем мне новый?

Я жила когда-то в Питере

В синем старом лыжном свитере,
выходила на Неву…
Я жила когда-то в Питере,
а теперь вот не живу.

Там вода от ветра щурится,
Небо — серая броня.
И Гороховая улица
не скучает без меня.

Свитер толстый, мамой связанный,
шерсть как печка, горяча.
Я ведь тоже не обязана
огорчаться и скучать.

Без особенного рвения
жизнь обычную веду.
Только в редкие мгновения
представляю, как иду,

обращая к ветру резкому
удивлённое лицо,
по заснеженному Невскому
мимо сказочных дворцов.

Нити те, что с прошлым связаны,
всё равно не оборву.
Только знаю, что два раза нам
не войти в одну Неву.

***

Вот я и ты.
Вот Мишка — твой кузен.
Он безмятежно постигает дзен,
в гостях сидит, уткнувшись носом в книгу.
Вот Мишкина невеста Ира О.
Поёт «под крышей дома своего»,
но также любит Моцарта и Грига.
Вот ты и я.
Вот наши кореша.
Они идут, вселенную кроша
своими озорными сапогами.
И нам ещё друг с другом хорошо,
и даже глупый анекдот смешон.
И только бесконечность перед нами.
Вдыхая жизнь и выдыхая сон,
мы выбрали Созвездие Весов,
взлетая ввысь и опускаясь наземь.
Но как бы ни был долог тот полёт,
однажды кто-то нас перечеркнёт,
как строчки неудачные в рассказе.

© Художник Елена Любович

***

Ещё пока дела в порядке,
дни беспечальны и легки,
жую в «Минутке» пирожки,
и в разлинованной тетрадке
пишу дурацкие стишки.
Ещё иду, кольцо со змейкой
крутя на пальце на ходу.
Мне завяжи глаза — найду
и у Казанского скамейку,
и горку в Сашкином саду.
Вот старый домик в треуголке,
вот пёс приблудный во дворе.
И колют памяти иголки.
Разбилось время на осколки
в моём волшебном фонаре.

***

Плачет дождь который день от жалости,
город спит, продрогший и немой.
Нет на свете тяжелей усталости,
чем усталость от себя самой.
Не разгонит ветра дуновение
набежавших помрачневших туч,
и былые чудные мгновения
аккуратно заперты на ключ.
Темнота тебя сжирает дочиста,
дождь смывает неглубокий след.
«Потерпи, — сказало одиночество, —
сотню лет, всего лишь сотню лет».

***

Есть у тебя лишь имя-отчество,
а больше нету ни шиша.
И паутиной одиночества
твоя спелёнута душа.
Когда короче день становится,
Длиннее ночи круговерть, —
решать несложно крестословицу
с двумя словами — жизнь и смерть.
И не пробраться тихой сапою
в тот мир, расстеленный у ног,
где спит, подрагивая лапами,
пушистый маленький щенок.

***

Когда мы встретимся с тобою
через каких-то тридцать лет,
я буду бабкою седою,
ты будешь — старый лысый дед.
А может, ты не будешь лысым,
а будешь, например, хромым;
Мы встретимся под кипарисом,
или под яблоней, где дым,
а может под другим растеньем;
Я буду толстая, в платке;
С тобой столкнёмся днём весенним,
или осенним. Налегке.
Или, к примеру, с чемоданом
ты на вокзале выйдешь вдруг,
проездом из Биробиджана.
А я — проездом в Кременчуг;
Ты не прошепчешь мне: «Родная,
ты хороша и молода».
Ведь мы друг друга не узнаем,
и разойдёмся.
Навсегда.

***

Как хороши, как свежи были ро…
А впрочем, что я? О цветах — ни слова!
С тобою мы встречались у метро
обычно каждый вечер, в полвосьмого.
В осеннем небе звёзд неярких нить,
но льды Неву пока что не сковали.
Что о любви способен сочинить
не лирик, а обычный трали-валик?
Мы променяли кухонный уют
на холод подоконников в парадных.
(вот в этом месте самый пошлый шут
отпустит шутку. Будь она неладна.)
А в Греции всё есть. И пьют вино.
И греки древние давно про всё сказали.
Порвалась плёнка. Кончилось кино…
Сижу одна, как дура, в тёмном зале.

***

Кому нужны твои нетленки,
твои печальные слова?
Давай, ложись зубами к стенке,
четыре умножай на два.
Считай расходы, дурью маясь,
прими как данность тишь, да гладь.
Но только не ходи, как заяц,
как глупый заяц, погулять.
Не выползай и шутки ради
из утеплённого жилья.
Неровен час — чужие дяди
тебя прихлопнут из ружья.
А выйдешь ночью на опушку —
не обессудь и не кричи:
твою обугленную тушку
не опознают и врачи.
Из пыльной заводи на волю
ты выбегать нупогоди.
Один не воет в чистом поле,
а ты и так всегда один.

***

Мы снова сами по себе
живём в бессмысленной гурьбе
смешных желаний.
И, как замёрзшая вода,
застыло время навсегда,
а в нём не видно ни черта,
помимо дряни.
Жива покуда и цела,
я всем отвечу «за козла»,
ослаблю вожжи.
Пусть говорят, идти на свет
занятья безнадёжней нет,
я говорю тебе «привет»,
и ты мне тоже.
И хоть понятно и ежу,
что с головою не дружу,
слагаю басни,
я знаю, что умрёт сверчок,
накроет бабочку сачок,
раздастся лампочки щелчок,
и свет погаснет.

***

Остывает в синей кружке чёрный чай,
я за стол сажусь и правила учу:
Мне по правилам положено молчать.
Я послушная — поэтому молчу.
Хоть с берёзы оборви последний лист,
хоть иглу сломай несчастному ежу,
хоть пытай меня, бессовестный фашист, —
ничего тебе, фашисту, не скажу.
Не пытайте: «отчего да почему».
Ночь безмолвствует, безмолвствует народ.
Так молчала безответная Муму,
под корягою воды набравши в рот.
«Не лепи, — учила мама, — сгоряча,
ибо хуже будет вскорости самой».
Мы ягнята, нам положено молчать,
мой хороший,
мой хороший...
мой не (мой)...

***

Не смотри на меня, босоногая кошка.
Не пекись о моей несуразной судьбе.
Я ведь тоже бродячая кошка немножко,
Потому что гуляю сама по себе.

Не гляди на меня, шерстяная малышка.
Дай я лучше за ушком тебя почешу.
Я ведь тоже, бывает, как сцапаю мышку!
Поиграю немножко, потом задушу.

И хотя я в приметы не очень-то верю,
Но признаюсь тебе, что боюсь, как огня
Равнодушного страшного сильного зверя,
Что однажды бесстрастно задушит меня.

Владимир Гудаков
(Франция)

Родился в г. Краснодаре. Закончил факультет иностранных языков в Краснодарском педагогическом институте, факультет истории и социологии Кубанского государственного университета. Во Франции с 1989 г. Литератор, культуролог, доктор исторических и социологических наук.

ИСКУССТВО ЖИТЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ

(Заметки культуролога)

Высокий винодел в чёрном ботинке, или Встреча с Пьером Ришаром

В 2009 году мы с женой отдыхали на юге Франции, под Нарбонной, в маленьком городке Грюиссан. Уютный средиземноморский уголок со своим мироощущением, лицами, жестами.

И вот, на третий день отдыха, открываю приложение к местной газете и вижу фотографию Пьера Ришара, с винными бутылками перед ним, и статью о нём под интригующим названием: «Пьеро снабжает автографом свой „Красный нос"». Оказывается, «высокий блондин в черном ботинке» превратился в винодела и стал «высоким блондином с бутылкой красного вина», которую, с присущим ему юмором, он назвал: «Мой красный нос».

Но знаменитый комик обладает не только чувством юмора, но и тонким нюхом, что позволило ему стать за последние четверть века преуспевающим виноделом.

На следующий день мы отправились в «Погребок Пьера», гармонично вписавшийся в гарригу и виноградники между скалами и лагунами средиземноморского побережья. Пейзаж изумительный, который в свое время так очаровал «высокого блондина», что он расположился в нём на много-много лет:

«Моя страсть к вину началась с пейзажа. Сухая, кремнистая земля между двумя тёплыми лагунами. Нос ощущает благоухание этой земли. Откуда бы ни дул ветер, воздух всегда напоён тончайшими ароматами, и нос в гроздьях винограда, наполненных солнцем. А затем нос вдыхает утончённый запах в бочках с вином. И, в конце концов, нос вознаграждается тем, что опускается в стакан вина, которое впитало в себя землю, ветер, солнце. Какая прекрасная профессия винодел!»

Это поэтическое признание Пьера Ришара расположилось на этикетке бутылки вина с его портретом, под заголовком: «Шато Бель Эвек». Конечно, это было вино, продегустированное и купленное нами в погребке-магазинчике, уютно расположившемся среди описанного выше пейзажа.

А потом — живая очередь к юмористу-виноделу за его автографом. Очередь была весёлой: ведь автографы подписывались не на книгах, а на бутылках, да и отпробованное вино тоже активно поднимало настроение у участников этого действа.

Когда подошла наша очередь, Пьер Ришар спросил наши имена, чтобы подписать свой автограф, а затем ответил на мой вопрос, почему на нём летняя рубашка с русскими символами и словами: «Вы знаете, мне её подарили в России, где я недавно был. И вообще, я довольно часто бываю там, поскольку меня там любят и всегда принимают очень-очень тепло». Мы обменялись улыбками, рукопожатиями и расстались.

И вот теперь, в 2014 году, французскому актёру, кинорежиссёру и виноделу Пьеру Ришару Морису Шарлю Леопольду Дефе (таково полное имя этого удивительного человека) исполнилось 80 лет.

И в заключение приведу его слова о причинах его творческого долголетия и разносторонности: «Чем меньше я думаю о своих годах, тем лучше чувствую себя! Если бы я каждый день напоминал себе, что мне вот-вот стукнет 80 лет, то, наверное, у меня не было бы сил даже вылезти из кровати»… «Надо постоянно поддерживать в себе интерес к окружающему миру, открывать новые источники вдохновения и позволять жизни удивлять себя»…

Искусство винопития в частности, и искусство стола в целом

Продолжим разговор о вине, а точнее, о винопитии, которое является не только составной и немаловажной частью французского гастрономического искусства, но и важнейшей частью французского восприятия этого мира.

Для начала давайте посмотрим, что говорят французские поговорки и знаменитые французы.

«Хороший друг, как вино». «Вино способно вылечить все болезни, кроме алкоголизма». «На дне бочки с вином хранится больше высокого духа, чем во всех философских книгах мира».

«Когда я откупориваю бутылку, пробка открывается со звуком, значительно более приятным, чем звуки барабанов и труб», — Жан Расин.

«Вперёд, старые друзья! Давайте учиться пить! Когда хорошо пьёшь, становишься учёным! Кто не умеет пить, тот не умеет ничего!» — Буало-Депро.

«Вино это самое культурное, что есть в этом мире», — Франсуа Рабле.

«Вино — духовная часть еды. Мясо и овощи — всего лишь её материальная часть», — Александр Дюма.

«В одной бутылке вина больше философии и мудрости, чем во всех книгах», — Луи Пастёр.

«Вино — самый здоровый и самый гигиеничный из напитков», — Луи Пастёр.

«Я признаю только одно оружие — штопор», — Жан Карме.

Эти несколько поговорок и изречений уже дают определённое представление о том, какое место занимает вино во французской картине мира. Добавлю только одну частность винопития, связанную с органами чувств, а именно, зрение, обоняние и вкус. Не вдаваясь в подробности искусства дегустации вин (оно значительно сложнее и изощрённее приведённого ниже), перескажу лишь одно винно-книжное пожелание. Суть его в трёх словах: глаз, нос и рот. Сначала Вы смотрите в рюмку, оценивая тонкую игру цвета, затем Вы нюхаете вино в рюмке и, наконец, Вы определяете на вкус его качество.

Приведу только два выражения, связанные со вкусом, которые, кажется, есть только во французском языке. Первое: «le festin du palais», которое одновременно переводится и как «маленький праздник во дворце», и как «маленький праздник нёба». Второе: «faire la queue du paon», которое переводится как «развернуть павлиний хвост». Так говорится о винах и коньяках, приятный вкус которых расходится веером по языку и нёбу.

Вино, как известно, пьют. Но не только. Оказывается, французским вином можно заправляться!!! Не верите? А вот послушайте!

Однажды мне довелось побывать на празднике муската в столице этого напитка, городке Фронтиньяне. Прогуливаясь по его улочкам, заполненным веселыми, поющими и смеющимися людьми, я почти столкнулся с мужчиной в костюме XVIII века, окруженным дамами в костюмах той же эпохи. На его груди висела табличка с тремя фразами (напомню, что этот праздник летом 2012 года совпал с резким повышением цен на бензин):

«Высокая цена бензина? Мне на неё наплевать!!! Я заправляюсь мускатом!»

Кстати, слово «заправляться» имеет ещё одно значение — хорошо поесть. Так вот одно из самых распространённых французских выражений: «On mange bien en France», что в переводе означает: «Во Франции едят хорошо». И не просто хорошо. Еда — составная и неотъемлемая часть французской культуры, а «искусство стола» является частью «искусства жить». Ключевым словом тут является слово «искусство».

Позволю себе сравнить искусство кулинарии с живописью, которая не случайно является одним из самых любимых видов искусства во Франции. Живописец выбирает краски для полотна, смешивает их, стараясь найти их наилучшее соотношение. Французский повар, точно так же, как художник, находит наилучшее соотношение, только не оттенков цвета, а вкусовых ощущений в приготавливаемом блюде. Кстати, и расположение ингредиентов, и их цветовые сочетания тоже играют важную роль в кулинарном искусстве.

В Париже, на углу улицы Бон и Набережной Вольтера, есть старинный ресторан «Вольтер», украшенный наружными витражами, изображения которых связаны с «искусством стола». Одно из них, с подписью «Костюм Повара», просто изумительно. Весь костюм — атрибуты кухни. На голове Повара — поднос с молочным поросёнком, в руках, как шпага, сковородка на длинной ручке. Ещё один поднос в виде щита, а другой поднос-кираса защищает поварскую грудь. Из-под одежды отовсюду выглядывают и свисают ложки, вилки, поварёшки.

Так что Французский Повар — это рыцарь кухни, прекрасно приготовленной еды и хорошего вкуса.

Как-то один из моих стажёров рассказал об обычае, которому он и его друзья следуют уже много-много лет. Один раз в месяц друзья собираются и идут в один из лучших парижских ресторанов. Идут с одним и тем же условием: как только стол накрыт, все замолкают. Начинается «праздник нёба», то есть наслаждение гаммой вкусовых ощущений. Искусство общения уступает место искусству стола. Когда этот процесс заканчивается, возобновляется разговор, основной темой которого являются тонкости вкусовых ощущений от различных блюд. Потом все покидают ресторан и прогуливаются по Парижу, говоря уже о чём-то другом.

Это, как мне кажется, достаточно убедительный пример одной из черт французской ментальности, которая получила название «l'art de vivre», то есть «искусство жить».

Французское кулинарное искусство иногда проявляет себя неожиданно и оригинально.

Казалось бы, какая связь между едой и эротикой? Такая же, как между чувствительностью и чувственностью.

В витрине одного из гастрономических бутиков, в парижском пригороде, выставлена коробка шоколадных конфет с названием «Для гурманов чувственности». А в коробке — вырезанные из шоколада сцены из Камасутры.

Так вот, если Вы к «маленькому празднику нёба» добавите ещё и «маленький праздник эротики», то тогда Вы можете заслужить титул «Гурмана чувственности». Дерзайте! Может быть, и получится.

А в другом бутике, преимущественно шоколадном, хозяин поделился со мной одним профессиональным секретом. Оказывается, часть шоколадных изделий не выставляется в витрину, но может быть представлена только самым доверительным покупательницам. А именно — эротические изображения из шоколада с изысканной гурманской начинкой. Искусство кулинарии и искусство эротики дополняют друг друга.

Французское искусство стола — наука и искусство одновременно. Главное — изысканная церемония подачи блюд, эстетичность их оформления и утонченность вкусовых ощущений.

Вот несколько высказываний знаменитых французов об искусстве жить, важной составной частью которого является искусство кулинарии:

«Вершина соблазна – это не выражение своих чувств, а принуждение догадаться о них», — Жюль Барбе Д'Оревильи.

«Вкус — это улыбка души», — Лео Ферре.

«Запах — это ощущение воображения», — Жан-Жак Руссо.

Только во Франции Вам могут принести на десерт трилогию, чтобы Вы могли не спеша прочитать её, а точнее вкусить каждый из… Ой, чуть не сказал: «томов». Конечно, каждый из сыров. А называется этот десерт «Сырная трилогия», или «Трилогия сыров». Как хотите. А самое главное в том, что только Вы сами можете определить, какая часть трилогии самая увлекательная, а точнее, самая вкусная.

Кстати, искусство кулинарии прекрасно совмещается с другими видами искусства, к примеру, с чтением стихов, то есть с поэзией: «Чтение стихов и круассаны», «Чтение стихов под музыку и аперитив», «Поэзия и вкус», с уточнением «Поэзия и дегустация» и т.д., и т. п. Всё это было этим летом в годе Сете.

Штрихи к портрету Марианны

Знаменитая фраза Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую». Но, если я существую, то у меня есть всё, чтобы есть, пить и радоваться жизни.

Над американскими автострадами часто висит лозунг: «Keep smiling!» («Улыбайтесь!»). Американец, увидев его, улыбается. Француз, увидев его, спрашивает: «Почему?» Картезианство — это не просто термин, это часть французской ментальности.

Когда-то американцы, во время Второй мировой войны, после освобождения Италии, войдя во Францию, сказали: «Французы — это грустные итальянцы». Но если «французы — грустные итальянцы», то они же зато «веселые англичане».

Вопрос: «Для чего французы изобрели самые быстрые поезда в мире?»

Ответ: «Для того чтобы как можно быстрее перемещаться от одного удовольствия к другому». Конечно, во Франции, как в любой другой стране мира, нужно жить, отвечая на ежедневные вызовы, но всё-таки именно Франция подарила миру «l'art de vivre », то есть «искусство жить».

Напротив парижского кладбища Пер-Лашез есть бар. На баре вывеска:

«Quoi qu'on dise et	«Что бы ни говорили, и
quoi qu'on fasse	что бы ни делали,
On est mieux ici	Здесь все же лучше,
Q'en face».	Чем напротив».

А вот как описывается еще одно парижское кладбище, кладбище Монпарнас, в одном из французских путеводителей (Paris balades, Hachette, 2004, p.211). Оно называется «литературным и артистическим некрополем», «с самым большим количеством писателей на один квадратный метр: Бодлер…, Мопассан…, Ионеску…»

А чуть дальше на этой же странице описывается «Улица Веселья», причем можно догадаться какого. И есть любопытное замечание по поводу её описания: «Что же касается секс-шопов, находящихся на этой улице, то они не вызывают ни смеха, ни веселья. Кладбище предпочтительней». Имеется в виду расположенное рядом кладбище Монпарнас.

Есть одно любопытное французское утверждение о том, что напротив кладбища, как правило, есть «Улица Равенства». Добавлю к этому, исходя из вышеописанного, что и «Улица Веселья» тоже. Правда, не напротив…

Если Вы хотите получить большое удовольствие не только от еды, но и от культуры, то идите в парижское «Кафе Олимпия». Это история французского шансона в афишах. Кто только не бывал в этом кафе! И Пиаф, и Гинсбург, и Холидей,.. и вся французская богема, носившая носки разного цвета. А официанты этого кафе, выделывая виртуозные па между столиками, дадут фору любому балерону в мире.

Побывав в нем, я не удержался и написал несколько строк, вспомнив о великом русском барде Владимире Высоцком, который тоже, наверное, бывал в нем:

Здесь ели, пили, пировали
И все проблемы забывали
Эдит Пиаф, Брассанс и Брель
И не просили их оттель.

На юге Франции есть «Южный канал», который соединяет Тулузу со средиземноморским городом Сет. Его берега усеяны не только столетними платанами, но и многочисленными закусочными и кафе. Недалеко от Каркассона есть бретонская блинная под названием «Блинная шлюза». Меню неплохое, а вот примечания к нему просто замечательные:

**избыток алкоголя опасен для здоровья,*
** избыток законов опасен для свободы,*
** избыток политиков опасен для психики.*

В городе Сет, на входной двери одной из прекрасно вписанных в средиземноморскую природу вилл, есть такая надпись:

«ЗДЕСЬ ВОЗМОЖНОЕ уже осуществилось, НЕВОЗМОЖНОЕ осуществляется, ЧТО КАСАЕТСЯ ЧУДЕС — ПОДОЖДАТЬ 48 часов».

Вывод прост: всё, что можно было сделать, Вы уже сделали. Всё, что Вы предусматриваете сделать, уже делается. Что же касается чудес, доверьтесь жизни и продолжайте свой жизненный путь. Прекрасная интерпретация латинского изречения «Age quod agis», то есть «Делай, что делаешь».

Примечание: Все переводы с французского выполнены автором В. Г.

НЕСКУЧНО О СЕРЬЁЗНОМ

© Художник Елена Любович

Александр Соболев
(Россия, Москва)

Александр Львович Соболев — библиограф, коллекционер. Родился в г. Брянске в 1970 году. Учился в Московском университете. Занимается выращиванием экзотических растений, любительской ловлей хищной рыбы, воспитанием собак, путешествиями в заполярные области скандинавских стран. Автор нескольких книг по библиографии и истории литературы.

Русская литературная собака

Была ночь. За дверью послышался странный шум, как бы приглушенный топот, потом кто-то вроде бы принюхался, раздался скребущий звук, и дверь приотворилась. В чертоги русской словесности вошла собака. Просеменив мимо людской и ненадолго задержавшись в кухне, через анфиладу неосвещенных комнат она пробралась в дальние покои, где и устроилась, свернувшись калачиком, у ног писателя, расположившегося в кресле у камина. Он оторвал глаза от рукописи, взглянул на собаку и захохотал.

Русская литературная собака — это, прежде всего, звук. Классический бэкграунд деревенской жизни выписывается вокруг собачьего лая, как хор аккомпанирует солисту. «И ветер, нарушитель тишины, / Шумит, скользя во мраке вдоль стены; / То лай собак, то колокола звон / Его дыханьем в поле разнесен» (Лермонтов); «Вот лай собак с господского двора / И стук колес доносится до слуха» (Мей); «Наслаждайся в этом рае! / Слушай, музыка пошла: / Свинки хрюкают в сарае, / Лай собака подняла» (Никитин); «И слышно в тишине степной / Лишь лай собак да коней ржанье» (Пушкин). Собачье заливистое гавканье — признак близости человеческого жилья, символ нормального течения жизни. Странник, возвращающийся домой, еще издалека «…слышит псов домашних лай / И зрит отцов поля и домы / И нежных чад своих…» (Батюшков).

Но одновременно лай и, тем паче, вой — тревожный звук, предвестник беды, дурная примета. «Пугал нас лай собак, тревожил листьев шорох...» (Апухтин). Здесь играет свою роль непростая собачья генеалогия: сделавшись злейшим врагом волка, мирное домашнее животное внешне осталось на него довольно похожим. Особенно это сходство дает о себе знать ночью когда, так сказать, все собаки серы, тем более, что собачий вой неотличим на слух от волчьего. «К тому ж полночный вой собак / И страшный шум на чердаке высоком — / Приметы злые» (Лермонтов); «Сердито волновались нивы. / Собака выла. Ветер дул. / Ее восторг самолюбивый / Я в этот вечер обманул…» (Блок); «Собака воет безотрадно —

/ Весь город чьей-то смерти ждет» (Некрасов); «Только сердце страшно ноет, / Вызывая к жизни тени, / Да собака дико воет, / Чуя близость привидений» (Ап. Григорьев).

Эта трансцендентная деталь собачьего образа — чувствительность к явлениям мира, лежащего за пределами человеческого восприятия — сильнее всех ощущалась Гоголем, который, кажется, собак панически боялся. Собака, причем скорее даже собачья морда, — один из самых частых кошмаров, посещающих его героев. «Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, оборотившись в кошку, кинулась в глаза им. „Не бесись, не бесись, старая чертовка!" — проговорил Басаврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул». Чорт у Гоголя всегда имеет острую собачью мордочку и, более того, это единственная деталь его облика, которая всегда упоминается, как только он пожалует в повествование: «Дед объявил напрямик, что скорее даст он отрезать оселедец с собственной головы, чем допустит черта понюхать собачьей мордой своей христианской души», «Но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо…» и мн. др. Собачий вой у него неотличим от волчьего: «Ночь была адская. Волки выли вдали целою стаей. И самый лай собачий был как-то страшен». Ведьма принимает собачий облик, чтобы вредить людям: «Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака и воет так, хоть из хаты беги. <…> Однако ж думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось-либо перестанет выть, — и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а панночка». Похожее уподобление чорта и собаки есть, кстати, и у Пушкина: «Глядит она тихонько в щелку / И что же видит?.. за столом / Сидят чудовища кругом: / Один в рогах с собачьей мордой / Другой с петушьей головой» («Евгений Онегин»).

При всей своей настороженной нелюбви к собакам, Гоголь населил ими свои произведения как, кажется, ни один из русских писателей, не исключая вполне собаколюбивых авторов охотничьих рассказов. Даже когда само животное оказывается в тексте совсем уж не к месту, можно быть уверенным, что оно обоснуется там в качестве тропа. В «Тарасе Бульбе» нет, кажется, ни одной живой собаки, меж тем как в качестве ругательства они упоминаются более сорока раз — собаками титулуются и жиды, и поляки, и турки, и даже свой брат запорожец, чем-то не потрафивший персонажу. В «Мертвых душах» от собак просто не продохнуть. Мало того, что один из центральных героев носит прямо собачью фамилию, а разговор самых разных персонажей регулярно съезжает на собачью тему, но в какой-то момент псы заполняют буквально весь горизонт повествования: «Вошедши на двор, увидели там всяких собак, и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей:

муругих, черных с подпалинами, полово-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих... Тут были все клички, все повелительные наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Ноздрев был среди их совершенно как отец среди семейства; все они, тут же пустивши вверх хвосты, зовомые у собачеев правилами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. Штук десять из них положили свои лапы Ноздреву на плеча. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в самые губы, так что Чичиков тут же выплюнул».

Здесь, кстати, есть очень любопытный момент. В гоголевском призрачном мире чорт, собака и человек имеют обыкновение порой как-то смешиваться, раздваиваться, растраиваться и объединяться сквозь туман больного сознания. Вот эта антропоморфная нотка в описании собак, дребезжаще звучащая в описании ноздревской псарни, неоднократно появляется на периферии гоголевской художественной фантасмагории. В «Записках сумасшедшего» собачки не только разговаривали, но и переписывались («я изорвал в клочки письма глупой собачонки»).

В «Иване Федоровиче Шпоньке» псы встречают главного героя так: «Некоторые с лаем кидались под ноги лошадям, другие бежали сзади, заметив, что ось вымазана салом; один, стоя возле кухни и накрыв лапою кость, заливался во все горло; другой лаял издали и бегал взад и вперед, помахивая хвостом и как бы приговаривая: „Посмотрите, люди крещеные, какой я прекрасный молодой человек!”»

Похожая развернутая метафора — стая собак, как толпа людей — встречается и в «Мертвых душах»: «Между тем псы заливались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какое жалованье; другой отхватывал наскоро, как пономарь; промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно молодого щенка, и все это, наконец, повершал бас, может быть, старик, наделенный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе: тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и все, что ни есть, порывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувши небритый подбородок в галстук, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла».

Интересно, что когда дело в поэме уже движется к финалу, и обманутые вкладчики обсуждают истинное лицо Чичикова, одно из самых решительных предположений — о том, что под именем Чичикова скрывается Наполеон — также подается через собачью тему: «Несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображен разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку, и под

собакой разумеется Наполеон: „Смотри, мол, говорит, если что не так, так я на тебя сейчас выпущу эту собаку!" — и вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков». На фоне этой инфернальности собачьего образа весьма мягкие, хотя и идущие от самого сердца слова нашла для бедного животного одна из любимейших героинь Гоголя, добрейшая Пульхерия Ивановна из «Старосветских помещиков»: «Собака нечистоплотна, собака нагадит, собака перебьет все».

Вообще собаки подозрительно часто появляются рядом с тем местом, где происходит обман, хотя бы и невиннейший. В чувствительной «Барышне крестьянке» вся интрига завязывается при посредстве, хотя и бессознательном, «прекрасной лягавой собаки», принадлежащей Алексею. Собака лает, переодетая крестьянкой барышня пугается, Алексей ее успокаивает («Небось, милая», сказал он Лизе, «собака моя не кусается»), Амур, не без помощи Гермеса, точит свою стрелу. Песика, кстати, зовут Сбогар — не в честь ли одноименного героя Шарля Нодье, благородного разбойника устрашающей внешности, выдающего себя за другого?

Славно было бы протянуть отсюда ниточку к «Дубровскому», где, как помнит любезный читатель, движущей пружиной сюжета сделалось замечание некоего наглеца о том, что иным собакам живется получше иных дворян. Если принять это родство за очевидный факт, то окажется, что собаки, обман, благородные мстители и романтика переплетены в нашей лучшей прозе гораздо теснее, чем кажется на первый взгляд. Но, впрочем, вернемся к Гоголю.

Человеку, так истово не любившему собак, было некуда деваться от них в обыденной русской жизни. Не ездя в деревню, можно было избавиться от зрелища дворовых, сторожевых и охотничьих псов, но еще с XVIII века, если не ранее, непременным дамским аксессуаром сделались комнатные собачонки.

«Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит восьми гривен, то есть я не дал бы за нее и восьми грошей; а графиня любит, ей-богу, любит, — и вот тому, кто ее отыщет, сто рублей», — простодушно удивляется герой «Носа», но меж тем — сколько гривуазных и панегирических возможностей открывали для знающих людей эти сердечные привязанности дам и барышень! «Любима — хоть и неславна, / Собака — но судьбой своею / И люди б поменялись с нею... / Да поменяется ль она?» (Илличевский).

Этот же находчивый сочинитель, раз опробовав краткую собачью дорогу к сердцу красавицы, повторяет опыт: «Ни выкупа я, ни закладу / Меня нашедшим не даю, / Но, возвратив меня, в награду / Увидят госпожу мою» («На ошейник собачке») — отчего-то эти маленькие собачки все время норовили потеряться. И даже печальный повод — смерть мохнатой наперсницы — в умелых поэтических руках делалась изящным

поводом для самой изысканнейшей элегии: «О камены, камены всесильные! / Вы внушите мне песню унылую; / Вы взгляните: в слезах Аматузия, / Горько плачут амуры и грации. / Нет игривой собачки у Лидии, / Нет Амики, прекрасной и ласковой» (Дельвиг).

В эпоху надрыва и скандала собачонки, вместо того, чтобы украшать собой нежный быт веселых барышень, все больше перемещаются в зону влияния выживших из ума мегер с миллионными состояниями. «Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка. / Я гладил все его; как шелковая шерстка», — утверждает практичный Молчалин и, как всегда, знает, что делает. «Спасибо, мой родной», — отвечает Хлестова, мысленно переписывая завещание.

Не менее находчив и герой Достоевского: «Проехали мы к княгине, и я начал с того, что стал куртизанить с Мими. Эта Мими — старая, гадкая, самая мерзкая собачонка, к тому же упрямая и кусака. Княгиня без ума от нее, не надышит; она, кажется, ей ровесница. Я начал с того, что стал Мими конфетами прикармливать и в какие-нибудь десять минут выучил подавать лапку, чему во всю жизнь не могли ее выучить. Княгиня пришла просто в восторг; чуть не плачет от радости: „Мими! Мими! Мими лапку дает!" Приехал кто-то: „Мими лапку дает! Вот выучил крестник!" Граф Наинский вошел: „Мими лапку дает!" На меня смотрит чуть не со слезами умиления» («Униженные и оскорбленные»).

Меж тем, праздное и привольное положение домашних собачонок не раз становилось предметом остроумнейших писательских нападок. Незамысловатая параллель с миром людей — одни работают, пока другие возлежат на шелковых подушках — породила немало текстов, не способных, полагаю, обмануть самую тупоголовую цензуру, но позволявших авторам всласть и безбоязненно оттоптаться на идее собачьего неравноправия. «— За что ты в спальне спишь, а зябну я в сенях? — / У мопса жирного спросил кобель курчавый. / — За что? — тот отвечал. — Вся тайна в двух словах: / Ты в дом для службы взят, а я взят для забавы» (Вяземский). И — тот же самый незамысловатый парадокс описывается в басне Крылова «Две собаки» с моралью: «Как счастье многие находят / Лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!»

Здесь нотабене. Положение собаки особенное среди всех остальных домашних животных прежде всего потому, что человек ждет от нее труда (охраны) и удовольствия (охоты), но не прокорма, оттого невольно, как мы, может быть, увидим ниже, ассоциируя ее с самим собой. «Трудится и лошадь», — возразит педант и будет не вполне прав, поскольку лошадь все-таки осознается как субъект до известной степени съедобный. Животное сходных качеств — кошка, причем в ее случае функционал (ловля мышей) играет, по крайней мере, в литературе скорее добавочную роль. Четвероногие герои поэмы Полонского «Собаки», собирая союзников для восстания против людей, безрадостно перебирают кандидатуры из

ближайшего окружения: «Отчего нет кошек, лошадей, баранов? / Оттого что кошки служат у тиранов / И мышей им ловят; оттого что лошадь / Заперта в конюшне, а быки, бараны, / Свиньи, поросята и козлы — болваны, / Ретрограды, сволочь!..»

Сопоставление собак с людьми реализуется в нашей словесности по некоторым взаимоисключающим шаблонам. Это обусловлено прежде всего известным дуализмом самого собачьего поведения: правильно воспитанный пес истово предан хозяину, и при этом демонстративно враждебен и даже опасен чужим. То есть одно и то же зрелище заливающейся лаем псины с оскаленными клыками имеет прямо противоположное значение для владельца животного и для гражданина, пытающегося нарушить его покой.

В регулярно встречающихся панегириках собакам сюжет обычно выстраивается вокруг тем охраны и верности: «Тебя, Милорд! воспеть хочу; / Ты графской славной сын породы. / Встань, Диоген! зажги свечу / И просвети ты в том народы, / Что верности и дружбы нет / На свете более собачей. / Воззри, брехав на мир ходячей: / Как бочку ты, так кабинет / Стрежет мой циник без измены, / Храня в нем книги, письма, стены» (Державин; здесь изящно обыгрывается происхождение названия философской школы циников от греческого kyon — собака). Или: «Мой бедный, бедный Чур! Тобою надругались, / Тобою брезгали, а в дверь войти боялись, / Не постучавшися: за дверью ждал их ты!» (Мей). Взаимная верность собаки и героя (в т.ч. лирического) выдерживает испытание смертью: «…гроб твой освечу лучами, / Вкруг прах омою весь слезами. / А если строгою судьбой / И непреложным, злобным роком / Век прежде прекратится мой, / То ты в отчаяньи жестоком, / Среди ночныя тишины / Наполнь весь дом мой завываньем» (Державин). Более того, герой ощущает в своей жизни благожелательное присутствие давно погибшего пса: «Теперь ты стал еще любовнее ко мне: / Повсюду и везде охранником незримым / Следишь ты за своим хозяином любимым; / Я слышу днем тебя, я слышу и во сне» (Мей).

Сверхъестественным благородством и возвышенными способностями наделяется не только тень покойной собаки, но и ее изображение: «Казалось мне, собачка на меня / Смотрела будто с ласкою печальной. / Быть может, что она внутри меня / Любви читала повесть и жалела» (Огарев).

Таковы писатели-собачники, т. е. по крайней мере, люди, к собакам неравнодушные. Посмотрим теперь, как выглядят наши четвероногие герои с точки зрения людей, им не симпатизирующих.

Отметим занятную закономерность: собака-положительный герой — всегда одна, так сказать tête-à-tête с человеком. Собачья стая, даже собранная из различимых индивидуальностей, почти всегда ему враждебна. Отсюда регулярно встречающаяся метафора «стая собак=толпа

людей»: «И, как псов враждебных стая, / Чернь тебя обстала злая, / Издеваясь над тобой» (Баратынский). В переводе Бенедиктова из Барбье это нехитрое уподобление достигает какой-то античной размашистости: «Вдруг рог охотничий пустынного простора / Всю площадь огласил, / И спущенных собак неистовая свора / Со всех рванулась сил, / Завыли жадные, последний пес дворовый / Оскалил острый зуб / И с лаем кинулся на пир ему готовый, / На неподвижный труп». Речь здесь, если кто не понял, идет о французской революции.

Вторая расхожая отрицательная метафора — «собака (вариант — бешеная собака)=литературный критик, неблагосклонный к автору»: «Тут кто? — „Гречева собака / Забежала вместе с ним". / Так, Булгарин-забияка / С рыльцем мосьичим своим» (Воейков). Или: «Такую видел я собаку сам вблизи. / Навстречу мне она, худая, вся в грязи, / Шла, пробираяся по кочкам поля топким, / С опущенным хвостом, со взглядом злобно-робким, <…> Меж тем она мой ум — опасность чуть прошла — / На любопытное сближенье навела. / Не стану разбирать, счастливо ли и кстати ль, — / Мне вспомнился один наш публицист-писатель». (Жемчужников).

И, наконец, третий и последний вариант собаконенавистничества связан с уже встречавшимся нам у Гоголя восприятием собаки как порождения темных сил: «Немало чудищ создала природа, / Немало гадов породил хаос, / Но нет на свете мерзостней урода, / Нет гада хуже, чем домашний пес. <…> / Недаром Гете — полубог и гений, — / Не выносил и презирал собак: / Он понимал, что в мире нет творений, / Которым был родней бы адский мрак. / О, дьяволоподобные уроды! / Когда бы мне размеры Божьих сил, / Я стер бы вас с лица земной природы / И весь ваш род до корня истребил!» (Тиняков).

В приведенных примерах мы видали собаку добрую, собаку злую, собаку умную и собаку враждебную, но русская литература не была бы собой, если бы в ней не была широко представлена собака гонимая, униженная и оскорбленная. Иногда эта дребезжащая струнка возникает в проходном сопоставлении: «Так жил отец: скупцом, забытым / Людьми, и богом, и собой, / Иль псом бездомным и забитым / В жестокой давке городской» (Блок), или: «Ты гнал безжалостно меня — / К тебе я, злобному, ласкалась, / Как собачонка» (Баратынский), или: «Жаль мне себя немного, / Жалко бездомных собак. / Эта прямая дорога / Меня привела в кабак» (Есенин).

Иногда же она развертывается в целый душещипательный сюжет, как в самом, наверное, известном русском тексте на собачью тему — рассказе Тургенева «Му-му». То ли из-за того, что русские дети знакомятся с этим сочинением в впечатлительные годы, то ли из-за каких-то неявных свойств самого текста, но этот рассказ, отнюдь не принадлежащий к шедеврам И. С., накрепко вросся в небогатый пантеон общеупотреби-

тельных классических сюжетов. Писатель здесь, в точной аналогии с поступком своего героя, приносит несчастное животное в бессмысленную жертву общей идее, заставляя плакать многие поколения обладателей чувствительных сердец.

Как для Герасима не было никаких оснований топить бедняжку, раз уж он все равно намеревался оставить службу у вздорной барыни, так и у автора, для того, чтобы добиться горячего сочувствия к своему нелепому персонажу, не было прямой нужды увенчивать сюжет смачным всплеском. Но у дидактичного (особенно в малых формах) Тургенева мир дихотомичен, и отношения «хищник/жертва» таким образом возводятся в степень: Му-му — жертва Герасима, Герасим — жертва барыни, а вот саму барыню настигает уже небесная кара («впрочем, она скоро сама после того умерла»). Идея возмездия несовместима с happy end; в угоду выпуклости иллюстрации здесь принесено житейское правдоподобие сюжета.

Логика развития русской прозы середины — второй половины XIX века подразумевает расширение круга равноправных героев, являющихся в текст со своими монологами и, более того, своей точкой зрения на окружающий мир. Дотоле бессловесные получают умозрительную трибуну для описания своих микрокосмов. Очень точной иллюстрацией этого процесса служит пародийно пересказанный Достоевским сюжет поэмы одного из персонажей: «И наступает какой-то „Праздник жизни” на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чем-то один минерал, — то есть предмет уже вовсе неодушевленный» («Бесы»). Среди прочих, дотоле молчаливых свидетелей жизни, свой негромкий, но решительный голос на этом празднике полифонии получает и собака.

В хрестоматийной «Каштанке» Чехова человеческий быт увиден собачьими глазами — и насколько же он сразу делается бессмысленным, алогичным и печальным! Чеховский рецепт от всех скорбей известен и универсален: «Если бы она была человеком, то наверное подумала бы: „Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!”» Но к хвостатой героине автор оказывается более доброжелательным, приводя ее сначала в каморку дрессировщика, а потом, в ходе дебютного выступления в цирке — и к прежнему хозяину, неблагосклонному, но любимому.

Попутно, как зачастую бывает у этого автора, в тексте рассыпаны полунамеки, выводящие незамысловатую историю бродячей собачонки в какие-то надрывные метафизические глубины. Вот, например, у дрессировщика одновременно живут (и выступают на сцене) кот, гусь, свинья, а потом еще и собака. Но именно этот набор животных (с добавлением летучих мышей, которые уж никак не лезут в сюжет) обычно изображается в традиционной иконографии искушения Св. Антония в качестве воплощения бесов. Случайно это? Специально? Бог весть.

Пишу тебе, любезный друг

(стихи А.Соболева)

1. Пишу тебе, любезный друг

Пишу тебе, любезный друг.
Пока не виделись, вокруг
Пейзаж изрядно изменился.
Деревни вымерли. Туман
Иератический сгустился.
И, словно моль на доломан,
На подмороженный бурьян
Ниспали пышные снега.
Скрип-скрип дубовая нога.
Я наблюдаю через щель,
Как одинокий брат Кощей,
На белизну по-бабьи падкий,
Под наст прикапывает труп
Медведем задранной лошадки.
И льется песня медных труб
В такт шевеленью бледных губ:
«Не-да…» — он шепчет по слогам.
Скрип-скрип дубовая нога.
Кругом чащоба. В ней медведь.
Он не придет сюда. Он ведь
Зверок беззлобный, нелукавый.
Не углядит звериный взор
След чуть-чуть розовый, кровавый.
Надежен каменный забор,
И в круглосуточный дозор
Отправлен преданный слуга.
Скрип-скрип дубовая нога.

2. На поступление итальянского ученика в английскую школу

Дитя! У вашей колыбели
От чувств, переполнявших грудь,
Родители частенько пели,
Причем, отнюдь не что-нибудь,
А оперы Джузеппе Верди.
И с этих пор для вас, поверьте,
Все звуки чуждых языков —
Не более чем рев быков.

Здесь, где в трамвайной перебранке,
Идущей добрых полчаса,
Звучат Лауры и Петрарки
Божественные голоса;
Где мафиози желторотый,
Казня соратников неверных,
Вовсю цитирует «Inferno»,
Своей орудуя гарротой;
Где так устроены гортани,
Что, словно херувимский хор,
Смог залучить к себе собор
В Ферраре или Ватикане —

Я должен вас предостеречь:
Любая варварская речь —
Для мозга лишняя поклажа.
Английский? Вам не нужен он:
На нем хорошего не скажут,
А Байрон весь переведен.

3.

Сельпо закрыто. У плетня
Малину доедает тля,
Барсук бредет по огороду,
Где, победителен и рьян,
Вовсю бесчинствует бурьян,
Ни в чем не зная окороту.

Здесь аист ладит колыбель,
Гнездо пристроив на трубе,
На уцелевшее коленце
И, как Рахиль при лоне вод,
Оглядывает небосвод
В бесплодных поисках младенца.

Так вечность кормится с руки,
Имея форму не реки,
А леса, как во время оно,
Дробя пространство в лоскуты,
Вбивает в землю пгт
Волоколамского района.

4. Баден-Баден

Под небом, серым, как испод
Рубахи, что торчит из-под
Средневекового кафтана,
На берегу термальных вод
Больные водят хоровод
У неизбежного фонтана.
Двойное имя — не пустяк:
Кому шестерки на костях
Не выпадали парой сроду,
Не быть воспринятым всерьез
В окрестностях реки Оос,
Среди везучего народа,
Ломящегося в казино,
Которых здесь как грязи, но
Не в каждом объяснят с ухмылкой,
Как здесь метала банк рука,
Что написала «Игрока»
И нечто о натуре пылкой.

5. Памяти К. П.

«Подруга дней моих суровых...» и так далее…
Сказать ли прямо? Дорогая Делия!
За тыщу верст зайдя на север от Италии,
Забравшись в зону озорного земледелия,
Я думал, что я знаю все, но вот поди ж ты:
По льду в одну и ту же реку входишь трижды.
Я прочитал о них немало в Олеарии,
Хоть он добряк и лгун, как свойственно католикам.
Их равнодушные зеленые и карие
Следят за мною, как удав следит за кроликом.
Остаться одному или с тобою вместе
Мне суждено не раньше, чем в Триесте.
Чернила смерзлись, а перо скрыпит и тупится,
Согреть персты не в силах больше на лампадке я,
Хромеет лошадь и потрескивает ступица,
И провожатые до денег слишком падкие.
Ах, проклинаю этот день и час, в который
Я взял билет в гиперборейский скорый!»
Я этот почерк разбираю, как свой собственный,
Водя по строчкам дневника тщедушным лучиком,
Просматривая микрофильм покоцанный
В архивном зале на ул. Юлиуса Фучика.
В стране, чей паспорт у меня в кармане, я
Не чувствую себя иначе как лазутчиком.
Но где мне родина, и в чем мое задание?

Валерий Байдин
(Франция)

Валерий Викторович Байдин — культуролог, писатель, доктор русской филологии. Родился в Москве. В начале 1990-х годов уехал из России, учился в Швейцарии и Франции. Специалист по русскому модерну и авангарду, преподавал и читал лекции в университетах Нанси, Нормандии, в Сорбонне. Автор романа «Сва» (М., «Русский Гулливер», 2012; финалист «Русской премии» 2012 г. и Бунинской премии 2013 г.), повести Неподвижное странствие (Знамя, №11, 2013), монографии L'archaïsme dans l'avant-garde russe. 1905—1945 (Lyon, 2006), стихотворного сборника Patrie sans frontières. (Paris, 1996), а также около двух сотен эссе и научных статей на русском, французском и др. языках о русской художественной культуре — от архаики до советского андеграунда. Публиковался в советских, российских и французских журналах, сборниках, альманахах, на интернет-порталах: Аврора, Декоративное искусство, Искусство, Литературная учёба, Наука и жизнь, Огонёк, Простор, Урал, Новая Юность, Поэзия, Русский Ежегодник, Русский Мир, Затесь; Revue des Études slaves (Paris), Arts Nouveaux (Nancy), Modernités russes (Lyon), Cahiers da la Recherche en sciences humaines. REGENS (Caen), Figures du double dans les littératures européennes, (Lausanne, L'Âge d'Homme, 2001), в газете Русская Мысль (Париж) и др. Проживает во Франции и в России.

Религиозная поэзия Александра Чижевского

Вера и научный гений соединялись в творчестве многих выдающихся учёных Средневековья и Нового времени. Физические и астрономические открытия XX столетия, полностью изменившие картину мира, сделали этот феномен ещё более зримым. Он характеризует духовный облик Альберта Эйнштейна и Макса Планка, Антуана Беккереля и Пьера Тейяр де Шардена, Макса Борна и Вернера Гейзенберга, Павла Флоренского и Ивана Павлова. Имя выдающегося биофизика, основоположника космического естествознания Александра Леонидовича Чижевского (1897—1964) следует отнести к этой же замечательной плеяде мыслителей. Почти неизвестным фактом его биографии остаётся осознанная религиозность, наилучшим свидетельством которой является поэзия учёного. Трудно поверить, что этот блестящий учёный начинал творческую жизнь как талантливый художник и поэт.

Писать стихи Чижевский начал в возрасте 9—10 лет, тогда же проявилось его влечение к живописи. В 1904—1905 годах в Париже он учился

© А.Л. Чижевский в рабочем кабинете. Москва, Тверской бульвар, 1938 г.

акварельному рисунку под руководством Гюстава Нодье, ученика Эдгара Дэга. Посещал Лувр, Люксембургский музей, Осенний салон художников и другие выставки. Знакомство с шедеврами мировой живописи, сама атмосфера «столицы мирового искусства», помогли сформироваться художественным способностям и вкусам талантливого и восприимчивого мальчика. «С раннего детства я страстно полюбил музыку, поэзию и живопись, — вспоминал учёный, — и любовь эта с течением времени не только не уменьшалась, а принимала все более страстный характер, даже тогда, когда корабль моих основных устремлений пошел по фарватеру науки».

Родословная Чижевских восходит к польскому графу Яну Казимиру Чижевскому, бежавшему в Россию в XVI веке. Отец, А. В. Чижевский, офицер артиллерии и специалист по баллистике, дослужился до чина генерала. Мать, Н. А. Невиандт, происходила из старинного голландского рода, переселившегося в Россию во времена Петра I. Через год после рождения единственного сына, она заболела туберкулёзом и умерла в курортном городке Ментон, на юге Франции. Мальчика воспитывала тётя, О. В. Лесли-Чижевская, ставшая ему второй матерью, и две бабушки: обрусевшая француженка А. П. Невиандт-Дельсаль и Е. С. Чижевская, урождённая Облачинская. По признанию Чижевского, именно эта бабушка, двоюродная племянница адмирала Нахимова, прекрасно образованная, хорошо

знавшая историю и иностранные языки, стала его первым учителем. Домашнее образование включало в себя изучение истории, географии, иностранных языков и ряда научных предметов, с основами которых его знакомил отец, а также традиционную для русской интеллигенции тех лет религиозность. В одном из юношеских двустиший Чижевский сформулировал своё кредо, которому не изменял до конца дней:

Все истины просты; простого же очень немного:
В колодезь не плюй и имей обязательно Бога!

1915

В 1913 году он вместе с семьёй поселяется в Калуге, поступает в реальное училище Ф. М. Шахмагонова, начинает «научные исследования» в маленькой домашней физико-химической лаборатории, но искренне считает себя поэтом. С 1915 года на протяжении нескольких лет публикует в калужских газетах рассказы, стихи, очерки, рецензии на книги. Границы его поэтического мировосприятия стремительно расширяются под влиянием «вселенского пафоса» русского символизма. В юношеских стихах восторженного «солнцепоклонника» наряду с мотивами любовной лирики, созерцательности и «декадентского» одиночества бьётся глубокая мысль. В те годы Чижевский создаёт стихотворение «Гиппократу», одно из самых ярких произведений русского «поэтического космизма» начала XX века:

Для нас едино все; и в малом, и в большом,
Кровь общая течет по жилам всей Вселенной...

Обращаясь через тысячелетия к великому античному мыслителю, врачу и естествоиспытателю, он пишет:

Мы дети космоса, и наш родимый дом
Так спаян общностью и неразрывно прочен,
Что чувствуем себя мы слитыми в одном,
Что в каждой точке мир — весь мир сосредоточен...
И жизнь, повсюду жизнь — в материи самой,
В глубинах вещества — от края и до края
Торжественно течет в борьбе с великой тьмой,
Страдает и горит, нигде не умолкая.

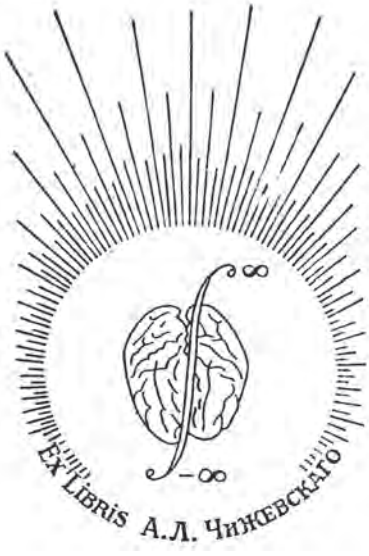
Гиппократу, Калуга, 1915

Некогда увиденную Тютчевым «живую колесницу мироздания» Чижевский воспринимает как «родимый дом». Русская философская лирика, идеи античного гилозоизма, уитменовский «космический оптимизм» становятся основой величественных поэтических образов.

Первым сборником Чижевского явилась отпечатанная в 1915 году на средства автора книжка с несколькими десятками ранних, ещё весьма не-

зрелых стихотворений. Осенью того же года он поступает вольнослушателем в Московский археологический институт, готовит магистерское сочинение «Русская лирика XVIII века», что свидетельствует о серьёзном интересе к поэзии. На несколько лет Чижевский погружается в столичную жизнь, в стенах знаменитого Московского литературно-художественного кружка знакомится с маститыми поэтами и писателями: Иваном Буниным, Валерием Брюсовым, Игорем Северяниным, Алексеем Толстым, Леонидом Андреевым, Александром Куприным...

После революции, захваченный вихрем романтических надежд, Чижевский публикует в Калуге в январе 1918 года литературный манифест «Академия поэзии», в котором утверждает смысловое единство поэзии, науки и веры: «Поэзия <...> есть постигнутая истина», «поэтическое искусство на высших ступенях своего развития подходит к глубочайшим проблемам бытия». В модных литературных кафе Москвы и Петербурга — «Стойло Пегаса», «Домино», «Бродячая собака» — Чижевский на время сближается с «левыми» кругами творческой молодежи. Отдавая дань времени, в 1918—1919 годах пишет несколько футуристических стихотворений, знакомится с Маяковским, Пастернаком, Мариенгофом, Шершеневичем, но вскоре от них отходит: литературные эксперименты русского авангарда оказываются ему чужды. Чижевского влечёт поэзия смысла, заветы поэтического «любомудрия» XIX века. Продолжателями этой традиции он считает русских символистов, пытается отстоять их наследие в полемике с акмеизмом — единственным, по его мнению, достойным тогдашним противником. В 1919 году в Калуге выходит новый поэтический сборник Чижевского с почти тремястами стихотворениями. Вопреки лидеру акмеистов Николаю Гумилеву, который некогда отверг попытки символизма познать «непознаваемое», которое «по самому смыслу этого слова нельзя познать», Чижевский в предисловии к сборнику настаивает: «На долю истинного поэта выпадает величайшая задача — постичь непостижимое, недоступное никаким измерениям и формулам».



© Автоэкслибрис Чижевского. Офорт, 1914 г.

После выхода «Тетради стихотворений», к Чижевскому-поэту начинают всерьёз присматриваться. В его творчестве чувствуется высокая стихотворная культура, привлекает особая поэтика в восприятии мира. Научную мысль и художественное вдохновение он стремится облечь в строгие формы, таков его сонет «Солнце»:

Великолепное, державное Светило,
Я познаю в тебе собрата-близнеца,
Чьей огненной груди нет смертного конца,
Что в бесконечности, что будет и что было.

В несчётной тьме времён ты стройно восходило
С чертами строгими родимого лица,
И скорбного меня, земного пришлеца,
Объяла радостная, творческая сила.
В живом, где грузный пласт космической руды,
Из чёрной древности звучишь победно ты,
Испепеляя цепь неверных наших хроник, —

И я воскрес — пою. О, в этой вязкой мгле,
Под взглядом вечности ликуй, солнцепоклонник,
Припав к отвергнутой Праматери-Земле!

1919

Неизменно чувствуя себя «под взглядом вечности», Чижевский, учёный и поэт, ничуть не пытается отгородиться от времени, затвориться в «парнасской» башне из слоновой кости. Ему скорее близок завет символиста Вячеслава Иванова о соединении в творчестве «родного и вселенского». На страну обрушиваются чудовищные испытания, удвоенные массовым террором революции и гражданской войны. В черновых тетрадях Чижевского остаются стихотворные строчки, окрашенные сильнейшими религиозными переживаниями. Вот отрывок из его «поэтического дневника», беглая запись скорбных мыслей о происходящем и свидетельство неколебимой душевной стойкости, веры и надежды:

Немало нам горя
Терпеть остается,
Немало нам крови
Испортить придется,
Немало изжить нам
Придется тревог, —
Но с каждою болью
Душа возродится,
Но с каждым страданьем
Наш мозг просветится,
Но с каждой слезою
К нам близится Бог!..

1919

И всё же Чижевский — прежде всего поэт мысли. Для него истинная поэзия является вместилищем высшей формы сознания, «могущего всех охватить своим интуитивным откровением о Вечности...» Он убеждён:

к истине разными, но близкими путями ведут и научное познание, и художественное вдохновение, дополненное религиозной интуицией. Все последующие годы напряжённой научной работы литературный дар и блестящая образованность помогают Чижевскому облекать свои идеи в выразительные стихотворные формы. Такое, на первый взгляд, странное желание объясняется его особым взглядом на природу познания: «Внутреннее зрение <…> — это то самое, что отделяет мир гения от мира обыкновенного человека. Это два разных мира. Гений — всегда впереди своих современников. Не прибегая к каким-либо приборам, он видит несоизмеримо дальше их, слышит несравненно больше. Приборы служат для подтверждения и уточнения его догадки». По Чижевскому поэтическое откровение нередко предшествует научному открытию, поскольку имеет с ним общую, религиозно-мистическую природу.

Стихотворение «Тождество мира» передаёт его глубокую, идущую от античной мысли, уверенность:

Там, в бесконечности миров,
Есть жизнь, есть звери, гады, люди,
У коих бьется сердце в груди...
Об этом спорить я готов!

Поэтический текст насыщен архаизирующими рифмами в духе поэзии XVIII века («однообразны — разны», «люди — груди»), церковнославянизмами («чертог», «гады», «грядет») и явственно перекликается со знаменитой державинской одой «Бог»:

Для нас, для них — один чертог —
Торжественный, закономерный,
И в бесконечности безмерной
Единый строй, единый Бог!

1919

Бог для Чижевского — это «живое начало» Вселенной, бессмертный источник энергии, называемой «любовью»:

В душе человека —
Он вечно — единый,
Он вечно — бессмертный
В любви пребывает.

На волнах эфира, 1920

В стихотворении «Песнь о солнечном луче» возникают неожиданные образы: солнце — это «Отец наш небесный — божественный солнечный лик», оно подобно иконе, блистающей в иконостасе бессмертных, ставших «звёздными» душ, или небесному храму, чей «рассветный, торжественный звон» каждое утро доносится до земли. В космической беспредельности обитает незримый и непостижимый, «вселенский, таинственный Бог»:

И пели о пламенном Солнце в тот мир отошедшие души,
Сливаясь в златые гирлянды и кинув телесный порог,
И пели о Солнце просторы великой, недвижимой суши,
И хору всемирному вторил вселенский, таинственный Бог!

1919

Чижевскому чужд научный агностицизм, он не отвергает христианскую доктрину, пытается совместить религиозные представления о Вселенной, о природе человека, его жизни и смерти с положениями современной науки. Как истинный учёный он понимает, что научные методы не всегда приводят к искомому результату: «Есть явления, не поддающиеся опыту. И вот тогда на помощь к нам приходит творчество образов». Для него поэт — это служитель разума, «с помощью углублённого мышления и творческой фантазии» он способен «проникать, не покидая строго научной почвы, туда, куда не достигает самый совершенный, непосредственный опыт — в подлинные, сокровенные глубины природы». Такую цель перед собой никто из русских поэтов никогда не ставил, но Чижевский пытается доказать ее осуществимость. В 1919—1921 годах он создаёт ряд проникнутых «научно-художественным» мироощущением, замечательных по смысловой яркости стихотворений: «Солнце», «Закон», «Галилей», «Melancholia»... В его «философии пейзажа» видимый, чувственно постигаемый мир предстаёт как малая часть Вселенной, воспринимаемой «внутренним зрением» ученого, художника и поэта:

О, присмотрись внимательней к Земле
И грудью к ней прильни всецело,
Чтоб снова в зеленеющем стебле
Исторгнуть к Солнцу дух и тело!
В тревожных человеческих сердцах
И в нежной немоте растений
Восходит к жизни придорожный прах,
Сверкая в бездне воплощений.

Вещество, 1921

Глубину мысли, лиризм и выразительность лучших поэтических произведений Чижевского высоко ценят корифеи русского литературного Олимпа. В 1920 году Брюсов и Вячеслав Иванов при поддержке Луначарского утверждают Чижевского в должности литинструктора Калужского подотдела ЛИТО Наркомпроса. Его избирают Председателем Калужского губотдела Всероссийского союза поэтов. Перед Чижевским открывается литературная карьера. Он становится известен в столичных поэтических кругах. В 1921 году, в ответ на подборку стихов, Вячеслав Иванов пишет: «Я получил истинное наслаждение от чтения Ваших стихотворений и могу смело предсказать Вам блестящую будущность лирического поэта». Спустя год Валерий Брюсов ободряет: «Разнообразие тем и форм Ваших стихотворений, звучание рифм и всего стиха в целом делают Вас одним из замечательных мастеров нашего времени». Позже, в начале 1930-х годов, маститый Алексей Толстой отметит в письме к учёному: «Никто из современных нам поэтов не передает

лучше вас тончайших настроений, вызванных явлениями природы. <…> Я не буду касаться других Ваших более чем удивительных по содержанию и по виртуозному исполнению стихотворений...»

Поэзию Чижевского, пронизанную глубокими философскими и религиозными интуициями, приветственно отмечают, пожалуй, наиболее близкие ему по духу современники. Максимилиан Волошин в 1927 году шлёт восхищённый отклик: «Болезнь помешала мне тотчас же ответить Вам и выразить свой восторг. Ваши десять стихов меня просто поразили…» Священник Павел Флоренский точно угадывает суть поэтических устремлений Чижевского: «…содержание Ваших стихотворений часто так неожиданно и ново по своему проникновению, что может быть рассмотрено как своего рода поэтическое открытие. Этим владеют лишь лучшие поэты мира. Дай Бог Вам полного совершенства!»

Отрываясь от научных экспериментов и теоретических трудов по космобиологии, в течение нескольких лет, фактически до переезда в Москву в 1925 году, Чижевский руководит в Калуге местным отделением Союза поэтов, готовит к печати (составляет и редактирует) журнал «Искусство и наука», «который не вышел в свет исключительно благодаря ряду технических и финансовых затруднений». Он находит время для посещения калужского «литературного салона» А. И. Хольмберг, внучки Л. Н. Толстого, и музыкальных вечеров Т. Ф. Достоевской, внучатой племянницы Ф. М. Достоевского, поддерживает связи с местными поэтами В. Королевым, Н. Зайцевым, В. Фирсовым, М. Мятковским.

Стихотворение «Вещество (Благословение)» становится одним из лучших выражений религиозно окрашенного «космизма» Чижевского. «Бездна воплощений» живой материи, непостижимая тайна этой носительницы человеческого разума, круговорот жизни и смерти, из которого душа вырывается «к дальней звезде», — всё обретает великий смысл:

В земную грудь, где тихо и темно,
А не в эфирные просторы
Проникнешь ты — последнее звено, —
Судеб свершая приговоры.
О, присмотрись внимательней к Земле,
И грудью к ней прильни всецело,
Чтоб снова в зеленеющем стебле
Исторгнуть к Солнцу дух и тело!
В тревожных человеческих сердцах
И в нежной немоте растений
Восходит к жизни придорожный прах,
Сверкая в бездне воплощений.
Благословим же дальнюю звезду
И горсть своей земли печальной!
Родители, я вечно к вам иду,
Как к истине первоначальной.

1921; испр. В 1953

По стране уже который год катится вал большевистского террора. В Калуге, как и везде, свирепствуют «чрезвычайки», арестовывают, лишают имущества и жилья представителей «бывших классов». Чижевский вместе с семьёй чувствует приближение грозных испытаний, но отказывается склониться перед диктатурой страха. В те годы он пишет стихотворение, которое становится его жизненным девизом и одновременно — предчувствием тяжелейшей судьбы:

Жить гению в цепях не надлежит,
Великое равняется свободе,
И движется вне граней и орбит,
Не подчиняясь людям, ни природе.

Великое без Солнца не цветёт:
Происходя от солнечных истоков,
Живой огонь снопом из груди бьёт
Мыслителей, художников, пророков.

Без воздуха и смертному не жить,
А гению бывает мало неба:
Он целый мир готов в себе вместить,
Он, сын Земли, причастный к силе Феба.

1921; испр. В 1943

Братоубийственная война затихает, отступает на далёкие окраины, в марте 1921 года большевистская власть отказывается от мрачной утопии «военного коммунизма». Чижевскому вместе со всеми хочется верить, что жизнь страны, наконец, возвращается в прежнее русло, и её больная душа начинает обретать покой. В стихотворении «Возвращение» у него вырываются слова благодарения и надежды:

Душа цветет весенним цветом,
Благословляя Божий мир,
Поэт становится поэтом
И дарит солнечным сонетом
Ему внимающий эфир.

Все претерпев, изведав страсти
И бури жизненных тревог,
Душа-корабль спускает снасти
И остается вновь во власти
У тихих сфер, где слышен Бог.

1921

Увы, новая власть даёт измученному народу лишь непродолжительную передышку. В течение 1920-х годов революционный террор не столько слабеет, сколько меняет формы, совершенствуется, и вскоре «советская система» превращается в тоталитарную машину подавления

© На даче в Каратово. За мольбертом, лето 1939 г.

любого инакомыслия. Годы повальных сталинских репрессий среди интеллигенции проходят для Чижевского в непрерывном ожидании ареста. Слишком плохо он вписывается в действительность, но, понимая это, не может перестать быть самим собой, продолжает заниматься наукой, рисовать, писать стихи. Даётся это ему огромными усилиями. Период тяжелейших испытаний стоит Чижевскому потери здоровья, у него начинаются хронические расстройства сна, которые не прекратятся до конца жизни. К этому добавляются ужасы начавшейся войны:

<…> и снова ночь тяжка:
Не размотать души упорного клубка,
И воспаленный мозг уснуть никак не может
И ночи черноту сверлит, пытает, гложет.

Мне чужд и труден день, 1941

Он предельно осторожен, но вокруг полно провокаторов, доносы пишутся из зависти, из пустой злобы. В конце 1941 года семья Чижевских

едет в эвакуацию на Урал, поселяется в Челябинске. Соседи по квартире пишут на него в НКВД… В январе 1942 года учёного арестовывают. Несмотря на абсурдность обвинений, осуждают на восемь лет лагерей. Как политического преступника, якобы «за восхваление царского строя». Почти год он отбывает срок в челябинской тюрьме, затем в Ивдельлаге Свердловской области, потом на научной «шарашке» в подмосковном Кучино, а с 1945 года — в казахстанских Карлаге и Степлаге.

Чижевский давно предчувствует этот страшный удар. Для идеологов социализма он «внутренний эмигрант» — опасный «элемент» сталинской системы, подлежащий безжалостной «перековке». Всеми силами он противостоит судьбе, в гулаговском аду не угашает мысль, не утрачивает способности к творчеству: «В первые месяцы пребывания в тюрьме и в лагерях я не мог заниматься наукой. Меня спасала поэзия», — напишет он впоследствии.

В заточении Чижевский создаёт стихотворение, звучащее как клятва:

Все приму от этой жизни страшной —
Все насилья, муки, скорби, зло.
День сегодняшний, как день вчерашний,
Скоротечной жизни помело.

Одного лишь принимать не стану:
За решёткою темницы — тьму,
И пока дышать не перестану,
Не приму неволи — не приму.

Все приму от этой жизни страшной, 12 апреля 1943

По свидетельству очевидцев, он категорически отказывался пришивать к своей лагерной одежде номер, несмотря на карцер, избиения и издевательства сокамерников, и, в конце концов, даже начальник лагеря вынужден был согласиться с его протестом. Это было неслыханное исключение из правил, и все остальные зэки восторгались его поступком. Да, Чижевский отличался от обычных заключённых. Статус крупного учёного и изобретателя дал ему возможность выжить и отчасти остаться самим собой, вести научную работу, рисовать и писать стихи. И всё же трудно представить, каким образом в пыточном лагерном воздухе Чижевский находит силы творить. Посреди горчайших страданий его поэтический дар переживает небывалый взлет. В Челябинске, Караганде, Ивдельлаге в течение одного лишь 1943 года он создает несколько десятков замечательных стихотворений. Некоторые из них следует отнести к числу шедевров русской поэзии середины XX века. По жанру это философская, религиозная, пейзажная лирика…

Создаваемые Чижевским поэтические картины природы наполнены шелестом листвы, запахами сада и поля, ветрами южного моря. Чижевского, учёного и художника, завораживает небесный свет и его непрекращающиеся вибрации, ежесекундно преображающие видимый мир. Рисунки выявляют мгновенно запечатленную в веществе энергию космоса. Тот же, переосмысленный импрессионизм присущ его стихам:

Трепещет полумрак. Жемчужный свет небес.
Как паутина сон. Овраги и поляны
Еще наполнены виденьями чудес,
Деревья и кусты одушевленно-странны.

Как запоздала ночь! Не поймана едва:
Мистерия идет и совершает в дрёме
Свои деяния. Проснулась лишь листва
И терпким трепетом тревожно будит время.

Начало рассвета, 1940; испр. В 1943

Лагерное стихотворение «Пейзаж», посвящённое Тёрнеру, звучит как воспоминание о русской поэзии начала XX века, стихах Брюсова и Анненского:

Магия незримых переходов
Мглы туманной над землей весенней,
Огненное золото заходов,
Музыка тончайших светотеней.

1943, Ивдель

Философско-исторические стихотворения Чижевского — «Архимед», «Плиний Старший», «Смерть Бетховена», «Лобачевский» — созданы мастером интеллектуальной поэзии, мыслителем, ученым-энциклопедистом. Иными, нежели в предыдущие десятилетия, предстают образы творцов отечественной и мировой истории, культуры, науки. Они являют собой духовную вершину мироздания — облик истинного человека, носителя разума и «богоподобной гениальности». В поэзии Чижевского подспудно возникает тема противостояния гения безумию властителей, слепому и жестокому насилию. Человеческая история предстаёт цепью бессмысленных разрушений, террор революции и сталинизма свидетельствует об этом с особой силой. По-видимому, в 1943-м году, в лагере он дописывает последнюю, весьма красноречивую строфу к своему давнему стихотворению:

Богоподобный гений человека
Не устрашат ни цепи, ни тюрьма:
За истину свободную от века
Он борется свободою ума.

Галилею, 1921

В поэзии учёного всё сильнее звучат христианские мотивы. Мольба и надежда страждущего избавления человека («Легенда о Чемном море», «Господь меня святой любовью…», «Франциск Ассизский и волк», «Достоевский») сменяется отчаянием и ропотом («Кроме насилия нет в мире ничего!», «Гемонии», «Гог и Магог», «Содомские яблоки»), ожиданием гибели непоправимо падшего мира («Последний катаклизм», «Заклинание воды», «Искупление»), наконец, жаждой собственной, освобож-

дающей душу кончины («Моя звезда», «Влечение», «Распад», «Mare Tenebrarum», «Гимн смерти. Египетский папирус»).

И всё-таки суть мировоззрения и поэтического пафоса Чижевского — в оправдании необъяснимого, кажущегося всё более абсурдным, бытия. Постичь его смысл наука не в состоянии. Вселенная бесконечна и потому непознаваема. Земная история не имеет разумной цели. Все усилия человеческого ума дают лишь приблизительную картину мироздания… Но мысль — высшая функция жизни — нематериальна и бессмертна. Телесная кончина не ставит ей пределов. В стихотворении «Утро в пути» Чижевский использует столь свойственный религиозной мысли образ странника, верит и убеждает, что земной путь души продолжается за пределами нашей планеты:

В дремотной дымке дальние леса.
Чуть розовеет купол небосвода.
Жемчужных облаков всплывает полоса,
Приоткрывая дверь сияющего входа.

И хочется идти все дальше, все скорей,
Быть от земли все легче, все свободней,
И, наконец, достичь тех голубых дверей,
Которые ведут в великий дом Господний!

История для Чижевского — синоним вовсе не памяти, а забвения. Неотвратимо и почти бесследно исчезают свершения великих людей, блекнут имена героев и гениев. Личность человека спасает от небытия лишь вызвавшая её к жизни высшая воля — равнодействующая бесчисленных космических сил, мудрое и любящее «живое начало» Вселенной:

А растворимся мы, как соль в безмерном море, —
В равноблаженной Божьей благодати.

1943

Действительность является человеку в окружении спасительных для разума тайн, мера жизни всем живым отмеряется свыше:

Да, мера жизни — это мера Бога
И вечно недоступная нам тайна.

Мера жизни, 1943

Конечность человеческого бытия загадочна. Почему хрупкие, почти эфемерные живые организмы на вершине своей эволюции рождают еще более непостижимое начало: бессмертную мысль? Религиозность Чижевского ярчайшим образом выявляет его понимание religio — вселенской связи бесчисленных элементов мироздания. Вера — это высшая функция разума, его гениальная интуиция, в которой пульсирует энергия бытия: у него есть разные формы, но нет пределов. Земная жизнь неуклонно идет к точке «омега», к своему началу, и в «конце времён» для всех и каждого остаётся лишь создавшее мир библейское Слово:

В начале бе Слово
Всё падёт в поток времён!
Уцелеет только Слово
От всеобщих похорон
Необъятного былого.

Слово, 1943

Эта вера помогает Чижевскому преодолеть отчаяние. Ропот безвинно страдающего узника сталинских лагерей сменяется принятием тяжелейшей судьбы. В стихотворении «Примиренье» Чижевский вовсе не вторит Пушкину, говоря о неумолимой «телеге жизни», мысли поэта «тонут в бесконечном Боге», он чутко ловит встречное дуновение духа, ищет высшей гармонии со Вселенной, с вечностью:

Катись, катись, родимая телега,
По древней, по просёлочной дороге.
С небес следит мерцающая Вега,
А мысли тонут в бесконечном Боге.
И вдруг душа, озлобясь, негодует
На этот мир... Но, исходя в томленье,
Вновь остывает... Свежий ветер дует
Навстречу мне! О, сладко примиренье!

1917; испр. В 1943

Есть нечто общее в поэтическом творчестве Чижевского и позднего Николая Заболоцкого. Их, узников Гулага, сближает не только сходство судьбы, но и философичность мировосприятия, глубинное понимание жизни природы, обращение к темам отечественной и мировой истории, культуры, к внутреннему миру человека. Сходными оказываются и нравственные позиции: просветленный взгляд на жизнь, мудрый стоицизм, сочувствие к ближнему. Одно из четверостиший Чижевского, написанное в челябинской тюрьме, звучит, как мудрое раздумье:

В смятенье мы, а истина — ясна,
Проста, прекрасна, как лазури неба:
Что нужно человеку? — Тишина,
Любовь, сочувствие и корка хлеба.

1942

Лишь в 1958 году Чижевскому, просьба которого о реабилитации дважды отклонялась, разрешают вернуться в Москву. Он поселяется с женою в однокомнатной хрущёвской квартирке на первом этаже и все силы отдаёт публикации своих исследований, работает над мемуарами, воспоминаниями («Годы дружбы с К. Э. Циолковским», «Мои встречи с А. М. Горьким» и др.), стихи пишет лишь изредка, хотя до последних дней чувствует себя не только учёным, но и поэтом.

Созерцая, словно из беспредельности огромную, панораму мировой культуры и размышляя о труднейшей судьбе, на которую почти всегда

© Н. Григорьев. Портрет А. Чижевского в ссылке. Ивдель, 1946 г.

обречен истинный талант, Чижевский в одном из стихотворений сравнил планетарный «свет Земли» — этот отраженный свет Солнца — с горением духа великих, но не замеченных современниками мыслителей, учёных, художников, поэтов. Они творят вопреки всему. Не ради славы, а во имя созидания:

<…> и мысли свет летит к открытым небесам,
Не находя себе признания земного.

Восхождение

Чижевский имел слишком много оснований отнести эти слова к себе. Подлинное признание его многообразных заслуг перед мировой наукой произошло лишь в последние десятилетия. Литературно-поэтическое наследие этого яркого представителя поэтических традиций «Серебряного века», его религиозную лирику ещё предстоит оценить в полной мере.

Март 2014 года, Нормандия

Марина Мохначева (1952—2014)
(Россия, Москва)

Марина Петровна Мохначева скоропостижно скончалась 16 октября 2014 г., в самом разгаре работы над книгой, главным автором и редактором которой она была, и отрывки из которой любезно предоставила для публикации в нашем альманахе.

Мы счастливы и горды тем, что нам довелось общаться с Мариной Петровной во время недолгой, но крайне насыщенной деятельности по подготовке её работы к печати. Светлый и необыкновенно доброжелательный человек, с энтузиазмом воспринявший наше сотрудничество, Марина Петровна останется не только в памяти многих друзей и коллег и не только на страницах нашего альманаха. Книга её, завершённая с любовью, войдёт в Золотой фонд русскоязычной исторической литературы и одарит знанием и добротой не одно поколение исследователей и любителей.

Светлая память!

Биография Марины Петровны:

Коренная москвичка, родилась в 1952 году в семье военнослужащего. В 1975 г. Окончила Московский государственный историко-архивный институт (МГИАИ). С 1979 г. преподает в МГИАИ — ИАИ РГГУ. Профессор Кафедры истории России Средневековья и Нового времени. Кандидат исторических наук (1979), доктор исторических наук (1999).

Автор более 350 научных публикаций по истории, источниковедению историографии, истории российской науки и культуры, в том числе ряда учебных пособий и монографий. Наибольший резонанс получила ее монография «Журналистика и историческая наука в России» (В 2-х кн., М., 1998—1999). Подготовленное ею справочно-библиографическое издание «Русский иллюстрированный журнал. 1703—1941» [каталог на рус. и англ. яз. — 775 статей с 531 илл. из 165 журналов] (М: «Агей Томеш», 2006) — получило Первую премию Международной книжной ярмарки в Лейпциге в 2007 г.

Член Союза краеведов России, член Международной ассоциации психологов «INFAD» (Испания). Председатель Российского отделения Международного фонда «Familias Mundi» (Испания).

+++ Марина Петровна Мохначёва скоропостижно скончалась 16 октября 2014 г., когда настоящий номер готовился к печати.

Мы скорбим о потере замечательного автора и прекрасного человека, и гордимся, что нам довелось поработать вместе, пусть и очень недолгое, но творчески насыщенное время.

Мусин-Пушкины[1]: Род — Семья — Личность: Биографика

Наступил третий день командировки по сбору материала для нашего проекта «Мусин-Пушкины: Род — Семья — Личность».

Программа, как и в предыдущие дни, была расписана буквально поминутно. После обеда, ближе к четырем, нужно было приехать на Сергиевское подворье к Н. М. Осоргину, чтобы договориться о встрече для беседы об архим. Сергии (гр. Мстиславе Владимировиче Мусин-Пушкине, 1899—1961), он знал о. Сергия с 1940-х годов. На первую половину дня были запланированы две поездки в разные концы города. Утром в 20-й муниципальный округ Парижа, на Пер-Лашез, затем в предместье Парижа — Сент-Женевьев-Де-Буа, где на «русском участке» муниципального кладбища покоятся более 10 тыс. русских, среди них есть и Мусин-Пушкины.

«Время жить и время умирать»: о тех, кто обрел свой последний приют на чужбине

...Рано или поздно, «кладбищенские прогулки» случаются в жизни каждого человека и, как правило, запоминаются надолго, часто на всю жизнь. Когда проходишь среди могил, врезается в память в деталях и малейших подробностях именно то, что на какое-то мгновение зацепило глаз и прервало ход мыслей, обращенных к Прошлому. Обычно в такие мгновения главенства бессознательного над осознанным «Я» наступает оцепенение, которое затем сменяют пронзительная боль, вслед за ней тихая грусть и вечный вопрос: «Почему?» — почему люди «умирают всегда слишком рано»…

***

Итак, Пер-Лашез. Здесь на 90-м участке (ligne 9/91, «tombe» 40/87), покоится Михаил Илларионович Мусин-Пушкин (1836—1915), внук Александра Семеновича Мусин-Пушкина, правнук пажа царицы Прасковьи Семена Львовича Мусин-Пушкина.

Родственники и друзья Михаила Илларионовича при жизни называли его «Папа Мишелем», должно быть, из-за страстной, любвеобильной натуры. Он дал жизнь 12 отпрыскам. В первом браке у него родились

[1] Фамилия Мусин-Пушкиных склоняется в тексте по старому правописанию (вместо Мусины-Пушкины, Мусин-Пушкины).

четверо, во втором — шестеро детей. До первого брака родились еще двое, в Париже, но он не дал им свою фамилию. Где-то теперь живут их потомки?!.

«Папа Мишель» — не единственный среди Мусин-Пушкиных многодетный отец. Многодетным папашей был Петр Клавдиевич Мусин-Пушкин (1768–1851). У него было 10 детей: шесть дочерей и четыре сына. Младший брат Петра Клавдиевича — Сергей Клавдиевич Мусин-Пушкин (1777 г. р.) имел 11 сыновей и 4 дочери. В семье Павла Петровича Епанчина (1789–1858) и его жены Елены Петровны (ур. Мусин-Пушкиной, 1787–1853) было 12 детей, среди них Алексей Павлович Епанчин (1823–1913), русский адмирал и выдающийся военный педагог. Более двух тысяч офицеров русского флота получили профессиональное образование в стенах Морского училища и Николаевской морской академии, он возглавлял эти учебные заведения в 1871–1882 гг.[1]

Очевидно, адмирал А. П. Епанчин и скрипач Рафаэль, — это сценическое имя «Папа Мишеля», — были лично знакомы. Но то, что они находятся в дальнем родстве, несомненно, знали оба: в титулованных и нетитулованных дворянских семьях XVIII–XIX вв. изучение родной истории начиналось с изучения «откуда есть» род твой…

«Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил…»

***

Род Мусин-Пушкиных ведет свою историю от легендарного Ратши… Граф Андрей Андреевич Мусин-Пушкин считает: «<…> Прозвище „Муса” определенно происходит от имени Моисей (по-турецки), имя, данное или навязанное татарами».

Под куполом мощной зелени крон вековых деревьев, окружающих могилу «Папа Мишеля», надгробная плита была из черного гранита, точнее, такой она казалась; но как только сквозь этот «омофон» мелькнул лучик солнца, плита мгновенно поменяла цвет, на ней появился выбитый во всю длину крест; обозначился и невысокий постамент, из того же, что и плита, темно-серого гранита. Таких на Пер-Лашез много, они похожи на шинели спящих солдат; их «знаки отличия» выбиты на постаменте: либо вдоль плиты, либо в торце — «в ногах»; иногда это имя, говорящее

[1] Род Мусин-Пушкиных оставил заметный след в истории русского флота. Выпускниками Навигатской школы (1701–1715), Морской академии (1715–1752), Морского шляхетского кадетского корпуса (1752–1762), Морского кадетского корпуса и Морской академии (1762–1925) в разное время были 13 мужчин Мусин-Пушкиных. Адмирал Епанчин знал об их судьбах, он участвовал в подготовке «Общего морского списка» для «Словаря русского флота» (СПб., 1885). (См. Зуев Г. И., Историческая хроника Морского корпуса. 1701–1925. — М., 2005. — С. 79.)

само за себя, чаще — имя и даты земной жизни оказавшихся по воле судьбы на Пер-Лашез «в одном строю»…

Постояв молча у могилы «Папа Мишеля», Андрей Андреевич начал рассказывать:

«Это новая плита, ее поставила Екатерина Михайловна, дочь Михаила Илларионовича, в замужестве княгиня Трубецкая, мать Игоря и Юки [Юрия]. Она умерла в начале 1970-х. С Игорем Николаевичем мы, надеюсь, увидимся, он обещал встретиться с нами; думаю, будет интересно».

Андрей Андреевич спешил.

Спешил выполнить намеченную им программу, поэтому поторапливал и одновременно извинялся: увы, нет времени поклониться другим Мусин-Пушкиным, их ближним и дальним родственникам, покоящимся на Пер-Лашез, нужно успеть на Сент-Женевьев-де-Буа, а это кладбище в 30 километрах от Парижа…

Проходя мимо 87-го участка Пер-Лашез, где находится колумбарий, вспомнилось, что там находится урна с прахом известного русского коллекционера Александра Федоровича Онегина (1845—1925), петербургского мещанина, незаконнорожденного отпрыска династической фамилии, получившего при рождении фамилию Отто. Всю жизнь он собирал рукописи, письма и реликвии, связанные с жизнью и творчеством А. С. Пушкина. В 1866 г., в честь пушкинского героя, без каких-либо на то официальных разрешений стал называть себя Онегиным. Через 24 года (в 1890 г.) указом императора Александра III получил-таки право носить эту фамилию. К тому времени он уже жил во Франции. Покинул Россию в 1879 г., обосновался в Париже, где в начале 1880-х годов в трех комнатах своей небольшой квартиры организовал первый в мире музей А. С. Пушкина, его по праву называют прообразом Пушкинского дома в Петербурге. В 1909 г. А. Ф. Онегин заключил договор с Российской академией наук, по которому после его смерти пушкинская коллекция должна была вернуться на Родину. И вернулась, но это уже другая история…

Почему вспомнился А. Ф. Онегин, а не жена Сергея Есенина Айседора Дункан или, к примеру, Нестор Махно, урны с их прахом тоже здесь, в колумбарии Пер-Лашез.

Скорее всего, потому что странная двойная фамилия Онегин (Отто) впервые попала на глаза и, конечно, заинтриговала еще в студенческие годы, в связи с известным фактом встречи Онегина с Дантесом (это было в 1887 г.), а у могилы «Папа Мишеля» Андрей Андреевич рассказал семейное предание о Дантесе и «Папа Мишеле».

А еще потому, что коллекционер А. Ф. Онегин и музыкант М. И. Мусин-Пушкин были людьми одного круга: имели общих друзей и знако-

мых в литературных и театральных кругах Парижа. Они, конечно, были лично знакомы. Бывал в этих кругах и Дантес, который обычно, — об этом свидетельствуют многие мемуаристы, — представлялся не иначе как барон Георг Карл де Геккерн, хотя современники знали, что после трагической дуэли с А. С. Пушкиным Дантес был лишен подданства, дворянства и герба Геккерна.

Семейное предание о встрече «Папа Мишеля» один на один с Дантесом гласит: «Однажды, — когда, в каком году, никто уже не помнит, — Дантес пришел в Париже в дом Михаила Илларионовича, просил „по-родственному" помочь получить высочайшее дозволение на право вернуться в Россию. Узнав о цели визита, „Папа Мишель" спустил его с лестницы».

Вполне возможно, что именно так или почти так и было. Это предание не лишено оснований, восходящих к истории семьи старшего брата деда Михаила Илларионовича — графа Алексея Семеновича Мусин-Пушкина (1730–1817). Вторым браком Алексей Семенович был женат на Шарлоте, дочери графа Карла-Фридриха фон Вартенсленбен. Ее сестра Фредерика вышла замуж за графа Лотарь фон Гатзфельдт, а ее дочь Мария стала женой барона де Геккерна. Эта очень тоненькая, давно истлевшая ниточка их очень дальнего родства, очевидно, и была поводом появления Дантеса в доме «Папа Мишеля».

Уже за воротами Пер-Лашез Андрей Андреевич рассказал и о том, что в 1980 г. с «Северного кладбища» Парижа, — чаще его называют просто Монмартр, — на Пер-Лашез был перенесен прах генерал-майора Федора Матвеевича Мусин-Пушкина (1802–1852)[1], двоюродного дяди Наталии Николаевны Гончаровой. Его отцом был Матвей Платонович Мусин-Пушкин, родной брат бабушки Наталии Николаевны — Надежды Платоновны Мусин-Пушкиной (1765–1835), вышедшей замуж за Афанасия Николаевича Гончарова.

В 1858 г. на Пер-Лашез хоронили 23-летнюю графиню Александру Владимировну Мусин-Пушкину (1835–1858), внучку действительного тайного советника, обер-прокурора Синода, сенатора, президента Академии художеств, почетного члена Общества истории и древностей российских, страстного коллекционера и историка графа Алексея Ивановича Мусин-Пушкина (1744–1817) и его жены Екатерины Алексеевны (ур. кн. Волконской, 1754–1829).

[1] В 1826 г. Федор Матвеевич женился на дочери Иосифа Францевича Ришара, Александре Осиповне, в первом браке Геннингс. Она была приятельницей О. С. Павлищевой — сестры А. С. Пушкина и кузины барона С. М. Дельвига. (См.: Модзалевский Б. Л. , Пушкин — Л., 1929. — С. 142–143.)

«Они решили остаться на Родине»

В Москву вместе с аудиозаписями бесед с представителями рода Мусин-Пушкиных, живущими во Франции и Бельгии, возвращались четыре неопубликованные рукописи: «Книга о счастье» и «Воспоминания» депутата IV Государственной думы графа Владимира Владимировича Мусин-Пушкина, любезно предоставленные в наше распоряжение его внучкой графиней М. Н. Апраксиной во время встречи с нею в Брюсселе; «Воспоминания» Н. Б. Долбежевой, гражданской жены графа Александра Ивановича Мусин-Пушкина (1893–1938), ксерокопию этого источника будущей главы «О тех, кто остался на родине», предоставил Р. В. Колла-Мусин-Пушкин, а также неопубликованный текст генеалогического исследования «Глебовы и Мусины-Пушкины» Дмитрия Владимировича Афанасьева (ум. в 1991 г.), правнука «Папа Мишеля», внука его младшей дочери от первого брака — Дарии Михайловны Глебовой (1873–1947). Он — сын ее единственной дочери, советской артистки Тамары Андреевны Афанасьевой.

В аэропорту Андрей Андреевич сообщил еще об одном источнике — эпистолярной коллекции семьи «Папа Мишеля», собранной его внуком, А. Н. Соболевым. Коллекция находится в Москве, хранится у Елены Борисовны Бердниковой — праправнучки «Папа Мишеля», но ее «сокровища» он не видел, знает о них со слов живущего в Ярославле Олега Всеволодовича Мусин-Пушкина (он праправнук «Папа Мишеля», внук его сына Владимира, рожденного во втором браке «Папа Мишеля» — с Марией Федоровной Блосфельд (1848–1908), дочерью дерптского аптекаря, немца по происхождению, Фридриха-Александра (Федора Ивановича) Блосфельда (1795–1850) и его супруги Терезии-Вильгельмины (ур. Шенрок, 1809–?).

В феврале 2014 г. нам удалось, наконец, увидеть материалы этого уникального архива, в котором хранится не только переписка, но и разные виды документов, рассказывающие о пяти поколениях потомков Иллариона Александровича Мусин-Пушкина (1796–1863) и его жены Марии Николаевны (ур. Струковой, 1806–1884). Этот архив содержит любопытнейшие биографические материалы о жизни тех Мусин-Пушкиных, кто не уехал из России в годы Гражданской войны и разделил, как и сотни других «бывших», тяжелые испытания, выпавшие на их долю в годы советской власти. Для одних этот выбор закончился тюремными застенками и расстрелами, для других — признанием заслуг перед народом и правительством Страны Советов…

Ниже мы публикуем отрывки из главы «Папа Мишель и его семья: корни и крона», в которой предпринята попытка реконструкции биографий членов этой уникальной семьи, давшей во втором, третьем, четвертом и пятом поколениях отпрысков талантливых музыкантов, актеров, ученых, врачей, инженеров, оставивших свой яркий след в истории российской науки и культуры.

***

В составе архива более трех десятков писем «Папа Мишеля» за 1860–1890-е годы. Почти все написаны на папиросной бумаге, это подтверждает воспоминания родных о том, что все везде и всегда его видели с трубкой во рту, «даже когда говорил, не выпускал изо рта».

Первое письмо в коллекции, от 1 июля 1862 г. (на рус. яз), адресовано родителям, оно проливает свет на предысторию его женитьбы на Зелии Казимировне Пессьо:

«Милые родители! По приезде моем в Париж, считаю за долг навестить вас весточкою. Я благополучно доехал, и в настоящее время дела мои идут хорошо, своим порядком. Вполне надеюсь, что не будете мне препятствовать в моей женитьбе с m-ll Petiaux; так как я уверен вполне, что не лишен вашего благословения, то прошу вас заметить, что существование мое неразрывно связано с этой целью. Вам было угодно повременить. Вы знаете, что мне это стоило, как в физическом, так и финансовом отношении. Матушка простила и благословила, батюшка — не совсем, припадаю к его стопам и молю о прощении за то, что поддался ростовщикам. Уверять не могу, потому что не пользуюсь вашим доверием, но скажу в оправдание мое, что все прошедшее тесно связано с обстоятельствами, и что я, который всегда готов пожертвовать собой, в случае несовершения свадьбы моей с достойной девушкой Пессьо, легко мог схватиться, как утопающий, за соломинку ростовщика, повергшую меня горше первого, и которая в несчастии моем показывалась мне с бревно. Но ведь дело это почти поправленное, а я готов заслужить вам, чем угодно, по всякой части. Я в Париже, а вы в России, т. е. все, что может ответить за благосостояние мое и m-lle Petiaux, в дальних странах… Одним вашим словом вы можете или убить меня, или совершить мое счастье. В последнем случае нужно, чтобы вы написали письмо к m-me Petiaux о том, что я с будущей супругой ни в чем не будем нуждаться, т. е. определить мой доход и сказать, что вы согласны помочь мне в совершении свадьбы моей. Это чрезвычайно важно, потому что m-lle Petiaux твердо намерена сделаться артисткой. К тому же она первая кантри-актриса у Дюпре. Одна она всегда может независимо существовать, но содержать мужа и детей свяжет ей руки, и все ее труды будут невозможны, потому что нужда может ее заставить заниматься самой всякой мелочью, а вследствие этого мало останется вр[емени] на упражнение музыкой, уроки и т.д. Я живу надеждой до получения письма.

Сын ваш М. Мусин-Пушкин».

Через месяц, 1 августа 1862 г., в письме (на фр. яз.) к сестре Дарии Илларионовне он сообщал о том, как идут приготовления к свадьбе. Бракосочетание состоялось в Париже, венчались и по католическому, и по

православному обряду, что было в диковину присутствовавшим гостям с той и другой стороны.

Любопытно письмо, адресованное матери, отправленное из Парижа 1 марта 1869 г. В левом углу первой страницы уже знакомый нам адрес: Paris, St. Cloud: a Montretounte, rue de Freniceroles, №66). Письмо очень короткое, написано размашистым почерком на четвертушке листа папиросной бумаги. Края сильно потрепаны, но разобрать текст все же удалось:

«Дорогая Мамаша! Целую Вас от всего сердца и всех, и вся. Благословляю сына моего первородного и за тем остаюсь сын и отец, и братец Михаил Илларионович Мусин-Пушкин. P. S.: Благодарю покорно за деньги, посланные Вами за скрипочку. И да будет мне святая эта скрипочка. Зеличка Вам столько сказала, что нечего мне более рассказывать. Скажу Вам только, что ждем Вас, милая и единственная Мамаша, с нетерпением, с большим нетерпением!!! Целую еще раз сына Ванечку. Ольга здесь [рукой своей поводила]».

«Скрипочка», о которой он давно мечтал, но не мог купить (не было денег), была теперь в его руках. Она принадлежала ему. Он был несказанно счастлив, ведь это была скрипка самого Антонио Страдивари…

Писать много и долго он не любил, к тому же все его мысли были тогда только о желанной «Скрипочке», а молитвы — о том, чтобы «в концертах служила долго и свято»…

Следующее письмо к матери датировано 20 сентября 1869 г. В левом верхнем углу тот же парижский адрес, по которому он жил с Зелией с 1862 г. Как и предыдущее, это письмо на папиросной бумаге (ф. А 4), сложенной пополам. Текст с двух сторон каждой странички едва читается, нижний край письма сильно потрепан, последние две строки по всему полю утрачены, в нашей публикации они заключены в угловые скобки.

Вот, что он пишет:

«Матушка родная! Наконец-то Вы с Ванечкой доехали! Слава Богу, здоровы и невредимы. Завидно мне было ваше путешествие. Хотелось бы мне увидеть родину мамашину старичком. Бог даст, приведется. А покудова разлучает нас огромное пространство и различные вкусы и занятия. Супруга моя и сын заменяют меня подле Вас. Вы знаете, как они Вас любят и уважают. <…> Розалия поначинится Вашими советами и примером. Тем более ее раскусите, тем более ее полюбите. То же самое могу сказать о Вас, милая Мамаша, супруге моей.

Если бы не великая страсть к музыке, поселились бы мы в Боронишине. Но вот в чем дело: поселимся мы волею неволею, а потом опять уедем, это значит, только время убивать. Если да кабы только увеличатся, намерение мое непременно ежегодно приезжать на некоторое

время в Боронишино, и тем вр[еменем] показываться отцовскому гробу. Память отца моего всегда мне будет драгоценна. <…> Давно много умирает народу на Руси, и вот почему хотелось бы мне Вас видеть в Париже. <…> Большая часть старичков умирает от кашля, а в России много кашляют, и сынишка мой успел уже понакашлиться. Он, говорят, как тепличное растение, плохо развивается. С другой стороны, не всякому дано иметь такую Бабушку, как Вы, милая Мамаша! Он, пожалуй, меня и не узнает больше. Во всяком случае, я знаю, что он под Вашим крылышком научится любить и уважать отца и мать.

Верите ли теперь в мою любовь к Вам после того, как я пожертвовал сокровищем моим? Если сын мой будет любить мать свою, как я люблю мою, я буду вполне спокоен за его будущность [фр. яз.]. Люблю Вас, моя Мамаша, от всей души. Сын Ваш [Михаил…]».

Заключительная фраза о решении отдать сына Ваню на воспитание бабушке подтверждает слова дочери «Папа Мишеля» Марии Михайловны о том, что бабушка и родители вечно ссорились из-за них, детей, никак не могли договориться, с кем им, детям, лучше жить: с родителями в Париже, или с бабушкой в имении Никольское; и почему бабушка очень неохотно привозила их «погостить к маме», когда та жила в г. Мологе…

Вот что писала по этому поводу в своих воспоминаниях Мария Михайловна:

«От мамы часто приходили письма, в которых она упрашивала прислать ей детей. <…> Должно быть, это была очень чадолюбивая мать; но и бабушка Мария Николаевна была очень внуколюбивая бабушка — отсюда несогласие в этом пункте. Нас всё собирались отсылать, и всё не отсылали [из дома бабушки]. Время шло. <…> Бабушка обеими руками [держала] Ваню, на зависть всем остальным внукам от другого сына и дочерей. <…> Через некоторое время спор возобновлялся, принимая академический характер. Мы обычно присутствовали на этих спорах, улавливая в них каждое слово, и выносили на них высокое мнение о себе».

По словам Марии Михайловны, «мама Мария Федоровна» часто упрекала «Папашу» в том, что он мало общается с детьми, не внимателен к ней, часто в ее присутствии на виду у всех заигрывает с хорошенькими горничными и дворовыми девками, на что мудрая бабушка Мария Николаевна наставляла невестку, повторяя снова и снова: он — известный скрипач, которому рукоплещет парижская публика; он принадлежит миру искусства, его «одаренную Богом натуру нужно уметь понимать и ценить»…

Действительно, Михаил Илларионович был «одаренным Богом»: один из первых в России, кто окончил старейшую консерваторию Фран-

ции — Парижскую Высшую национальную консерваторию музыки и танца (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris). Здесь он учился игре на скрипке, а его жена Зелия готовилась стать оперной певицей. Их обучение в парижской консерватории пришлось на годы ректорства Даниэля Франсуа Эспри Обера (1782–1871). Уже в 1820-х годах в России его почитали как выдающегося французского композитора, мастера французской комической оперы, основоположника жанра «большой» французской оперы, автора знаменитого гимна La Parisienne. Вполне возможно, что 15 февраля 1868 г. супруги М. И. и З. К. Мусин-Пушкины были свидетелями триумфальной премьеры в Opera Comique оперы Обера «Первый день счастья» *(Le premier jour de bonheur)*.

Сценическое имя Рафаэль оказалось удачным для М. И. Мусин-Пушкина. Скрипач Рафаэль довольно быстро снискал любовь публики, в знак признания его уникального исполнительского таланта, в консерватории был установлен его бюст. Русский Рафаэль быстро сошелся с парижским музыкальным бомондом. Был дружен с Гектором Берлиозом, Шарлем Луи Амбруазом Тома, Теодором Дюбуа и др.

С началом Франко-прусской войны Михаил Илларионович с женой вернулся в Россию, они начали гастролировать с сольными концертами по городам Поволжья. После кончины Зелии и спешной женитьбы на Марии Федоровне, Рафаэль снова уехал в Париж, его звала «великая страсть к музыке»… Но жить один в Париже не смог, вернулся к семье.

В первой половине 1870-х годов, наряду с концертной деятельностью, пробовал себя в качестве музыкального педагога. Взялся обучать игре на скрипке своих отпрысков, детей соседских помещиков и других «учеников самых разных сословий» из округи г. Мологи.

Мария Михайловна вспоминала:

«Мы были еще совсем, совсем маленькие, когда отец посвятил нас в музыкальный мир и стал нам „давать уроки музыки". Я ставлю кавычки, потому что только так и можно выразиться про папины „уроки". Педагог он был прямо никудышный. И мы, скорее всего, выучились играть на скрипке самоучкой и так сказать вопреки ему. Но как-никак ему удалось сформировать из нас (с первого же урока) свой домашний фамильный квартет (что, по-видимому, и было его главной целью); все честь честью: первая скрипка, вторая, альт и виолончель. Дорого бы я дала теперь, чтобы мочь присутствовать на первом выступлении этого квартета из доморощенных музыкантов. Но факт, что после того, как мы научились держать скрипку в руках, какая-то, сверхъестественным образом попавшая в наши захолустные места музыкальная знаменитость, наслушавшись про папин Страдивариус и про его чудачества, специально приехал к нам в Никольское, прослушал несколько наших концертов и потом пропечатал всю нашу семейку в особой книге с назва-

нием „Ди музик унд ди Музикантен", причем (вероятно это был немец) назвал каждого музыканта нашего квартета по имени».

Мария Михайловна довольно точно (это подтверждают и другие источники семейного архива «Папа Мишеля») описала его характер, философские, общественно-политические и педагогические воззрения, духовный мир и мораль:

«<…> Больше всего на свете он боялся, как огня, — пошлости. И уж кого-кого, но его нельзя было назвать пошляком, несмотря на обилие и разнообразие его (часто даже грубо выраженных) любовных приключений. Может быть, даже она, эта самая неприятно шокирующая его страсть рассказывать о них вслух, в самом неподходящем для этого обществе, с явным нарушением правил приличия, происходила все из того же источника: старание не быть пошляком. <…> Нет, он не хотел быть средним человеком, он хотел быть выше среднего и, вероятно, считал себя таким.

<…> Папа давно уже спит на кладбище Пер Лашез в Париже. Могила его в полном забросе, без креста и без памятника. Креста он сам не хотел (он афишировал атеизм и спускал священников с иконами с лестницы). Насколько этот атеизм соответствовал его истинному настроению — не знаю, но смутно догадываюсь, ведь он все же был сыном своей матери — глубоко верующей — и братом своего брата и своих сестер, всех глубоко верующих. Все его детство прошло в обстановке этой нерушимой веры и выполнения обрядов. Он иногда цитировал слова Вольтера: если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. Это спускание с лестницы, это явное кощунство никак нельзя назвать равнодушием, [скорее,] ненависть большей частью рядом с любовью. Впрочем, он был энциклопедист, западник, интеллигент до мозга костей <…>, и в голове у него был порядочный таки интеллигентный ералаш. Но в среде тогдашнего русского общества он мог считаться передовым из передовых. <…> Он, однако, нигде не служил и открыто заявлял о своей нелюбви к России, называя ее: „Велика Федора, да дурра". Такое резко отрицательное и преднамеренно подчеркнутое отношение к своей родине толкало на отрицательное отношение к нему самому. <…> Собственно говоря, он был глубочайший пессимист, „озлобленный ум", совершенно отчаявшийся в людской породе, ее прогрессе, в особенности, с нравственной стороны. Он ушел от всех и затворился в своем скрипичном искусстве и вообще в музыкальном мире. Музыке он готов был посвятить всякую секунду своей жизни. Его горькое насмешливое презрение ко всему окружающему было также и выражением его личного бессилия и его „mea culpa".

<…> Но как объяснить его постоянные противоречия?! Он, должно быть, думал о цивилизаторской роли, которая ему выпадала, и, воленс-

ноленс, приходилось ему в ней выступать. Каждое воскресенье „за гостями" высылалась тройка, запряженная в линейку, и, большей частью, возвращалась полная все теми же гостями, хорошо знакомыми и вполне мирившимися со странностями отца, между прочим, и с пыткой музыкой, которая, прежде всего, немедленно преподносилась им по возвращении тройки. На первом месте своего цивилизаторства он ставил музыку, ее божественное эмоциональное воздействие на дух человеческий, ее облагораживающее влияние, ее дар давать добавочные струны и крылья человеческой, столь низкой, столь связанной с рабской [сутью] душе. Он славил музыку и как первую в концерте муз, не знающих ни границ физических, ни каких-либо пут, выдуманных людьми. <…> Вообще, вспоминая моего отца, я думаю, что он был по натуре скорее „руссист" (от Руссо), чем вольтерьянец, хотя постоянно цитировал Вольтера и Дидро, предпочтительнее, чем Руссо».

Настольной книгой «Папа Мишеля» на протяжении всей жизни был роман-трактат Ж. Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании», вызвавший противоречивые отклики европейских критиков и жаркие споры в педагогических и общественно-политических кругах Франции, оказавший в итоге значительное влияние на ее общественные нравы. Учение Руссо, базировавшееся на сочетании принципов сентиментализма, индивидуализма и натурализма, формировавшее на их основе троякий культ (чувства, плюс личность, плюс природа) стало для «Папа Мишеля» его жизненным кредо, причем, по меткому замечанию дочери, в форме «интеллигентного ералаша» — свода жестких правил для членов семьи, условностей для всех остальных и совершенно особых правил и условностей для себя самого.

«Папаша», вспоминает Мария Михайловна, читал только зарубежную литературу и только на языке оригинала, всегда «говорил с нами [детьми] по-французски, да и не только с нами, а вообще со всеми в доме». Обе его жены были «по природе иностранками», иначе и быть не могло, ведь он везде и всем заявлял о своей нелюбви к России и к русскому буквально во всем…

Когда он, неожиданно для себя (только после свадьбы), узнал, что его вторая жена не знает по-французски и, что совсем худо, не играет на музыкальных инструментах, однозначно решил, что научит ее всему, она должна уметь, иначе она ему не жена, о чем объявил всем домашним:

« <…> Задачей своей жизни он положил себе выучить маму Марию Федоровну французскому языку и музыке (главным образом для того, чтобы приготовить себе аккомпаниаторшу). Ни к тому, ни к другому у бедной женщины не было никаких способностей и никакого влечения, но это не играло никакой роли. Он должна подчиниться его деспотической воле относительно этих двух коньков. И она подчинилась, уступив ему и в этом, как всегда уступала ему во всем прочем».

Каждое занятие с женой музыкой, вспоминает Мария Михайловна, сопровождалось его «грозными, вне себя криками», «слезами бедной, насмерть запуганной женщины», которая, после очередной «пытки музыкой», «неслышной тенью прокрадывалась в спальню и зарывалась в подушку, чтобы доплакивать и понемногу прийти в себя». И эта его «метода» возымела нужный ему результат: «аккомпаниаторшу он все-таки себе приготовил, и каждый день «запузыривал», как квалифицировали его музыку рабочие, с ней дуэты на скрипке или соло на скрипке с аккомпанементом фортепьяно, и эти музыкальные упражнения, хотя и не проходили без грозных окриков, но в общем обходились довольно благополучно и к удовольствию отца».

Он был законченным деспотом во всем, что касалось музыки и музыкального образования. Только благодаря этому, заключает Мария Михайловна, «Папаша» смог осуществить свою «цивилизаторскую миссию» — превратить «пьяную Мологу» в город с высоким по тем временам уровнем музыкальной культуры.

А еще «отец был сам хороший лингвист», но для обучения своих детей французскому и немецкому языкам «специально выписал гувернанток».

Коренастый, среднего роста, с удивительно красивыми вьющимися волосами, — их унаследовали почти все его дети, — широкоскулый (он казался таким из-за окладистой бороды), вечно с трубкой или сигарой во рту, словоохотливый (но только с незнакомыми людьми и гостями дома), капризный в еде и «необыкновенно консервативный в своей привязанности к вещам» («ничто и никто в мире не мог бы заставить его переменить свой изношенный, никуда не годный халат», но его концертный сюртук и бант были всегда превосходны).

Он остался в памяти родных и близких чудаковатым и вместе с тем «злым гением», виртуозно игравшим не только на скрипке, но и на струнах человеческих душ… Он любой ценой достигал поставленной цели: во всем и всегда «все выходило так, как он хотел»…

21 июля 1912 г. внук «Папа Мишеля» и сын Марии Михайловны Лева Соболев писал из Ниццы в Мологу «тете Оле Блатовой» — старшей дочери «Папа Мишеля»:

«*Географическое распределение нашего семейства теперь следующее: папа Мишель в Париже, мы все в Ницце. <…> Это решение расстаться с нашей семьей п[апа] М[ишель] принял уже давно, месяца четыре тому назад. Он говорит, что не чувствует у нас себя дома. Факт тот, что за этот парижский год характер п[апа] М[ишеля] до того изменился (или, может быть, вернулся к прежнему), что жить вновь с ним в таких же условиях мне кажется прямо невозможным. Последние три месяца, проведенные нами без мамы в Париже, были прямо каким-то адом; сидишь и все время боишься: вот сейчас п[апа] М[ишель] опять начнет намекать, язвить, сверлить. Для каждого из присутству-*

ющих у него есть своя батарея, свои маленькие щипчики, которыми он дергает нервы; отвечать нельзя: ничего, кроме нелепых пререканий, не выходит. Сидишь и молчишь. Сердиться, конечно, за все это на п[апа] М[ишеля] нельзя: он как-то совершенно не сознает причиняемого им зла. Но от этого нисколько не легче».

Через два года «Папа Мишеля» не стало. Он умер в своей парижской квартире (82, rue Mouffebard) в возрасте 79 лет. Рядом находились дочери — Ольга Блатова, Мария Бек и кн. Екатерина Трубецкая.

***

В 1930-х годах в Русской консерватории в Париже, в классе Л. Э. Конюса учились правнучки «Папа Мишеля» Ольга и Маша Соболевы, дочери Андрея Николаевича Соболева.

Андрей и Лев Соболевы — сыновья Марии Михайловны Соболевой-Бек (ур. Мусин-Пушкиной). В 1899 г. Она уехала из России в Париж. Тогда думала, что навсегда. Обосновалась в Ницце, держала отель «Родной угол», после его продажи в 1921 г., приобрела другой отель — «Empress» в Болье-сюр-Мер (Beaulieu-sur-Mer), но вскоре и его пришлось продать. Внучек Ольгу и Марию она привезла из Москвы в Париж в конце 1927 г., занималась их воспитанием. Девушки вернулись в Россию в 1936 г. Мария Михайловна — в 1945-м.

С апреля 1941 г. о ней ничего не было известно. В апреле 1945 г. в Москву пришло письмо, в котором она сообщала, что живет в Париже (26, rue Lacretelle, Paris, 15); «уже 9 месяцев прикована к кровати, без движения, без работы и, следовательно, без заработка»; «вся левая половина тела у меня почти мертвая, а ноги тоже отнялись, и даже с палочкой с трудом удерживаюсь стоя или передвигаюсь на шаг или два».

Она обращалась к сыновьям с единственной просьбой: «Взвесьте все это, мои родные, ненаглядные, прежде чем взваливать на себя такую тяжесть, подумайте хорошенько. <…> Каково бы то ни было, я, как всегда, благословляю ваше имя и буду ждать терпеливо развязки».

Она пережила сестер Ольгу и Дарию на 2 года. Последние годы жизни Ольга и Дария провели в Ленинградском доме ветеранов сцены, похоронены рядом, на Серафимовском кладбище. Мария Михайловна скончалась в 1949 г. в Москве, похоронена на Ваганьковском кладбище.

В конце апрельского письма 1945 г. она завещала сыновьям: **«<…> Живите, вбирайте в себя жизнь и проявляйте себя в жизни, и, главное, — любите, любите друг друга, всех русских и все человечество, составляющее одну семью».**

Кира Сапгир
(Франция)

Кира Александровна Сапгир родилась в Москве. Окончила Московский институт иностранных языков (французский факультет). Член Союза писателей Москвы, Международного Пен-клуба, Международного союза журналистов. Публиковала в Москве детские книги, сценарии и пр. Живет в Париже, куда эмигрировала в 1978 году. К. Сапгир — переводчик, литературный и художественный критик, прозаик, поэт и журналист. Долгие годы работала в газете «Русская мысль», печатала статьи в журналах «Континент», «Грани», «Новое русское слово», «Панорама», была корреспондентом Французского международного радио и радио «Свобода». Публикуется в зарубежной и российской прессе — «Литгазете», «Независимой газете», «The art newspaper Russia» и др. Автор романов «Ткань лжи», «Диссиблюз», сборников рассказов и очерков «Быки и улитки», «Оставь меня в покое», «Париж, которого не знают парижане», «Париж — мир чудесный и особый»... Переводчик французской народной поэзии, а также Ронсара, Превера, Р. Кено и др.

В память о «Большом терроре»

«Советский Витте»

История — то, что творится сегодня. Она, словно пена морская, бьется о берег Времени. Пена изменчива, в радуге брызг, меняющая непрестанно очертания. Что ни всплеск, то судьба.

Коротка человеческая память. Но История рано или поздно расставляет всё по местам. К сожалению, чаще поздно...

Старая открытка

Как-то в руки мне попала дореволюционная открытка с видом на Трубную площадь. Там, напротив Цветного бульвара, виден осадистый «купеческий» двухэтажный дом. Ныне дом снесен — на его месте продуктовые ларьки. А была когда-то там аптека, существовавшая чуть не с конца XIX века. Принадлежала аптека Фанни Соломоновне Бриллиант (урожденной Розенталь), моей двоюродной бабушке с материнской стороны. В этом доме на Трубной 15 августа 1888 г. и родился мой дядя, Григорий Яковлевич Бриллиант (партийный псевдоним «Сокольников»), вошедший в историю как «советский Витте». Это он, Сокольников, в 20-е годы сумел на время обеспечить конвертируемость советского рубля; это он привел в чувство в стране финансовую систему, и, главное, не кто иной, как дядя Гриша, выдумал НЭП. За все это расплатой для Сокольникова стал кошмарный политический

фарс под названием «Большие процессы», разворачивавшийся 77 лет назад...

По-настоящему выдающиеся, гениальные финансисты рождаются, пожалуй, реже, чем один раз за столетие. Таковы великие государственные мужи — Канкрин, Витте.

И, конечно же, ни для кого из них жизнь не завершилась таким трагическим финалом, как для моего дяди. На долгие годы, как казалось, навсегда, была стерта сама память об этом деятеле, в первые десятилетия прошлого века повлиявшем на весь ход советской истории.

Григорий Сокольников

Разбойно-партийная юность

Как уже сказано, Григорий Яковлевич Бриллиант (Сокольников), родился в Москве. В 1905-м, 17-ти лет от роду, он руководил социал-демократическим движением студентов Императорского университета, где учился.

Невероятно, но факт! Банки будущий «главный финансист страны», как говорится, знал не по учебникам. В годы «юности мятежной» он грабил банки на нужды большевистской партии! «Работал» Григорий бок о бок с другим «карбонарием» — Виктором Таратутой, по совместительству брачным аферистом, пополнявшим партийную кассу, соблазняя богатеньких доверчивых дамочек — все во имя идеалов, вестимо! Руководил «экспроприациями» Большевистский центр, на который «трудился» на Кавказе и некий товарищ Коба...

Разбойно-партийную деятельность Большевистского центра в 1907 году раскрыли и прикрыли. И в 1909-м революционер-налетчик Гриша Бриллиант был схвачен и помещен в Сокольническую тюрьму. Там и родилась партийная кличка «Сокольников».

Его отправили в ссылку в Сибирь, но вскоре он сбежал оттуда — о, чудо! — прямиком во Францию. Там Сокольников закончил Сорбонну (экономический и юридический факультеты). В Париже он познакомился и сблизился с Плехановым, Крупской, Лениным. При этом «вождь пролетариата» видел в нем человека «аг'хиспособного».

С приходом Февральской революции Г. Сокольников вернулся в Россию в вошедшем в фольклор «пломбированном вагоне». Вместе с ним там ехала «теплая компания»: Ленин, Зиновьев, Радек, Инесса Арманд.

По возвращении в Россию, с января 1918 года Сокольников вошел (правда, ненадолго) в бюро ЦК РКП (б) вместе со Свердловым, Лениным, Сталиным, Троцким. В «большой пятерке» он был самым младшим. И тем не менее не кто иной, как Сокольников, весной того же 1918-го был направлен в Брест во главе делегации для ведения переговоров о перемирии — и лично подписал Брестский мир.

«Финансист от бога»

К 1921 г. состояние экономики в стране было поистине катастрофическим. В годы военного коммунизма задействована была продразверстка, а на самом деле — экономический террор. Тогда у крестьян прод-отрядами изымался практически подчистую весь урожай, все зерно, овощи, мясо, сено, скот. Крестьяне, пытаясь выжить, прятали зерно, их раскулачивали, убивали, ссылали. В отчаянии крестьянство запустило хозяйство. Результатом стали повальный голод и запредельная денежная эмиссия. К осени 21-го рубль обесценился в 50 000 раз.

Спасение пришло в лице нового главы Наркомфина. Осенью 1922-го, в возрасте Христа, Сокольников получает портфель наркома финансов. И тотчас же начинает менять провальную советскую экономическую структуру. Для этого он на смену продразверстке вводит продналог — «процентное или долевое отчисление от произведенных в хозяйстве продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота в нем». Это новшество и легло в основу перехода к новой экономической политике (НЭП). Новая концепция изменила всю структуру финансирования госбюджета. Так страна была спасена от тотального краха.

К разработке своей реформы нарком сумел привлечь многоопытных хозяйственников, финансовых светил старой России.

Бриллиант и червонец

Григорий Сокольников был законотворец. Он рассматривал уже в то время советскую экономику в аспекте мирового хозяйства в целом. Экономический и финансовый подъем Советской России, полагал он, возможно осуществить за короткий срок, если страна сумеет хозяйственно примкнуть к мировому рынку. «Пока мы сохраним твердую валюту, до тех пор вся хозяйственная система останется в равновесии и сохранит способность к движению вперед», — провозгласил Г. Сокольников (28 октября 1925 г.).

Сокольникову удается осуществить две деноминации (1922 г. в 10 000 раз, и в 1923 г. еще в 100 раз). И тогда, единственный раз в истории советской, да и отчасти сегодняшней России, в стране появилась твердая валюта — знаменитый «золотой червонец».

В конце 1922 года Наркомфин выпускает бумажные червонцы, обеспеченные золотом на сумму 500 млн. рублей. На новой основе им было возрождено сберегательное, страховое и биржевое дело. Были впервые выпущены облигации 6% золотого выигрышного займа. На облигациях стоят подписи Ленина (опять-таки, единственный с его подписью заем) и Сокольникова.

Тогда же вводится в обращение серебряная и медная монеты (пробой и массой аналогичные царским). Больше того, — были разрешены (с весьма разумными ограничениями) свободный ввоз и вывоз инвалюты, золота, червонцев. Эту неслыханную победу Сокольников одержал всего за три с половиной года.

Тучи сгущаются

Он многое ещё успел бы сделать. Но к тому времени выяснилось, что Г. Сокольников, де, «мешает победоносному шествию советской экономики», а на самом деле — возможности просто включить печатный станок. Небывалый случай в истории по тем временам: против Сокольникова вместе выступили Сталин и его злейший враг — Троцкий. И неудобного наркома финансов решено было убрать.

До поры до времени Сокольников еще сохранял немалое политическое влияние. В 1929—1932 гг. он был назначен полпредом СССР в Великобритании, а по возвращении в Москву (1932 г.) стал заместителем народного комиссара иностранных дел. Но травля уже разворачивалась вовсю. В январе 1934 г. Сокольникова заклеймил Лазарь Каганович. Руководитель партийных чисток заявил тогда, что «простая колхозница политически грамотнее „учёного" Сокольникова». Пошла раскручиваться смертоносная спираль. Сокольникова лишили всех крупных должностных постов, предоставляя все более незначительные в мелких госструктурах.

Неизбежное свершилось 26 июля 1936 года. Сокольникова арестовали по пресловутому делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра».

На «больших процессах», как известно, правил бал государственный обвинитель Андрей Вышинский.

Дружеский шарж на Г. Сокольникова. Стихи Н. Агнивцева

Бутырский каземат, где Г. Сокольников покончил с собой

Полуобернувшись назад...

Три года назад, 8 мая 2011 г., скончался Аркадий Иосифович Ваксберг, адвокат и историк, многолетний парижский собкор «Литгазеты», автор более 40 книг, переведенных на основные языки мира. Главное в его литературном наследии — своеобразнейшие «биографии-расследования». В публицистическом бестселлере «Царица доказательств» А. Ваксберга, посвященном Вышинскому, этому «Фукье-Танвиллю сталинской эпохи», в галерее сталинских палачей и жертв есть и портрет из нашего семейного альбома. Ибо герой одной из самых страстных и страшных глав книги А. Ваксберга — мой дядя, Григорий Яковлевич Сокольников.

...Как все же польский шляхтич, кузен знаменитого кардинала Вышинского, взял на себя в процессе роль главного инквизитора? Этому дает объяснение в своей книге А. Ваксберг: «В антураже Сталина, — пишет он, — состоявшем после чистки из страшных ничтожеств, Вышинский был бриллиантом на много карат. И свою роль во время процессов он блестяще выполнял: вел себя страшно, грубо, выражался площадным языком. И это был тот язык, которого от него ждал Сталин».

Гибель

Во время следствия Галина Серебрякова, третья жена Г. Сокольникова, дала признательные показания против мужа. Это не помешало ей самой вскоре оказаться в лагерях. Но она выйдет оттуда — и впоследствии даже напишет ангажированный роман о Карле Марксе «Прометей».

У Сокольникова в застенке показания выбили, как и у прочих «заговорщиков». Его 30 января 1937 года объявили «врагом народа» и приговорили к 10 годам тюрьмы. По официальной версии, 21 мая 1939 г. Сокольников был убит заключёнными в Тобольском политизоляторе. Но в нашей семье знают: он покончил жизнь самоубийством в одиночной камере, размозжив голову о стену.

Уже в перестроечную эру, 12 июня 1988 года, Григорий Сокольников реабилитирован посмертно. Ибо, как уже говорилось, История рано или поздно расставляет всё по местам.

К сожалению, чаще поздно...

Post scriptum

А аптека на Трубной просуществовала чуть не до конца 80-х. И я, не скрою, в какой-то период частенько туда наведывалась. Но не оттого, что страдала какими-то хроническими недугами. Впрочем, расскажу по порядку.

Через площадь от аптеки, на Трубной улице, стояло весьма древнее строение из черноватых бревен, не то ссохшихся от старости, не то разбухших от сырости. Бревенчатый сруб чудом уцелел в дни московского пожара 1812 года. И казалось, что с тех самых пор его так и не очистили от копоти — вот и торчал флигель при выгоревшей усадьбе грустным пугалом, безмолвным свидетелем.

Жильцов из флигеля давно выселили. Самого же его определили на снос. А тем временем в выморочное здание самочинно заселилась безумная богемная братия, живущая, мнится, в особом параллельном мире.

«На Трубе», как называли заныр, на бывшей коммунальной кухне, в тусклом свете запыленной единственной лампочки (свет и вода там отчего-то были) какие-то иссиня-бледные девицы, похожие на ростки проросшего картофеля, в черных растянутых свитерах что-то постоянно мочили в тазах, окуная широкие рукава в мыльную воду. Откуда-то из анфилады пустых комнат раздавалась развеселое: «Анаша, анаша, до чего ж ты хороша...»

«Гимн анаше» распевал под гитару Алексей Хвостенко — Алеша Хвост, признанный лидер «Трубы».

В заныре с утра до ночи справляли непрестанный праздник дружбы. Пили «Стрелецкую», портвейн «Три семерки», бормотуху «Солнцедар» друзья — «левые» поэты, художники (их потом будут величать нонконформистами) и прочие, а также хиппи «рефюзники» — отказники то бишь. «Рефюзником» был и сам Хвост. Бывшая жена не давала ему разрешения на выезд в Землю обетованную, покуда он не выплатит всех алиментов за годовалую дочь, вплоть до совершеннолетия (таковы были тогда указы для «отъезжантов» в Израиль). Колыбелька была установлена тут же, в заныре на Трубе, где бывшие супруги дружно абсорбировали разнообразные снадобья.

На «Трубе» стоял пахучий дым коромыслом. Травку доставлял дилер Дима по прозвищу Дымок. А «подпольный гений», художник П., мастерски творил поддельные аптечные рецепты на кодеин и разные прочие «колеса».

Процесс был трудоемким. Вначале, сварив яйцо вкрутую, П. с него снимал скорлупу, затем прокатывал горячий белок по рецептурному штампу, отчего на белке оставался чернильный оттиск. Далее яйцо с оттиском прижимал к девственной фотобумаге, на которой штамп пропечатывался наизнанку. После чего П. тщательно штамп прорисовывал тушевым чертежным перышком, лиловым чернилом. (Причем — о, маэстровость! — линии там чуть-чуть двоились, будто бы рука дрогнула у того, кто этот штамп небрежно накладывал!) Наконец, заключительный этап: фотобумагу с переведенным штампом П. прижимал горячим утюгом к аптечному бланку, откуда перекисью предварительно смывал прежние записи. Бланк заполняли заново — рецепт был готов.

Невзирая на все мастерство П., известный риск все-таки существовал. И как-то я, живя по соседству, забежала туда и поведала, что, де, аптека на Трубной — моя «фамильная». Все очень обрадовались.

— Раз уж это «твоя» аптека, возьми рецепт, сходи туда и купи кодеин, — решил Хвост.

— А если заметут?

— Не заметут, вот увидишь. Местные домовые уберегут тебя.

И я доверилась прозорливости друга. Синюшные девицы, засучив широкие рукава черных свитеров, нарядили меня «под хорошую девочку» — как бы сейчас сказали, «создали имидж»: одели в скромненькое пальтишко, беретик, обули в детские ботиночки, даже школьные косички заплели с бантиками. И вот уж я, хорошая девочка с косичками, вхожу в «родную» аптеку с поддельным рецептом... О чудо! — мне и правда беспрепятственно продают «колеса»! На «Трубе» меня встретили овацией.

С тех пор, и вплоть до самой эмиграции, моей и еще многих-многих других, меня посылали за каликами в «тети-фанину» аптеку на Трубной. И никто меня так ни разу и не накрыл. Было ли то с благословения Хвоста? Или же вправду для фармацевтических домовых я была «своей»? А может, это дядя Гриша по-родственному приглядывал за мной с небес? Кто знает?

Ну, правда, кто знает?

© Художник Елена Любович

Лидия Головкова
(Россия, Москва)

1941 г.р., окончила Московский художественный институт им. В. И. Сурикова, член Союза художников с 1974 г., график. Начиная с конца 1980-х гг., занимается поисками и составлением списков незаконно репрессированных и безвестно пропавших в годы советской власти. Автор многих книг и статей по этой теме. Начиная с 1994 г. — сотрудник (ныне ст. н. с.) Отдела Новейшей истории РПЦ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Один из авторов фундаментальных трудов университета — Энциклопедического справочника «За Христа пострадавшие», «Следственное дело патриарха Тихона» и др. Один из составителей и главный редактор восьми томов книги памяти жертв политических репрессий «Бутовский полигон. 1937—1938». Занимается исследованием мест массовых захоронений расстрелянных в Москве, таких как Спецобъект НКВД «Коммунарка», Бутовский полигон, Бериевская политическая тюрьма «Сухановка» (или Объект НКВД №110), Донской крематорий, где уничтожались останки тысяч расстрелянных. Работает с 1993 г. со следственными делами в государственных и ведомственных архивах Москвы. Ниже представлена глава из последней книги Л. Головковой, вышедшей в конце 2013 г., «ГДЕ ТЫ?..»

Чекистская слобода

Работы у московских чекистов было много, особенно по ночам — и в доме №2 на Лубянской площади, и в домах по Большой и Малой Лубянке, в Варсонофьевском, Большом Кисельном и других переулках, проулках и тупиках округи. Старые москвичи вспоминали, как в полутемной Москве ночами напролет светились окна домов в Лубянском квартале. Пролетарский поэт Лаборий Кальмансон (псевдоним Г. Лелевич) воспел в одном из своих стихотворений ночные бдения чекистов:

Коммунэра о чекисте Семенове

Всю ночь огни горели в Губчека.
Коллегия за полночь заседала.
Семёнова усталая рука
Пятнадцать приговоров подписала.

И вот землёй засыпаны тела…
Семёнов сел в хрипящую машину,
И лишь на лбу высоком залегла
Еще одна глубокая морщина.

Стихи были написаны в первые годы советской власти, но их можно спокойно отнести и ко всем последующим годам — вплоть до середины 1950-х. Ведь почти ничто не изменилось: горящие окна Лубянки, рука чекиста, подписывающего приговоры. Правда, вместо слов «пятнадцать приговоров» можно было бы без ущерба для рифмы подставить «сто двадцать» или «сто сорок», что больше соответствовало бы спискам последующих десятилетий. Кстати сказать, в годы Большого террора, словно во исполнение поэтического предвидения, появился влиятельный чекист Семенов Михаил Ильич[1]. Он был председателем милицейской тройки и приводил приговоры в исполнение на Бутовском полигоне. (Здесь за 14 месяцев 1937—1938 годов были расстреляны 20 760 человек.) Находясь под следствием, Семенов признавался, что на заседаниях тройки они подписывали не по пятнадцать, а по пятьсот и даже по тысяче смертных приговоров. Но, чтобы «рука не уставала» и чтобы времени зря не тратить, приговоры (или приговора, как говорили чекисты) подписывали теперь не штучно, а списками, затем уже и целыми «альбомами». А вот насчет «еще одной глубокой морщины» на «лбу высоком» — это уж пусть останется на совести несчастного поэта, впоследствии также расстрелянного и неведомо где захороненного[2].

Чекисты старались жить поблизости от работы, зачем далеко ходить? Поэтому улицы и переулки, примыкавшие к Лубянке, очень быстро стали заселяться семейными и холостыми чекистами, чаще всего, приехавшими из провинции, которые жили сначала в тесных коммуналках, а по мере арестов коренных москвичей, улучшали свои жилищные условия. Таким образом, в самом центре Москвы образовалась настоящая «чекистская слобода».

В 1934 году по Большому Комсомольскому (бывшему Златоустинскому) переулку специально для сотрудников ОГПУ-НКВД было выстроено два многоэтажных жилых дома с отдельными квартирами и всеми удобствами. Строили эти дома заключенные, что совершенно естественно в данном случае; правда, это были не обычные какие-то уголовники, а гордость ГУЛАГа — «перековавшиеся каналармейцы», дмитлаговцы.

По окончании строительства, в одном из этих домов — доме №3 — поселился небезызвестный чекист Евгений Александрович Тучков, му-

---

[1]Семенов Михаил Ильич (1898—1939), майор госбезопасности, пом. начальника УНКВД Москвы и МО по милиции, начальник УРКМ, председатель милицейской тройки.

[2] Кальмансон Лабори Гилелевич, литературный псевдоним Г. Лелевич (1901—1937). Был в руководстве ВАПП, РАПП и МАПП (Всероссийская, Российская и Московская ассоциации пролетарских писателей). После раскола в 1926 г. вошел в состав организации «левых» рапповцев, отказавшихся сотрудничать с так наз. писателями-попутчиками. Автор критических статей об Анне Ахматовой, Александре Грине, Осипе Мандельштаме и Борисе Пастернаке. Трижды подвергался арестам как троцкист. 10.12.1937 г. был расстрелян в Челябинске. Участь сына разделил его отец, поэт Гилелий Кальмансон (1868—1937)..

читель святейшего патриарха Тихона. И на этот раз, как нарочно, Евгений Александрович оказался на церковной территории: так уж, видно, ему на роду было написано[1]. Дома для чекистов возвели на месте разрушенного в 1933 году «до основания» Златоустинского монастыря, известного по летописям с начала XV века. Монастырское кладбище, где были погребены представители старинных родов, — князья Хилковы, Урусовы, Засекины, Барятинские, царевичи Касимовские, Апраксин, любимец Петра граф Румянцев и др., — сровняли с землей. Въехавшие в новые квартиры жильцы, можно сказать, устроились на костях.

В левом крыле дома №3 поселился Г. Г. Ягода, занявший, наконец, после смерти Менжинского, долгожданный пост наркома НКВД. Для него к просторной квартире присоединили еще одну. В правом крыле дома, в четырехкомнатной квартире №8 на четвертом этаже обосновался милейший в общении и незаменимый при приведении приговоров в исполнение Василий Михайлович Блохин.

В том же крыле, в квартире №36 некоторое время жил Л. М. Заковский с супругой. Он был переведен из Ленинграда, где оставил после себя реки крови[2]. В должности нового зам. наркома НКВД СССР и начальника Московского управления НКВД Заковский пробыл недолго — всего два с половиной месяца. Но на это время приходится пик репрессий в Москве, в том числе в отношении латышей, хотя сам он и жена его Эльза Эрнестовна — тоже сотрудница НКВД — были латышами. Подследственный А. О. Постель, бывший начальник 3-го отделения 3-го отдела УНКВД по Москве и Московской области, на допросе показывал: «Арестовывали и расстреливали целыми семьями, в числе которых шли совершенно неграмотные женщины, несовершеннолетние и даже беременные, и всех как шпионов подводили под расстрел <…> только потому, что они — „националы” (т. е.

[1] Перебравшись по окончании Гражданской войны в Москву, чекист Е. А. Тучков, главный исполнитель государственной программы по борьбе с Русской Православной Церковью, поселился с семьей на Дивеевском подворье. Там к его услугам был целый штат прислуги; монахини подворья в лучшем виде обслуживали его, готовили, стирали на него и его семью, мыли полы. Взамен они, большие почитательницы патриарха Тихона, получали сведения о том, когда и в каком храме служит Святейший. Конечно, они и понятия не имели, что Тучков сам давал разрешения на эти служения, одновременно готовя на патриарха «расстрельное» дело.

[2] Заковский Леонид Михайлович (1894—1938), чекист, комиссар 1-го ранга. Выдвинулся при Г. Г. Ягоде. С 1934 по январь 1938 г. был начальником Ленинградского управления НКВД. Руководил расследованием убийства Кирова. Вместе с А. А. Ждановым развернул массовый террор в Ленинграде. В 1935 г. под руководством Заковского была проведена операция по выселению «бывших людей», в ходе которой «изъято из г. Ленинграда и осуждено Особым совещанием НКВД — 11 702 человека» (бывших дворян, фабрикантов, помещиков, офицеров, священников). Лично участвовал в допросах, пытках и расстрелах. Входил в Ленинградскую областную тройку НКВД. В январе 1938 г. переведен в Москву. При нем были произведены самые массовые расстрелы. Уже в марте снят с поста зам. наркома УНКВД по МО. Арестован и по приговору Военной коллегии ВС расстрелян в августе 1938 г. Не реабилитирован.

люди с нерусскими фамилиями — Авт.). <…> План, спущенный Заковским по Москве, был 1000—1200 „националов” в месяц».

Заковский лично участвовал в допросах и расстрелах и принуждал к участию в расстрелах своих подчиненных. За то короткое время, что он руководил Московским УНКВД, он успел расправиться и с осужденными инвалидами. «В Ленинграде я весь такой контингент пострелял», — бодро сообщил он перед тем, как сделать то же самое в Москве. С приходом Заковского началось поголовное и особо зверское избиение подследственных в тюрьмах, особенно в Таганской тюрьме. «Покажи ему азбуку коммунизма», — учил он коллегу, ударив стоявшего «на выстойке» подследственного сапогом в живот. Заковский успел поработать с троцкистской «бухаринско-ягодинской» группой. Но в марте 1938 года он был снят с поста главы Московского управления НКВД, исключен из партии и вскоре арестован по обвинению в «создании латышской контрреволюционной организации в НКВД, а также шпионаже в пользу Германии, Польши и Англии». Заковского расстреляли 29 августа 1938 года. Через пять дней расстреляли его жену, расстреляна была и сестра Заковского. Останки всех троих лежат в земле «Коммунарки»[1].

В том же дворе по Б. Комсомольскому переулку, в доме напротив (№5), в соседних квартирах №8 и №9 жили неразлучные, как Розенкранц и Гильденстерн, исполнители приговоров — Георгий Голов и Сергей Зубкин. Кроме обычной своей чекистской работы, эти «ребята» (одному было под сорок, другому — под пятьдесят) в течение нескольких лет исполняли еще одну малоприятную обязанность: привозили по ночам на кремацию в Донской тела расстрелянных и умученных на допросах.

Легко представить себе, как дома, в выходной, коллеги по-соседски сидят за чаем или бутылкой водки; а не то — выходят в трусах и майках покурить в коридор, обсуждая кое-какие, только им известные подробности своей работы. Главным из двоих был Голов. Его и расстреляли первым — в 1937-м, а Зубкина — в 1939 году. Скорее всего, Блохин и расстрелял своих соседей-коллег, обычно он не упускал такой возможности. Кстати, у Голова Григория Васильевича имелся младший брат Яков Васильевич. Оба они были уроженцами села Хонятина Коломенского уезда, оба имели низшее образование, числились как сотрудники отдела охраны руководителей партии и правительства. Младший Голов жил в Москве, неподалеку от брата — напротив Рождественского монастыря, недавнего концлагеря. Братья удостоились чести попасть в Сталинские списки. Они были приговорены к расстрелу «в особом порядке» — т. е. без возбуждения следственного дела. Их арестовали одновременно в мае 1937 года и в один день, 14 августа того же года, расстреляли. Зубкин (а кто же еще?) после расстрела привез братьев на кремацию в Донской.

[1] Супруга Заковского, Эльза Эрнестовна Заковская, и его сестра, Серафима Михайловна Заковская, реабилитированы. Самому Л. М. Заковскому в реабилитации отказано.

За те два года, что прошли между расстрелами братьев Головых и Зубкина, последний успел из рядового сотрудника отдела охраны руководителей партии и правительства вырасти в заместителя начальника 1-го спецотдела НКВД и капитана госбезопасности.

Разместились по квартирам в Б. Комсомольском переулке начальники различных отделов и отделений, их «замы» и «помы», разведчики и контрразведчики, помполиты, дивинтенданты, комиссары, сотрудники для особых поручений и просто сотрудники — лейтенанты, капитаны НКВД и ГУГБ. (Все они через некоторое время оказались в Донском.)

В виде исключения, за большие заслуги перед Отечеством, в одном из этих домов получил квартиру писатель Александр Фадеев. Бывший руководитель РАППа[1], генеральный секретарь и председатель правления Союза советских писателей, Фадеев в год «разоблачения культа личности», 13 мая 1956 года, застрелился. Медицинская комиссия, назначенная тогда правительством, цинично заявила, что эта трагедия случилась в результате расстройства нервной системы из-за хронического алкоголизма. Только в 1990 году было опубликовано предсмертное письмо Фадеева: «Не вижу возможности жить дальше, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы <...> физически истреблены или погибли <...> лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте. <...> Жизнь моя как писателя теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивались подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни».

Поговаривали, что в домах по Б. Комсомольскому переулку у некоторых имелись телефоны правительственной связи, а кое у кого якобы и «вертушка» к Самому…

Жизнь здесь проходила, как на вулкане. Жильцы-чекисты постоянно арестовывали друг друга, сновали по ночам «воронки», увозя на допросы вчерашних больших начальников и рядовых сотрудников. Одни соседи безвозвратно исчезали за углом дома, в тучах пыли, поднятой когда — «автозаками», когда — черными «марусями»; другие появлялись, чтобы вскоре тоже исчезнуть. Как теперь стало известно, жизненный путь многих закончился на спецобъектах НКВД Бутовский полигон и «Коммунарка»; более тридцати человек оказались в печах Донского крематория. Конечно, еще большее число жильцов отправилось в места не столь отдаленные.

[1] РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) — литературное объединение 1925—1932 гг., рассматривавшее себя как «один из боевых отрядов рабочего класса». После организации в 1932 г. Союза писателей СССР, большинство членов распущенного РАППа стали членами ССП.

Покоя в домах по Б. Комсомольскому не было ни в 30-е, ни в 40-е, ни в 50-е, ни даже в 60-е годы. Нынешний комендант дома рассказывал, что в середине 60-х годов жильцы взбунтовались и потребовали, чтобы их расселили, т.к. возвращавшиеся из ссылок и лагерей реабилитированные и не реабилитированные советские граждане приходили и требовали справедливого и незамедлительного возмездия за понесенные страдания.

Правда, что касается Тучкова, то он мог жить здесь спокойно и ничего не опасаться. Никто не собирался ему мстить. За раскол Церкви и «ликвидацию» достойнейших священнослужителей, в том числе архиереев, Тучков был награжден именным «маузером», в другой раз — золотыми часами, имел знак «Почетный чекист», а в 1931 году удостоился ордена Трудового Красного Знамени. К этому времени Тучков «по церковной линии» увеличил армию сексотов с 400 человек в 1923 году до 2 500. Начиная с 1934 года, он почему-то отошел от церковных дел, занимался больше партийной работой, в частности, проводил «чистку» партии в родном ведомстве при обмене партбилетов.

Все же определенные жизненные невзгоды не обошли и Евгения Александровича. В 1939 году он, по доносу, был уволен из органов с формулировкой «за невозможностью дальнейшего использования». Как ни странно, он не был репрессирован, но звезда его закатилась безвозвратно. Конечно, он не сидел, сложа руки. Недолго думая, он устроился по профилю — лектором в Союз воинствующих безбожников (СВБ). После высокой своей должности главного борца с Русской Православной Церковью, он теперь в зной и стужу, как какой-нибудь заурядный служащий с потертым портфелем, ездил по провинциальным клубам и читал лекции по атеизму, на которых публика дружно засыпала — и просыпалась лишь тогда, когда начинались вопросы по международному положению. Через несколько лет, правда, он стал секретарем Центрального совета СВБ, но ненадолго. Деятельность СВБ в годы войны по известным причинам сошла на нет. Государственное финансирование прекратилось, осталось одно название. А в 1947 году и название было ликвидировано. Функции Союза воинствующих безбожников перешли к более цивилизованной организации — обществу «Знание».

Тучков вышел на пенсию. Он писал статьи, с загадочным видом говорил внукам, что ему «есть что вспомнить», и даже начал было писать воспоминания. Часть их (конечно, чрезвычайно тенденциозная) была им вчерне закончена. Ходили слухи, что Евгений Александрович в конце жизни как-то признался, что лучшие люди, которых он встретил, были священнослужители. А однажды якобы видели, как он проскользнул, стараясь остаться незамеченным, в действующий храм.

В середине 50-х годов он тяжело заболел и через некоторое время понял, что умирает. Находясь в Центральном госпитале МВД, он дал знать

патриарху Алексию I (Симанскому), что хочет встретиться с ним, и тот посетил его, разумеется, с ведома соответствующих органов. Четыре часа Тучков провел с патриархом наедине. Скорее всего, это была исповедь недавнего гонителя Церкви, человека, хранившего многие тайны, связанные с уничтожением иерархов и лучших представителей Русской Православной Церкви XX века[1].

В течение этих нескольких часов жена Евгения Александровича причитала под дверью больничной палаты, что ее Тучков сошел с ума, заперся с каким-то «попом», и она теперь не успеет проститься с любимым мужем.

Похоронили Тучкова на Ваганьковском кладбище...

Так окончилась жизнь человека, которого некоторые называли «Серым кардиналом», а прославленный в лике святых патриарх Тихон, которого Тучков мучил до самой кончины, говорил о нём: «Мой серый человек», — по аналогии с «чёрным человеком», до которого Тучков, видимо, не дотягивал...

[1] Марковчин В. В. Из жизни «Серого кардинала» Русской Православной Церкви. Е. А. Тучков. Машинопись. 1998 г.

© Художник Елена Любович

Алексей Комаров
(Латвия, Рига)

Родился в 1963 году в литовском городе Кедайняй, там же окончил среднюю школу, потом учился в Ленинграде, проходил военную службу в Афганистане. Затем окончил филологический факультет Латвийского университета (г. Рига) по специальности «русский язык и литература», имеет сертификат историка того же университета. Работал школьным учителем, редактором богословских лютеранских переводов на русский язык.

Египетская осень

(цикл)

1.

Вновь Гор ясноглазый пустился в полёт,
Крылами вращая небесную твердь.
У нового времени — старый отсчёт:
На жёлтых папирусах красная медь.
Обличия мёртвых Анубис хранит,
Безжизненных мумий псоглавый божок.
Немых саркофагов холодный гранит —
Египетской осени древний пролог.
Ещё впереди и еврейский исход,
И конниц арабских заливистый крик,
Но Гор ясноглазый пустился в полёт,
И рыщет Анубис меж строк мёртвых книг.

10.09.2012

2.

Бежать, бежать в безводные пески
От сытого египетского плена,
От сладостной языческой тоски,
От сна, что станет смертью постепенно.
Бежать, бежать от царских пирамид,
От жреческой премудрости надменной,
Чтоб пережить в песках паденья стыд
И в покаянном сердце — перемену.
Бежать, чтобы в пустыне встретить смерть,
Там не найдя земли обетованной,
Но не утратив детской веры твердь —
Обыденной, как вкус небесной манны.

22.09.2012

3.

Египетская осень
С папирусов шершавых
Иероглифом-вопросом
Глядит сфинксолукаво.
Янтарность масти[1] пряной
Слегка горчит иссопом,
С лазурью неслиянна
Прощальной жертвы копоть.
И так же в жизнь не влиться
Тому, кто пал на ложе
Египетской царицы,
Блудницы златокожей.

06.09.2012

4.

Бог-младенец мой розовощёкий,
Убегай от иродова гнева,
Коль рождён — с виной, но без порока —
Царским лоном благодатной Девы.
Поскорее утекай в Египет,
Прихватив дары из Вавилона —
Гнева яд царем еще не выпит
В споре за давидову корону.
Средь могил Египетского царства
Беглецов следы в песках простынут —
Так, во тьме, в языческих мытарствах,
Сохранит Отец до срока Сына.

14.09.2012

5.

Прощай, Йершалаим!
Путём, давно известным,
К язычникам бежим
Из Иудеи тесной.
Не умертвит закон
Младенческую веру —
Кто со Христом рождён,
Тот по Его примеру
Через пески бежит
В Египет знойный, чтобы
Младенца там укрыть
От иродовой злобы.

22.09.2012

[1]Масть — (библейское) специальный состав для ритуальных помазаний (Исход 30:22-25; Псалом 22:5).

6.

Достаточно тленья, не надо огня,
Чтоб адовой муке в душе поселиться.
С каких же высот ты глядишь на меня,
Посланница света, дитя-голубица?
В том истинность веры, чтоб пав, снова встать,
А вовсе не в бегстве от жизни в пустыню.
Египетских старцев иконная стать —
Младенческой веры святая твердыня.
Надменного идола звонкая медь —
Премудрого беса последняя милость
Лишь в том, чтобы, пав и истлев, умереть
Тому, что от истинной веры отбилось.
По каменным глыбам Бог водит перстом,
Стирая в песок ложь, которой коснётся.
Премудрость египетских старцев не в том,
Что издревле в мире Египтом зовётся.

10.09.2012

7.

Профиль осени в небе не резок,
Сквозь туман проступают деревья
Желтизною египетских фресок
И языческих снов суеверьем.
Мир, египетской осенью хворый,
Так глядится в опавшие листья,
Словно в древних папирусов ворох,
Словно в мумий египетских лица.
А на землю осенней порою
С фресок смотрит надменно и прямо
Царство внуков почтенного Ноя
И детей нечестивого Хама.

22.09.2012

Борис Вайнштейн
(США, Бостон)

Родился, учился и работал в Москве, откуда эмигрировал в США в 1992 году. Программист. Во время перестройки писал тексты для актеров эстрады. Рассказы читались в радиопередачах «С добрым утром» и «С улыбкой». Рассказы, стихи и афоризмы печатались в журналах «Заметки по еврейской истории» и «Порт-Фолио».

«Сизиф одолевает вечность»

Угра

Река — тиха. Река — узка.
И в дали, обозримой глазом,
По обе стороны войска.
Стоят войска и ждут приказа.

Два полководца, два князька
Томят дружины, вдарить сразу б,
Да зуб не попадает на зуб,
Проходят дни, грызёт тоска.

Но через время, сквозь века
Былое просочится сказом.
Сказ мудростью назвать обязан
Покой и страхи тупика.

И славою цепь неувязок.
Полки стоят, зима близка.

***

Дорога круче, ноша легче
Из-за того, что цель вблизи.
Но камень вырвался, калеча
Траву, сплетения лозы,

Склон пропахал и лег в грязи.
Но року не противоречат.
И вновь взбирается Сизиф.
Тропинка в октябре скользит,

Зато в июле пышет печью,
И сколько б ни тянулась жизнь
Все время камень давит плечи.
А те, кому сей труд грозит,

Не вспомнят о своём предтече...
Сизиф одолевает вечность.

Два сонета Наполеону

***

Судьба сумела в нем соединить
Понятья: полководец и политик.
Он в двадцать шесть смог диктовать элите
И торопил свою звезду в зенит.

Всевластный и безжалостный магнит
Войны тянул невидимые нити.
Маренго. Йена. Бедный победитель.
Итог предсказан: остров, форт, гранит.

И то, сражались — пушечки одни.
Теперь в эпоху роковых открытий,
Кумир тиранов, ох, хватило б прыти
Еще на десять тронов для родни.

А так Господь Европу охранил:
Сир ничего не знал о динамите.

***

«Немалый клан, что толстая кора.
Защита. Все мы чтим закон вендетты.
Один убит, и честь семьи задета,
А там для мести подрастает брат.

Так гроздьями теснится виноград,
И, значит, надо гроздь срезать стилетом.
Будь у Христа хоть пара братьев, где там!
Его бы не посмел распять тиран».

Семья шла в церковь, и отец мораль
Бубнил. И фразы были, как монеты.
Похожи. То же он твердил вчера.
Аяччо. Полдень. Середина лета.

Десятилетний мальчик входит в храм.
Там у дверей Христос полураздетый.

***

Май, утро, солнце. Кто-то за стеною
Наигрывает: До, ре, ми, фа, соль...
Луч нежно давит чашечку весов
Склоняя день, как и вчерашний, к зною.

Господь уже расправился с весною
И жилкою пульсирует висок,
Когда жара затянет поясок,
И пыль смешается с голубизною.

Ту влагу, что успел сберечь песок,
Деревья пьют и пьют с непоказною
Поспешностью, натянутой струною
Корней стремясь дойти до полюсов.
А ветви от ненастья ждут вестей —

Протянуты жаре и духоте.

***

Афоризм это банальность, высказанная в оригинальной форме.

***

По мере распространения, слух становится былью.

***

Мезальянс это брак желаемого и действительного.

***

Люди делятся на две категории — достойные и отстойные.

***

Три стадии казусной ситуации на работе —
приказус, отказус и наказус.

***

В поисках идеальной супруги сменил не один идеал.

***

Моногамный человек. Одно гамно.

***

Самая сильная любовь — безответная:
человек безответно любит зарплату, а труд — человека.

***

Нет более глупого и унизительного занятия,
чем разговор с умным человеком.

***

Турист со скверным характером, скорее всего,
вернется на родину патриотом.

***

До водки дама требует доводки.

***

Предусмотрительная жена мстит мужу за будущие обиды.

***

Современное общество — это один большой дом толерантности,
в котором политкорректные насилуют законопослушных.

***

Талант не пропьёшь, если нет таланта пропить.

***

Сперва за дедку, потом за бабку, потом за внучку, потом за жучку,
потом за кошку, потом... не помню точно, но вроде выпили
ещё и за мышку. В общем, пропили репку.

***

Всегда есть выход из любой ситуации. К примеру, плохому танцору
просто нужно поменять пол.

***

Счастье в семейной жизни наиболее остро ощущается
во время передышек между скандалами.

***

Самая трудная задача историка — уговорить несколько очевидцев.

***

Эстрадная песня, как коньяк — от мотива пьянит,
а от содержания пахнет клопами.

***

Занято место под солнцем? Займи место под тем, кто его занял.

***

Удобнее всего воровать
под разговоры о возрождении национального величия.

***

Будьте деликатны с поэтами. Поэты люди ранимые.
Особенно на дуэлях.

***

И запомни — сколько тебе нужно для жизни,
другие люди знают лучше тебя.

***

Авторы афоризмов зачаты экспромтом.

***

Литература: пришел, утырил, подписал.

***

Вывезли самих себя заграницу — и ещё утверждают,
что не разграбили Родину!

© Художник Елена Любович

БЕСЕДЫ

© Художник Елена Любович

Татьяна Горичева
(Франция)

Татьяна Михайловна Горичева — православный философ, публицист, миссионер. Родилась в 1947 году в Ленинграде. В советские годы была соредактором самиздатовского журнала «37». В 1980 году была выслана из СССР. В течение восьми лет, до возвращения в Россию, жила в Германии и Франции. Училась в Католическом институте св. Георгия (Франкфурт-на-Майне, ФРГ), в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. Регулярно выступает в России и в западных странах с лекциями о Православии. Основатель фонда защиты животных. Член редколлегии петербургского альманаха «Русский міръ».

Интервью с кардиналом Йозефом Ратцингером,

председателем Конгрегации по учению веры в Ватикане (будущий Папа Бенедикт XVI, 2005—2013)

Вопрос: *Сегодня много говорят об экуменизме. Многое делается в этом направлении. Но мне, например, представляется, что «экуменическое движение» до сих пор было чрезвычайно поверхностным, излишне «оптимистическим». Что Вы думаете об этом?*

Ответ: Для меня несомненно то, что мы должны идти в направлении «неделимой», единой Церкви. Но сегодня существует и такой экуменизм, который не стремится к истине, не замечает драматизма проблемы, экуменизм, основанный скорее на взаимном неверии, чем на взаимной вере. От такого экуменизма спаси нас Господь! Отказ от собственной веры и традиции не сблизит нас, это будет лишь ложное единство. Мы должны идти вглубь. Поэтому мне кажется, что сегодня ещё рано говорить о возможности общего, межконфессионального Причастия, потому что нет у нас ещё действительно единого и глубокого подхода к Евхаристии.

Нужно набраться терпения и не торопиться. Никакие дипломатические контакты и встречи здесь не помогут. Единство не может быть только чем-то человеческим, изготовленным по нашему желанию. Не таково единство во Христе. Лишь терпение, ожидание, молитва и смирение приведут нас к подлинному экуменизму. И если это произойдёт, то вначале не на уровне «институций», а очень конкретно, в глубине.

Вопрос: *Расскажите о Вашем знакомстве с русской культурой и духовностью. Что Вам особенно близко в этой традиции?*

Ответ: После войны, когда я начал изучать богословие, я прочёл, наверно, всего Достоевского. Читал Соловьёва. Потом мне в руки попалась книга с избранными отрывками из русских философов-славянофилов. Её я прочёл с восторгом. Что мне нравится у Вас — это глубокое, мистическое измерение веры, которое так помогает нам, католикам, избавиться от «юридического» и рационализирующего подхода к истинам. Поражает меня и внутренне горение русской веры, её страстность. Конечно, у разных писателей мы находим разное. Достоевский, например, уже в 19 веке пережил и передумал то, что стало основной проблемой нашего века. Он — пророк, он поставил диагноз современным болезням, описав все тупики и возможности свободы, бунта, нигилизма.

Если говорить коротко, то в Православии меня привлекает именно «внутренняя жизнь», жизнь «из середины», из внутреннего созерцания. Харизма монашеской жизни с одной стороны, и церковный народ — с другой. Вера и благочестие никогда не угасали в этом народе. Церковная иерархия не всегда была свободна от компромиссов, но Церковь русская держалась, прежде всего, народом, хотя и иерархия важна. Я хотел бы сказать так: меня поражают, во-первых, простота, сила и церковность народной веры, во-вторых, мистическая глубина Православия, в-третьих же, исторически-философское и пророческое видение мира в русской культурной традиции.

Вопрос: *Православное богословие и философствование по существу персоналистично. Личность — как Личность Бога, так и личность человека здесь — в центре. Основные проблемы жизни разрешаются также весьма «персоналистично», благодаря исповеди, разговору с духовником. В нашей Церкви не принято говорить с верующими языком энциклик и постановлений. Как Вы относитесь к христианскому персонализму? Я, читая Ваши интервью и книги, поняла, что не слишком положительно.*

Ответ: Я бы хотел сказать, что персонализм, несомненно, является очень важным для нас, христиан, понятием. Поэтому у нас, на Западе, в 20-е и 30-е годы мы пережили новое воскресение персоналистической мысли. Сейчас многие забыли, что понятие «персона» пришло от Святых Отцов. Учение о Святой Троице уже содержит в себе понятие «лика», личности. Да и сам Бог есть Личность. Так что персонализм — вполне христианский подход. Плохо лишь то, что в 20-е и 30-е годы останавливались лишь на отношении «ты» и «я», на перипетиях этих отношений. Всё утопало в человеческом и психологическом. Забывали о весьма существенных измерениях действительности. Например, о том, что мы, будучи человеческими существами, несём в себе тварность, тво-

рение. Этические нормы — это ещё не всё. Мы несём в себе идею Творца. И наша личность, все структуры личностного общения должны быть соотнесены с тем, что Папа называет «природой». Я же предпочитаю говорить «творение».

Думаю, что в Восточной традиции, в традиции духовного руководства и старчества отношение между старцем и его духовным чадом не сводится к «психологическим» или «этическим» элементам. И здесь участвует «творение».

Вопрос: *Нам, православным, кажутся иногда чересчур абстрактными, «внеличностными» постановления Католической Церкви. Например, энциклика по поводу того, что применять противозачаточные средства — это грех. Я, например, видела, что в Бразилии умирает множество детей, мне кажется, что в таких бедных странах (да и в богатых тоже) нужно было бы издать более «гибкие» постановления. В Православной Церкви этой проблемы нет. У нас всё решается, прежде всего, в разговоре с духовником. Мне кажется, что абстрактность католического подхода приводит также к тому, что иерархов мало кто слушает, к раздвоенному сознанию.*

Ответ: Католическая Церковь не приказывает, она советует. Противозачаточные средства — тоже вопрос о том, что человеческие отношения не принадлежат только человеку. Семья связана со всем творением. И с Творцом. Поэтому «природа» должна присутствовать также и в отношениях между мужчиной и женщиной.

В Бразилии, как и в других странах Третьего мира, семейные отношения часто усложнены безответственностью мужчин, которые относятся к женщине высокомерно и даже цинично. Да, всё это трагично.

В Бразилии Церковь сталкивается с целым рядом серьёзных проблем. Плохо и то, что до сих пор там нет собственного клира, священники приезжают из Европы. Но сейчас в семинариях уже много и бразильских студентов.

Вопрос: *Теперь хотелось бы обратиться к несколько иной проблематике. После II Ватиканского собора (да и раньше уже) заметно угасание литургии в католическом мире. Многие вообще потеряли сознание того, что такое литургия, многие пытаются сами «сочинить» что-то, что могло бы литургию заменить. Я знаю, что Вы большой специалист в этом вопросе, что Вам дорого литургическое наследие. Расскажите, как Вы рассматриваете эту проблему?*

Ответ: В 30-е годы мы вновь переоткрыли литургию. Пытались както возвратиться к тем её формам, которые были наиболее совершенными, зрелыми. Но постепенно эти поиски привели к глубокому кризису: многие стали думать, что литургия — это просто продукт творчества, самовыражение. Всё наоборот: величие литургии как раз в том, что мы входим в нечто, не созданное человеческими руками. Об этом позабыли. Литургию не открывают, а выдумывают. Думаю, что на Западе мы должны вновь переоткрыть великую «объективность» литургии. И это богатство будет дано не одной отдельной общине, а всей Церкви в целом. Литургия эта даст удовлетворение каждой личности. Ведь личность нуждается не в том, что она сама произведёт, а в том, что она получит как дар. Но я думаю, что сегодня всё больше и больше людей не довольно этой самодельной «литургией», в новом поколении всё больше и больше пробуждается стремление открыть подлинную литургию. Это «возвращение домой» будет мучительным и трудным. Но здесь нам поможет внутренняя сила веры и всё растущая потребность людей в настоящем.

Впервые опубликовано в журнале «Беседа», Париж, 1987 г.

© Художник Елена Любович

Елена Любович закончила Московскую художественную академию «Памяти 1905 года» (МАХУ). Художник дизайнер промышленной графики. Около двадцати лет работает в рекламе. Артдиректор в рекламном агентстве «TMA-DRAFT».

Наталья Богдановская
(Франция)

Интервью с Оскаром Рабиным

Автопортрет с паспортами. Три цвета — красный

(из ненаписанного)

Первый, советский паспорт Оскар Рабин получил в 44 году в Латвии, на родине матери. В графе национальность поставили «латыш». Учился живописи, разгружал вагоны, жил в бараке.

При Брежневе серпастый-молоткастый с пафосом отобрали. Писал бараки, сеял с лианозовскими единомышленниками идеи нонконформизма, выставлялся в тайных «квартирниках». Бараки, написанные, покупались заезжими коллекционерами. Коллекционеры с холстами выслеживались милиционерами. Оттепель — первые персональные выставки Рабина за рубежом. Советская пресса чутко отзывается на новые веяния в искусстве — обличительными статьями. Сентябрьским утром 60-го года Оскар Рабин проснулся знаменитым: у газеты «Московский комсомолец» был прекрасный рейтинг, у статьи — серьезный заказчик на Лубянке, а заголовок «Жрецы помойки №8» сразу бросался в глаза. Почти пятнадцать лет подобной славы определили судьбу выставки нонконформистов на пустыре в Беляево — «Бульдозерной выставки», которая продержалась лишь несколько десятков минут. Нынешней осенью ей ровно 40 лет. Четыре года спустя, загнивающая в капитализме и пороках Франция поселила изгнанника в квартиру-мастерскую с видом на Национальный центр культуры и искусства имени Жоржа Помпиду. И вручила свой паспорт.

При Путине, с почестями, выдали паспорт Российской Федерации. Посыпались госпремии: «Инновация» — за творческий вклад в развитие современного искусства. Звания: почетного академика Российской академии художеств. Награды: орден Российской академии «За служение искусству». И выставка: в Третьяковской галерее — «Три жизни»...

Жизнь №1

С самого детства вся моя жизнь складывалась там — в этом, в общем, довольно оригинальном и необычном политическом сообществе. Сейчас, когда я уже больше тридцати лет живу в других условиях, конечно, мне это кажется и абсурдом, и глупостью. Но, знаете, свои преимуще-

ства тоже были. Колорит, настроение — для моих картин, где я изображал жизнь, это, в общем, был плюс. Хотя, конечно, не могу сказать, что жить было особенно весело. Невозможно было официально выставить картины — только «по-черному», с определенной угрозой. Власти считали это враждебными действиями. Невозможно было официально продать картины. Абсурд — ни меня, ни многих моих друзей не считали за художников, требовали, чтобы мы где-то работали официально — на любой работе, кроме художественной. Это само по себе уже такая нелепость, которую в Париже, например, даже трудно объяснить.

А «бульзозерная выставка» началась с того, что я с группой моих товарищей-художников направил письмо в Моссовет. Мы сообщали, что намерены устроить «показ картин» на московском пустыре 15 сентября 1974 года с двенадцати до двух часов. Наутро мне позвонил чиновник из отдела культуры Моссовета. Моментальная реакция властей подтверждала подозрение, что наши телефоны прослушивались. Потянулись бесконечные совещания. Нам выдвигались возражения юридического характера, которые мы легко отбрасывали: в СССР еще никогда не проводились художественные выставки на открытом воздухе, и на этот счет не существовало никаких законов. Формально ее запретить не решились. Однако иллюзий никаких не было: нам предстояло оставаться настороже.

То, что произошло в день выставки на пустыре, напоминало театр абсурда. Всюду виднелись милицейские машины, но милиционеров в форме было немного. Зато было много здоровенных молодцев в штатском с лопатами в руках. Кроме того, стояли бульдозеры, поливальные машины и грузовики с готовыми для посадки деревцами: власти решили именно сейчас разбить на пустыре парк. Иностранные корреспонденты и дипломаты ждали, какие будут наши дальнейшие действия. И тут началось побоище: у нас начали силой вырывать картины, пытались вырвать у меня, но я вцепился и стоял насмерть. В конце концов, все-таки вырвали. Завелись бульдозеры. Я увидел, что моя картина, разорванная, валяется в грязи. Бульдозер, рыча, медленно двигался все ближе, и я бросился наперерез, уцепился за верхний край ножа и стал перебирать ногами по собранной бульдозером земле, иначе бы меня затянуло под нож, а там — и под машину. Мой сын и его друг бросились ко мне и тоже ухватились за нож бульдозера. К водителю подбежал человек в штатском и приказал ему остановиться. Но «танкист» был то ли пьян, то ли слишком возбужден и, наоборот, нажал на акселератор. Не знаю, чем бы это все кончилось, но один из американских корреспондентов рванулся к шоферу и выключил зажигание. Тут же ко мне и к моему сыну Саше подскочили «трудящиеся», и со скрученными за спиной руками нас втолкнули в стоящую рядом машину. Помню гигантскую, двухметровую фигуру приехавшего в Москву ленинградского художника Жени Рухина: «герои субботника»,

матерясь и крича, волокли Женю по развороченной глине… Всего было задержано пятьдесят человек, но перед судом, как нам заявили, предстанут лишь несколько, в том числе и я.

Избавиться от меня хотели маниакально. Домой приходили «доброжелатели» и уговаривали эмигрировать. Вызов из Израиля от неизвестного мне лица. Из страны уже выдавили Эдуарда Зеленина, Олега Целкова, Юрия Жарких, Алексея Хвостенко… Однажды мы получили открытки из ОВИРа. Спрашивали, не согласны ли мы на турпоездку на Запад. Для нас был важен сам принцип свободы передвижения: поехали по турвизе, свободно вернулись…

Жизнь №2

Шесть наших туристических парижских месяцев промелькнули незаметно. Мы с Валей много работали, ходили по музеям. И вдруг узнали историю о том, как Мстислава Ростроповича и Галину Вишневскую лишали советского гражданства! В тот же вечер мы решили возвращаться в Москву, но нас упредили. Вечером 22 июня 1978 года генконсул зачитал мне по бумажке: «Указом Президиума Верховного Совета СССР решено лишить советского гражданства Рабина Оскара Яковлевича в связи с тем, что его деятельность позорит звание советского гражданина». Я вышел на улицу, и все поплыло у меня перед глазами. Была пятница, в этот день недалеко от Люксембургского сада проходил вернисаж «Святое искусство», где висело несколько наших с Валей картин. Я пришел туда, и новость мгновенно распространилась. Надо было встречаться с журналистами, а мной овладело полное отупение.

Здесь для меня все было новым, я ведь никогда вообще не был на Западе, ни в одной стране, даже социалистической. А тут первая страна — и сразу Франция, сразу Париж. Несколько лет я пробовал передать на холстах то, где я живу сегодня. Но это не всегда удачно получалось. Я пришел к тому, что надо просто смотреть и искать то, что мне нравится, что я люблю вот здесь — исходить из этого, а не лезть в проблемы, которые на самом деле не мои. Наверное, я плохой француз. Проблемы есть везде, и во Франции они не менее острые, чем везде, — но я не чувствую их близко к сердцу. После того, как я это понял, у меня дело пошло лучше. Оказалось, что я все-таки люблю здесь очень многое. И в работах появилось больше лирики, к которой меня, в общем, и в России всегда тянуло. Там было просто некогда — надо паспорта рисовать, газеты, откликаться на события, которые меня волновали... Вот картина, с черёмухой. Я, к своему удивлению, обнаружил, что ее тут садят, в Булонском лесу. Даже ягоды находил.

Ситуация в западном искусстве такова, что хотя назвать это буквально диктатурой нечестно, но и равенства возможностей, конечно, совер-

шенно никакого. Вплоть до какой-то глупости и абсурда. Существует буквально интеллектуальный шантаж: попробуйте вот так сказать где-то вслух, что вам не нравится современное искусство, с вами даже не будут спорить, но вас будут презирать и думать: «Ну да, что с ним говорить, если человек не понимает?» Рядом со мной Центр Помпиду, и я иногда хожу на выставки. В залах, где современное искусство, особенно второй половины XX века, не так уж много людей. Они ходят — и даже вслух не обмениваются мнениями. Никаких споров, как будто приемлемо все и ясно, все нормально. А чего уж там нормально? Например, остановится человек перед знаменитым «Фонтаном» Дюшана. Эта работа, правда, столетней давности, но от этого она не менее актуальна. Она представляет собой унитаз. И, что интересно, он стоит за стеклом. Первый вопрос — почему за стеклом? Остальные объекты там без стекла. Музейные работники боятся, что граффити какое-нибудь на нем нарисуют? Но это еще не все, им кажется, что люди настолько дикие и глупые, и настолько ничего не понимают, что рядом установлен телефон. Можно поднять трубку и попросить, чтобы вам объяснили, что это такое. Это — официальное искусство, оплаченное государством. И по всему миру сотни дворцов, как Центр Помпиду, наполненных примерно одними и теми же картинами, скульптурами одних и тех же авторов. Есть от ста до двухсот фамилий, которые повторяются во всем мире практически без каких-то национальных признаков искусства, без персонального видения. Одно из, так сказать, правил — как можно меньше проявлять личного, индивидуального. Но, когда все уже испробовано, я уверен, вернутся к живописи. Дэмьен Херст, кажется, покончил с консервированием акул. Он понял, что этим можно удивить один раз, и возвращается к картинам. Да и наш Илья Кабаков заявил, что его инсталляции разобрали и определили в подвал, а сам он снова пишет картины. Придет время, и появятся новые гении, как в свое время пришли Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рембрандт и Гойя. Этот эксперимент подготовит почву для нового рывка в культуре. В XX веке великие открытия и прорывы пришлись на науку и технику, тогда как раньше они совершались в искусстве и в литературе. Но на все области гениальности не хватает.

Один знаменитый американский галерист объяснял: «Вот, стоит на улице мусорный бак. Я прикажу его внести в галерею и позвоню клиенту. Он придет и купит бак за сотни тысяч долларов». Галерист может это сделать — сработает его авторитет. Замечательно на эту тему говорил тот же умница Кабаков. Что такое хорошо и что такое плохо, кого «поднять» и кого «опустить», в искусстве решают «носы». Их во всем мире около тридцати — это самые видные арт-критики, галеристы типа Саатчи и Гагосяна, кураторы и очень богатые люди, которые поддерживают искусство своими финансами. Их группа и держит весь многомиллионный рынок, и решает судьбы ис-

кусства. Если у вас есть Кунс, Херст или Уорхол, значит, вы состоите в этом клубе миллиардеров.

О себе трудно говорить, потому что с собой живешь каждый день, нет такой резкой перемены. Мне кажется, я принципиально не изменился за эти 36 французских лет. Как художник я сформировался в России. Влияний на себе не испытывал, манеру не менял, творческое кредо мое тоже осталось прежним. Какими были, такими и остались и Лианозово, и Москва. И присутствуют у меня в картинах нисколько не меньше, чем Париж, чем Франция. В общем, все это у меня перемешалось, я даже на холстах иногда путаю буквы латинские с русскими, слова и т.д. Это нормально. Какие-то элементы с русскими сюжетами попадаются — и наоборот. Не то, что я это так уж специально делаю, но жизнь так сложилась, что, действительно, все это во мне перемешалось, и все это присутствует одновременно. Пробовал много раз писать французский паспорт, но всё неудачно: оказывается, только советский я и мог серьезно написать, и даже теперешний русский — это просто формальные документы, за ними ничего не стоит, ни жизни, ни судьбы, ни моей, ни народа — обычная чиновничья бумажка. Тогда можно любую бумажку написать, билетик. Это не мой сюжет. Картина не соврет. В жизни еще можно что-то взболтнуть, а по картине сразу видно — холодная... Был случай, когда Ле Пэн прорвался во второй тур, Франция вся кипела страстями. Я вышел на улицу, как раз был митинг, вернулся под свежим впечатлением, попытался все это написать — не вышло. Картина бездушная.

Я не думаю, что французов глубоко трогает моя живопись. Но это люди, которым просто родственно то мое состояние, то мое чувство, которое я испытывал и пытался передать в своих работах. И тут не обязательно объяснять сюжет и персонажей, предметы, которые, может быть, действительно, несколько специфичны. Есть само состояние и настроение этих вещей… В общем, люди-то все одинаковые, чувства-то у всех одинаковые — и грусть, и радость. И если твои выразительные средства и возможности достигают такого уровня, что и другие люди разделяют с тобой твои эмоции, то ты можешь быть вполне спокоен.

Жизнь №3

Российский паспорт вручил мне Александр Авдеев, когда он был послом во Франции. Произошло это в значительной степени случайно. Свершила чудо женщина, причем француженка — Шарлотт Валигора. Эта энтузиастка русской живописи написала письмо французскому президенту. Из его канцелярии это послание прямым ходом поступило в посольство России. И вдруг Авдеев приезжает ко мне, вроде бы картинки посмотреть. А начинает с другого: «Официальная часть — сперва… В

общем, мы предлагаем вам или российский паспорт, или постоянную визу». Я выбрал паспорт. С меня попросили только три фотографии. Анкетку даже сам консул за меня заполнил…

Дом у человека по-настоящему — один. И у меня он в Париже: работается хорошо, и жить хорошо, спокойно. Все мои 50 лет в России я мечтал о том, чтобы у меня были такие условия. Я спокойно работаю, рисую, как я хочу, никто мне ничего не указывает. Кроме того, имею возможность показать свои работы и жить на средства от моих работ. Собственно, то, о чем я мечтал всю жизнь там, но там это мне, как правило, не удавалось. Приезжаю в Москву редко, только на выставки. Больше двух недель мне там делать нечего. Слежу, конечно, за тем, что происходит в России. Путинский сегодняшний рейтинг — это карикатура, точно так же, как и сталинский был. Не надо считать людей за идиотов: они понимают, что говорить правду — рискованно. Начиная с местного начальства, ибо они служат этой власти. Категория людей, интеллигенция, которая подписала открытое письмо по Крыму — это в основном те, кто всю жизнь служили власти. «Крымнаш» — конечно, весь мир возмущен этим, и нормально никому это не может нравиться: вот вам подарят что-то, а потом придут и со словами: «Я передумал» — заберут. Так же и с журналистами: либо вы страшно известный, и у вас свой орган печати, либо у вас нет другого выхода, как расставлять в статье или репортаже те акценты, которые нужны этому изданию и в соответствии с ориентацией издания. Но Россия живет не по закону, а по понятиям, как в средневековье. Она вовсе не сошла с ума, как это кажется многим порядочным людям, а пытается таким весьма спорным и диким образом защитить свои национальные интересы. И в этом, а не только и не столько в эффекте от деятельности контролируемых властью средств массовой информации, кроется разгадка тайны пресловутых «86 процентов», голосующих за войну, за власть и «за все хорошее, против всего плохого». Списывать сегодняшние общественные настроения исключительно на пропаганду — значит заниматься успокоительным и бесполезным либеральным самообманом. Жизнь так устроена — нам всегда хочется, чтобы все любили друг друга, но, к сожалению, миром правят иные законы. Человек все, что ему попадается под руки, использует для своей пользы. Теперешние отношения с западом Путин пытается рвать, и делает вид, что рвет, но как-то так, что это не касается его лично или его окружения. Сейчас вот что-то с регистрацией двойного гражданства придумали... Зачем? Только ли для того, чтобы прижать своих чиновников?..

Если бы была машина времени? Не знаю, сам часто себя спрашиваю. Конечно, хочется сказать, что жил бы так же, да еще и похлеще. Хотя, куда — похлеще, когда и так меня выслали и отобрали паспорт. Сейчас

я уже по-другому немножко на жизнь смотрю. Тогда мне эта борьба казалась... ну, не то, чтоб «жизнь за это отдать», но каким-то невероятным событием в государстве в плане культуры, что ради этого стоило рискнуть свободой. Масса народа совершенно не верила и довольно открыто говорила, что все эти художники и протесты — выдумки КГБ, чтобы отвлечь внимание от каких-то серьезных проблем. Была же тогда цель у Америки, любыми путями ослабить СССР. И в итоге не только ослабили, но и ликвидировали это государство. Получилось у них, может, не то, что хотели, потому что сейчас надо снова думать, что делать с Россией... Американцы тратят меньше денег на антироссийскую пропаганду, чем Россия на антиамериканскую. Интересно, вернутся ли в Россию глушилки?..

Чем больше я живу, тем больше мне кажется, что, в общем, все-таки не три жизни, а две. И когда меня спрашивают, какой я художник — французский, русский — я отвечаю: советский.

© Фото Н. Богдановской

ПО СЛЕДАМ НЕМЕРКНУЩИХ СОБЫТИЙ

© Коллаж Е. Кондратьевой-Сальгеро

Андрей Фитце-Ланской
(Франция — Россия)

Граф Андрей Борисович Фитце-Ланской родился в 1942 году во Франции (родители были эмигрантами первой волны). Его отец, Борис Фитце, работая по найму, прошел путь от простого рабочего до руководителя предприятия. Сам же Андрей Борисович — педагог высшей школы, в прошлом — проректор университета в городе Тур. Сейчас живет в России. Любимое место его пребывания — дом в Плесе, на берегу Волги.

Те русские, что послужили Франции

Блажен, кто, как Ясон, иль славный Одиссей,
Свой подвиг совершив, с чужбины воротился,
Кто, раздобыв руно, умом обогатился,
Чтобы среди родных прожить остаток дней!

А я, друзья мои, увижу ли опять
Деревню и дымок над хижиной моею,
И тот клочок земли, что мне всего милее,
И где в любой сезон в природе благодать?

Мне римских мраморных дворцов дороже быт,
Что память Галлии о пращурах хранит.
Отдам латинский Тибр и гору Палатин,

Чтоб вновь попасть в Лире, в Луару окунуться,
И сладким воздухом отчизны захлебнуться,
Под кровлей сланцевой увидеть Анжевин.

Дю Белле

Нам ещё предстоит подробно описать историю эмиграции, а я хотел бы коснуться, пусть и не в полной мере, тех бесчисленных русских эмигрантов во Франции, которые с любовью послужили принявшей их стране, никогда не забывая при этом своего русского происхождения. Можно сказать, что эти люди, став французами, были знаменосцами вечной России во Франции.

Они сыграли выдающуюся роль во всех сферах французской общественной жизни: государственной обороны, гуманитарных и точных наук, художественной среды. Речь идёт чаще всего о детях той первой эмигрантской волны, которые, будучи рождёнными в Российской империи, оказались во Франции.

Русские герои национальной французской обороны

Одним из наиболее привлекательных и самых ярких персонажей, несомненно, является генерал **Зиновий Пешков** (Зиновий Михайлович Свердлов). Старший брат революционера Якова Свердлова, в пору своей юности он ведёт бурную жизнь, близок к революционерам. Максим Горький берёт его под своё покровительство с 1902 года и принимает участие в его беспокойной судьбе. Вот почему Зиновий, после крещения, берёт фамилию «Пешков». В 1907 году он разделяет с Горьким его изгнание в Италию. В 1910 уезжает в Соединенные Штаты вместе с женой, дочерью казацкого полковника. В 1914 поступает на службу в Иностранный французский легион. В 1915 году, после ранения, его командируют в США. В 1917 г. французское правительство посылает его с официальной миссией к временному правительству Керенского. После октября 1917 года, в то время как его брат и вся семья Свердловых трудятся на революцию, Зиновий становится советником Белой армии и встречается с Колчаком и Врангелем; находит Горького, который в конце гражданской войны пытается наладить продовольственную помощь русскому народу, страдающему от голода.

Затем он возвращается в Иностранный легион и сражается в Марокко, где получает второе ранение. Он — командир батальона. Во время Второй мировой войны он присоединяется к генералу де Голлю, который назначает его в 1944 году бригадным генералом. Он становится делегатом от Свободной Франции в Китае, затем послом Франции в Японии. Награждённый Большим крестом ордена Почётного легиона, он умер в 1966 году, захоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Пешков — одна из ярчайших личностей, которая, между тем, не может затмить другую — **Дмитрия Амилахвари**, — ещё одного легендарного героя французской армии. Этот последний родился на Кавказе в 1906 году в княжеской семье, которая исполняла наследственную обязанность командования казацкой кавалерией на Кавказе. Он эмигрирует во Францию вместе с семьёй в 1922 году и поступает в 1924 в Высшее военное училище Сен-Сира. Сражается в Северной Африке в рядах Иностранного легиона. Во время Второй мировой войны — он один из первых, кто становится на сторону генерала де Голля, участвует во всех сражениях Свободной Франции и погибает в битве при Эль-Аламейне, в Египте в 1942 году. Глава Свободной Франции отмечает его, присвоив ему звание соратника освободительного движения — знак отличия, которого удостоены первые участники движения Сопротивления, проявившие героизм. Один из выпусков Высшего военного училища Сен-Сира (1954—1956) носит его имя.

Вспомним также о полковнике **Константине Розанове**, который, будучи уроженцем Варшавы, эмигрирует во Францию вместе с родителями

в конце гражданской войны. В ноябре 1942 года он присоединяется к войскам Свободной Франции и командует отрядом истребителей Лафайет. В конце войны становится лётчиком-испытателем и пилотирует первый французский реактивный самолёт Мистер-4, преодолевающий звуковой барьер. Он погибнет в авиакатастрофе в 1954 году. Кавалер ордена Почетного легиона. Его память увековечена во Франции выпуском марки с его изображением.

Константин Мельник достоин особого упоминания. Сын русских эмигрантов, внук доктора Боткина, который был казнён вместе с царской семьёй 17 июля 1918 года. После окончания Института политических наук в Париже, он поступает на секретную службу в Министерство иностранных дел Франции, работает в США. Автор трудов о советской системе и о колониальном режиме.

Эти незаурядные личности не должны заставить нас забыть тех, кто остался в тени, тысячи человек без званий, офицеров и младших чинов, и служивших во французской армии солдат, многие из которых погибли. Да будет мне позволено привести одно личное воспоминание. В то время как в начале моей карьеры я был инспектором казначейства в маленьком городке центральной Франции, я принимал в своём кабинете одного уже немолодого человека, который гордо представился громким голосом по-французски: «Легионер Сернов в Вашем распоряжении, господин лейтенант!» Это была едва ли не единственная фраза, которую он сумел произнести на французском языке. Он продолжил разговор по-русски, неизвестно каким чудом узнав, что я русского происхождения. Честь и слава тебе, неизвестный русский легионер, как и всем русским воинам французской армии!

Присутствие этих французов русского происхождения особенно проявилось в области искусства и литературы.

Искусство и литература

«Каждому по заслугам», — можно вспомнить это выражение, чтобы начать разговор о писателях, родившихся в Российской империи и ставших членами французской Академии.

Первый из них — **Анри Труайя** (Тарасов Лев Асланович), родился в Москве в 1911 году, эмигрировал во Францию вместе со своими родителями в 1917. Его многочисленные труды часто связаны с историей России и с эмиграцией («Пока стоит земля» и др.). Член французской Академии с 1959 г., лауреат Гонкуровской премии, кавалер Большого креста ордена Почетного легиона. Его изображение украшает марку княжества Монако.

Ромэн Гари (Эмиль Ажар) заслуживает особого упоминания. Сын российской еврейки, бежавшей от революции, он становится дважды ла-

уреатом Гонкуровской премии во Франции. Этот полемичный писатель был настоящим героем Свободной Франции генерала де Голля. Награжден орденом Почетного легиона, участник Освобождения. Он оставил одно из самых интересных литературных наследий послевоенного периода. Окончил жизнь самоубийством в 1980 году.

Элен **Каррер д'Анкосс**, урождённая Зурабишвили, дочь служивших царской России грузинских аристократов, которые эмигрировали во Францию после революции. Её литературные произведения в основном посвящены истории России и происходившим в ней потрясениям. «Русская беда» — одна из её книг с характерным названием. Член французской Академии с 1990 года, награждена Большим крестом ордена Почётного легиона.

Что касается **Владимира Волкова**, он родился в Париже в 1932 году. Его дед, генерал Волков, был расстрелян в Омске большевиками, а мать, Пороховщикова, была в родстве с композитором Чайковским, а также с актёром, недавно скончавшимся при трагических обстоятельствах. Обильное литературное наследие Владимира Волкова было переведено на многие языки и зачастую связано с проблематикой, которую представляла Россия как социалистическое государство. Кавалер ордена Почетного легиона, Ордена Искусств и литературы, лауреат Международной премии мира. Умер в 2005 году.

Невозможно забыть о **Натали Саррот** (Наталье Черняк), родившейся в Иваново-Вознесенске в 1900 году и скончавшейся в Париже в 1999. Романистка, автор театральных пьес, она публикует также очерки о литературе. В литературном труде «Детство» она оживляет русскую эмиграцию начала 20 века.

В области морали, философии и музыковедения можно назвать **Владимира Янкелевича**, учёного русского происхождения, умершего в 1985 году. Он был профессором Сорбонны и оказал влияние на несколько поколений студентов.

Среди историков следует упомянуть **Константина де Грюнвальда**, автора «Ивана Грозного» и многих работ по русской истории. И как же не вспомнить о такой привлекательной личности, какой была **Марина Грей** (Марина Антоновна Деникина)! Многочисленные труды она посвятила русской истории, своему отцу, генералу Деникину, и сражениям Белой армии. Я имел удовольствие встречаться с её сыном, журналистом. Он сделал своей обязанностью и, без сомнения, удовольствием представлять телезрителям русские делегации, которые мы принимали в университете города Тура, где я работал.

Мир кино и театра во Франции был также глубоко отмечен присутствием многочисленных актёров и режиссёров русского происхождения.

Очень привлекательна личность **Роже Вадима**, бывшего одним из знаменитых французских режиссеров 60-х годов. Он — сын русского

дворянина Игоря Николаевича Племянникова, вице-консула Франции в Египте. Можно назвать два из его фильмов, имевших мировой успех: «И бог создал женщину» (с Брижит Бардо в главной роли) и «Опасные связи». Он скончался в 2000 году в возрасте 72 лет.

Жак Тати (скончался в 1982 году в возрасте 75 лет) известен во Франции как режиссёр и сатирический актёр. Его отец был генералом русской армии.

В России особенно хорошо знают **Марину Влади**. Родилась она в семье русских эмигрантов Поляковых, принадлежавших театральному миру, а прославилась как очень красивая актриса большого таланта. Вместе с тремя своими сёстрами — **Одиль Версуа**, **Ольгой Варен и Элен Валье** — она была также автором и исполнительницей песен, имевших большой успех.

Лоран Терциев — сын русского скульптора. Увлечённый театром и поэзией, он старается популяризировать современных авторов, главным образом, англосаксонских, не забывая и театр Чехова. Он был одним из самых известных актёров так называемой «новой волны».

Теперь вспомним **Анну Марли** (Анну Юрьевну Бетулинскую), которая прославилась во Франции за сочинение «Песни партизан», ставшей вторым национальным гимном после «Марсельезы». Она родилась в Петрограде в 1917 году и, после того как её отца расстреляли, эмигрировала во Францию вместе с матерью и гувернанткой. С 1941 года она присоединяется к генералу де Голлю и сочиняет музыку и русские слова «Песни партизан». Французские слова принадлежат Жозефу Кесселю и Морису Дрюону, о чьих связях с Россией нам известно. Анна Марли награждена президентом Миттераном орденом Почётного легиона. Скончалась в 2006 году.

Можно сказать, что **Леон Зитрон** воплощает в себе одном целую эпоху французского телевидения. Полиглот, эрудит, он родился в Санкт-Петербурге в 1914 году и бежал от большевиков вместе с семьёй. Умер в 1995 году. Очень популярный у публики, он прославился, комментируя большие репортажи и телепередачи варьете.

Нет нужды упоминать о знаменитых композиторах, таких как Стравинский, Рахманинов, которых знает весь мир (и которые, что любопытно, не приняли французского гражданства). Следует также вспомнить об украинском танцовщике и хореографе **Серже Лифаре**, ученике Дягилева и Нижинского. Он реформирует парижскую оперу и вводит в танцевальный жанр то, что называют неоклассическим стилем. Он умер в Швейцарии в 1986 году.

Живопись не исключение из тех областей искусства, в которых выразился талант наших русских изгнанников.

Марк Шагал остаётся во Франции символической фигурой обновления русского искусства живописи. Он изучает изящное искусство в Па-

риже ещё до революции, возвращается в 1914 году в Москву, затем окончательно уезжает за границу в 1923-м. Он создаёт театральные костюмы и декорации для «Жар-птицы» Стравинского, иллюстрирует в 1924—25 гг. «Мёртвые души» Гоголя. Он умер в возрасте 95 лет и похоронен в Сэн Поль де Ванс в Провансе.

Отцом абстракционизма, без всякого сомнения, стал **Василий Кандинский** (1886—1944). Во время революции он вынужден был эмигрировать в Германию, где главным образом и развивается его карьера. Изгнанный нацистами, он поселяется во Франции в 1933 году.

Не могу не вспомнить о «творце цвето-света» **Андрее Михайловиче Ланском**, который был двоюродным братом моей мамы. Очень популярный персонаж в кругах русской эмиграции в Париже. Он остаётся «стойкой валютой» на рынке искусства, в частности, в Соединённых Штатах Америки. Умер в Париже в 1976 году.

***

Подойдя к концу повествования, я отдаю себе отчёт о границах предпринятого мною труда. Конечно же, я не смог рассказать о сотнях, даже о тысячах русских эмигрантов, которые прославились в только что перечисленных мной областях, и рискую навлечь на себя чьё-то недовольство. Я сделал выбор по своему усмотрению, и прошу прощения у тех, кто мог бы быть шокирован таким выбором. Люди, которых я не назвал, разумеется, заслуживают уважения, и, возможно, открытые страницы альманаха «Глаголъ» в своё время помогут исправить эти недочёты.

Кроме того, не были затронуты целые пласты в областях знаний, в первую очередь — науки и техники. Да простит меня **Лев Коварский**, физик, рождённый в Санкт-Петербурге, но есть дисциплины, которые не попали в свет рампы, а люди, которые там работают, менее популярны. Это не значит, что они менее важны. В моей собственной семье я горжусь своим отцом, воином Белой армии, который во Франции начинал свою карьеру в качестве простого рабочего, а закончил директором газового завода. Мой дядя Николай был инженером на заводах Ситроен, а муж моей тётушки Юрий, бывший морской инженер в Севастополе, участвовал в конструировании пакетбота «Нормандия».

Сколько таких же русских эмигрантов или детей эмигрантов сделали карьеру и всю свою жизнь проработали на благо общества! Я был одним из них.

Да, все эти русские были достойны Франции. Они внесли свой вклад в формирование Франции сегодняшней. Но для меня остаётся повисшим в воздухе один вопрос, открытая рана. Чем стала бы Россия, если бы они смогли реализовать свои таланты на своей Родине-Матери? Однако историю не переделывают.

70-летию Победы посвящается

Чем глубже в прошлое уходит эта война, а вместе с ней, её свидетели, тем важнее кажутся последние отсветы воспоминаний ещё живущих очевидцев. Кто в полной мере оценит значимость каждого устного рассказа, который необходимо сохранить?..

Мы публикуем здесь один из таких затерянных «осколков» когда-то общей беды и победы.

© Фото Марины Милинкович

Владимир Сергеев
(Франция)

Штрихи французского друга

Мой очень давний французский друг, сам человек весьма пожилой, недавно похоронил свою жену, которая была старше его, долгие годы болела и была практически на его руках. Как-то я его подвозил в Париже к врачу, и он вдруг мне сказал: «А ты знаешь, что Симону похоронили под трехцветным флагом?» Я понял, что этот факт отражает некий официальный знак отличия и благодарности французского государства своим гражданам, чем-то отличившимся перед нацией. Я попросил друга рассказать поподробнее о том, чем его Симона отличилась перед Францией…

Оказывается, она принимала участие в Сопротивлении, но об этом особенно никому не рассказывала. Марсель, который сам принимал участие в освобождении Парижа как командир танковой роты в составе дивизии генерала Леклерка, объяснил мне, что специальные подразделения союзников подбивали немецкие танки на улицах Парижа из противотанковых ружей, расположившись в полуподвальных помещениях. Такие будущие огневые точки тайно намечались заранее, и заранее (видимо, через участников Сопротивления) готовились маршруты безопасного отхода по соседним дворам. Для выяснения таких маршрутов опрашивались надежные люди, среди которых, как оказалось, была и Симона…

По доносу соседей Симону арестовали за то, что она слушала «Радио Лондон», что было строжайше запрещено немецкими оккупационными властями, нарушителей запрета депортировали в нацистские концлагеря. Симона провела под арестом в огромной переполненной людьми камере неделю, ничего не зная о своей будущей участи.

Однажды в камеру вошел сотрудник префектуры (француз), явно не мелкая сошка, указал на Симону пальцем, спросил ее фамилию и имя, приказал собрать вещи и идти с ним. Симона поняла, что ей предстоит депортация. Однако, когда они вышли из камеры в коридор, этот человек сказал ей на ухо: «Когда выйдем на улицу, я пойду налево, вы — направо. И ни в коем случае не оборачивайтесь». Так она оказалась на свободе и, не возвращаясь домой, до конца войны покинула Париж. Как рассказал Марсель, Симона имела почетное звание «друг Второй танковой дивизии Леклерка под командованием генерала Паттона».

«О чем французы не хотят вспоминать в связи со Второй мировой войной?» — спросил я Марселя. Он считает, что позор французов — коллаборационистский режим Виши, репрессировавший по указке нацистов евреев, цыган и коммунистов, создавший собственную репрессивную

милицию — аналог гестапо, которая занималась борьбой с движением Сопротивления. Этот режим допустил уничтожение карателями СС жителей Орадура на юге Франции, создал и отправил на Восточный фронт французскую дивизию СС «Шарлемань». Еще он с горечью вспоминает грабежи оставленных евреями магазинов и их домов, повсеместные доносы, спекуляцию продуктами. Хозяйка, у которой он в то время снимал комнату, рассказала, что однажды, в самом начале войны, один ее знакомый, французский офицер, попросил разрешения оставить в ее доме на какое-то время чемодан. Из любопытства она в него заглянула и увидела, что он набит часами, всякими украшениями, столовой посудой — явно мародерского происхождения. Потом хозяин свой чемодан забрал. Марсель рассказывал, что американские воины во Франции вовсю торговали консервами, галетами и сигаретами с армейских складов. Танковая колонна, с которой он шел освобождать Париж, вынуждена была остановиться и ждать чуть ли не у городской черты — не хватило горючего. Злые языки говорили, что американские армейские снабженцы заливали цистерны, предназначенные для горючего, французским коньяком для будущих торговых операций…

После войны Марсель, инженер по образованию, работал в Национальном обществе железных дорог (SNCF), где занимал довольно высокий пост, прилично выучил в Институте восточных языков (Париж) и на стажировке в Москве русский язык, часто бывал в СССР в командировках, завел там немало друзей. Один из них, как и он сам, бывший офицер-танкист, как-то поделился с ним своими военными воспоминаниями. Уже в конце войны на территории Германии один из его танков сломался и плотно зарылся в раскисшую дорогу. Чтобы вытащить танк, нужен был мощный кран. На счастье молодого лейтенанта, неподалеку оказались союзники, причем это были французы в американской форме. Лейтенант попросил какого-то пожилого, судя по погонам, сержанта о помощи. Тот подошел к танку, осмотрел, покивал (общение, видимо, было минимальным) и… через минут двадцать подогнал мощный самоходный кран…

Больше всего, рассказывал наш ветеран Марселю, его поразило то, что решение тогда принял простой французский сержант, в то время как в нашей армии пришлось бы добираться за решением о выделении такой техники не меньше как до полковника…

© Фото Бориса Гесселя

Кира Берестенко
(Киев)

Псевдоним. Родилась, получила образование, живёт и работает в Киеве, реализовалась на разных поприщах (на производстве, в медицине и юриспруденции), но с детства влюблена в литературу и математику. Формулой своего кредо считает слова В. Франкла «Успеха, как и счастья, нельзя добиваться. Он приходит потом, только как незапланированный результат преданности делу, более значительному, чем ты сам».

Переносимая горесть бытия

Ничто в человеческой жизни не будет понято, если упорно пренебрегать первичной из всех очевидностей: такой реальности, какой она была, больше нет; восстановить ее невозможно.

М. Кундера, «Невыносимая лёгкость бытия».

В небе солнышко сияет, разбирают елку — это август на майдане, в землю приготовьтесь…

Предвкушая эмоциональную реакцию впечатлительных эстетов на сей опус, спешу сообщить, что дальше и правда можно не читать, т.к. это была выведенная мной «формула» киевского лета-2014 — своего рода «сухой остаток» моих мыслей и чувств, который дальше я буду лишь «размачивать» словесной «водой» для читабельности.

Не претендуя на создание своего «кода апокалипсиса» по-киевски, я всего лишь с точки зрения вынужденного участника событий попытаюсь разобраться, почему в середине августа мы разбираем главную елку страны, и как собираемся готовиться «к земле», о чем нам недвусмысленно было сказано нашим новым альтернативно одаренным градоначальником.

Но к внешним факторам я еще вернусь в отдельной главе, а сначала хочу заглянуть внутрь, в том числе и себя — наши внутренние проблемы намного «разноцветнее» и глубже, и обусловили внешние.

Нота До

Бьёт набат Интернационала,
Пламя Октября в глазах бойца.
Есть у Революции начало,
Нет у Революции конца!

Юрий Каменецкий

Подобно тому, как нотой До начинается и заканчивается музыкальный октавный звукоряд, наши «здесь» и «сейчас» начались где-то раньше — с того, что просто было «до» этого. Для кого-то это была «картинка» из букваря, а для кого-то — из рекламы.

В одном из российских фильмов мальчик из неблагополучной семьи, снявшись в рекламе какого-то пудинга с «мамой» и «папой» из других семей, убивает чужие ему «половинки», чтобы собрать свою киношную семью за реальным столом и тем же пудингом. Вот оно его рекламное счастье — ничего «лишнего».

«Ты этого достойна!» — нашептывает нам десятилетиями реклама чего-то французского. Конечно, достойна, только вот где этой «достойной» такие деньги взять, если никто подарком не удостоил? Что ж она, «тварь дрожащая», иль право имеет? А если имеет, то как его, право, без денег отоварить? Шляпку спереть или старушку укокошить? И кем на «самом деле» была Золушка? Её голливудская версия («Красотка») явно подменяет содержание формой, поэтому не в счет.

Но реклама ставит вопрос философски — что первично: девушка или туфелька?

Я бы до такой постановки вопроса и не додумалась, если б не прочитала в одном обувном магазине рекламный слоган: «Сказка о Золушке доказывает, что обувь имеет решающее значение в жизни каждой женщины».

Т. е. без туфельки принцесса не состоится. Но где тогда взять «Доброго Фея» — поставщика туфелек и карет?

Вряд ли мои односельчане (как я их теперь называю, ввиду их культурного вклада в развитие Киева) читали русские народные сказки, но явно сочли волшебницей Викторию Нуланд, раздававшую на майдане плюшки жаждущим золотых яиц, рыбок и «рябок» украинцам.

Точно так же 4 мая 1626 г. индейцы продали голландским колонистам остров Манхеттен за бусы и пуговицы на общую сумму 24 доллара. Эта сделка долго считалась самой выгодной в истории Америки. Но 11 декабря 2013 г. заокеанская «фея» и по совместительству помощник госсекретаря США Виктория Нуланд приобрела Украину у наших местных туземцев в обмен на пакетик с печеньками и плюшками, указав им дорогу в ЕС (направление пути для самого Евросоюза она указала чуть позднее по телефону).

Отпробовав угощения, наш народ и выбрал свою «европейскую улицу», видимо, решив, что ассоциация с ЕС — это что-то типа скатерти-самобранки, и надо только произнести магические слова «Україна — це Європа!» — чтобы «поляна» самонакрывалась и ломилась яствами.

Потому что у нас «Революция достоинства»: «Шануймося, бо ми того варті!» («Самоуважаемся, потому, что мы этого достойны!») и т. д. и т. п. — подобные лозунги пронизывают все жизненное пространство «маленького украинца», не оставляя шансов иным человеческим качествам спорить с его национальным достоинством.

Стоит ли теперь удивляться, что майдан стал перманентным — попытки его «разогнать» привели лишь к его децентрализации и возгоранию новых майданных очагов по всей Украине…

Тут без вариантов: «Вы украли у нас мечту!» — так думает наша молодежь. В отличие от меня, они учились не в «Совке», а в «лучших европейских университетах». Но главное — они выросли вне русской литературы, — иначе знали бы, что «работают» статистами Федора Михайловича Достоевского: «*Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации...*»

Поэтому нам уже не понять друг друга: зачем людям, на свободном английском обсуждающим последний концерт Мадонны или последнюю модель БМВ, законы И. Ньютона и М. Ломоносова? Разве на них, избранных, может подействовать земное притяжение?

Это удел «ватников» и «колорадов», которых проще назвать «проклятыми». Им не понять ни истинных европейских ценностей, ни сокровищ мировой культуры.

Так, наши «избранные» два года назад, заплатив немалые деньги, 2 часа безропотно ждали явления на сцену столичного зала выдающегося деятеля мировой поп-культуры — самой Мадонны, а в награду за свое смиренное терпение получили уникальную возможность полюбоваться её голым задом и повторить за ней матерные слова, которых, очевидно, никогда не слышали ранее.

Вот она, Свобода!

«Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого», — словами В. Гюго брюзжу я. Но применительно к нашему вновь обретенному европейскому менталитету в европейской же Украине (которая ни в коем случае «не Россия») есть более прикладное высказывание: «Ваша свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается свобода чужого носа» (это вердикт французского суда XII века по делу о том, что парламентарий, размахивая руками в разговоре, задел нос соседа по «Раде». Сосед подал на него в суд. Парламентарий, размахивавший руками, утверждал: «Я имею право размахивать руками!» — на что и получил от судьи вышеупомянутый ответ).

Каждый раз, глядя по телевизору репортаж из Верховной Рады, мы снова и снова видим «инсталляцию» этого урока парламентаризма.

Но вернемся «к земле».

Когда весной 2014 г. я пыталась поговорить с молодыми киевлянами о том, что мы будем делать, когда нам неминуемо отключат газ, на меня смотрели, как на старую брюзгу, послать которую им мешает разве что их европейское воспитание. Действительно: эти скорбные мысли у меня порождали полученные в советской школе знания, в частности, совковые заморочки «фундаментальными» законами физики, в частности, II-м законом термодинамики.

Но все это в прошлом — тоталитарный кошмар позади — теперь украинские школы прекрасно обходятся без таких атавизмов наследия советской оккупации, как псевдонауки, ранее называвшиеся «точными» — само название вопиет о тоталитаризме!

И уже 23 года страна прекрасно живет по законам метафизики, позволяющей за несколько правильных волшебных слов, прокричав их в нужном месте в нужное время, получать горы печенек.

Уж не знаю, как справилась бы с осознанием того, что мой мозг необратимо искалечен ненужными теперь знаниями, порождающими лишь скорбь, но злорадно утешаю себя В. Пелевиным — например: *«Если бы людоедка Эллочка прочитала «Великого Гэтсби», она бы наморщила носик и сказала, что Фитцджеральд отстал от трендов и Вандербильты не такие. А на самом деле впереди была первая пятилетка, коллективизация и голод».*

Ночь без фонаря

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.

Эти слова 10 октября 1912 написал Александр Блок. Говорят, в первой строке этого стихотворения зашифрован код Вселенной…

Не знаю насчет Вселенной, но то, что это краткая формула «фундамента» Пирамиды Маслоу, или остова цивилизации, уверена. Только более чем через 100 лет «исход» есть: лето клонится к закату, световой день стремительно убывает, и Киев уверенно погружается во тьму. Фонари почти не горят — экономия электричества.

«Вечность пахнет нефтью», — написал Виктор Пелевин.

Жизнь пахнет газом — пишу я.

Нет газа — нет жизни в привычном понимании этого слова… В привычном…

«Привычка свыше нам дана, замена счастию она», — эти слова А. С. Пушкина приобретают сегодня двойной смысл: вместе с цивилизационными привычками уходит даже симулякр счастья.

Неужели только я понимала, что скачки на майдане рано или поздно закончатся падением в пропасть? Для окружающих — ничто не предвещало…

Погода-2014 в постреволюционном Киеве действительно выдалась европейской: зимой мы не замерзли, а летом особенно не перегрелись. Внешне европейский Киев изменился пока еще мало: как и в прежние годы, киевляне мчатся куда-то по своим делам, молодежь клубится и обсуждает какие-то свои важные дела, мамы гуляют с детьми, дамы — с собачками, а пенсионеры греются на лавочках.

К обезображенному центру города тоже стали привыкать, воспринимая палатки, шины, грядки и свинарники на центральной городской площади как данность.

Еще с начала предвыборной кампании мы регулярно читали «новость», что Кличко обещает навести порядок в центре Киева, но к ее периодическому обновлению мы тоже привыкли: это все равно как в свое время в России дискутировали на тему, выносить ли тело В. И. Ленина (символ революции) из мавзолея, или нет.

В итоге он и ныне там, а тут вообще живые симулякры, ой, т. е. революционеры, добровольно украсившие собой главную площадь страны — «совесть нации»! Что, значит сегодня они «политические маргиналы»? Еще вчера это были цвет и совесть нации. Они там молились за Украину, а для большего эффекта вместо свечей жгли покрышки — результат увидел весь мир.

В общем, если кто все равно не понял, более внятные синонимы понятия «евромайдан» можно прочитать в многочисленных комментариях к новостям о его жизни, так что в целом картина мрако… (или «свето…», «цвето…» — кому как) …бесия в центре одной из европейских столиц получается достаточно «полноцветной».

Но что-то изменилось, и в августе, привычно обходя «цветущий оазис» страны десятой дорогой, мы вдруг узнали, что сам В. Кличко заметил, что там «дурно пахнет»…

Это было тем более странно и неожиданно, что нехитрая модель майданного быта начала потихоньку перениматься всем городом, поскольку к этому времени уже стало ясно, что привычные атрибуты столичной жизни, такие как отопление и горячая вода (отключенная еще в начале лета), перешли в разряд артефактов.

Вовремя необойлеровавшиеся киевляне выживают, кто как может: кто моется и стирается в природных водоемах, кто с утра выставляет бутыли с водой на солнечный балкон, а кто греет ее в кастрюльках на газу, который мы таким образом экономим. Старикам рекомендуют обтираться губкой, «как космонавты».

Наверное, есть и те, кто не может мыться так часто, как это можно и нужно, поэтому «дух отечества», сгенерированный майданом, скоро пропитает весь Киев.

Тем не менее, майдан с N-ной попытки «зачистили» (точнее, перевели его в «мобильную» форму), зато с теплоносителями решить проблему не удалось — комментируя ситуацию в Киеве с подготовкой к отопительному сезону, мэр порекомендовал нам готовиться к «земле»: «Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян точно также с особым составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле», — заявил Кличко.

Постепенно привыкнув к оборотам его речи, мы недолго гадали, что он имел ввиду на «самом деле», а кто-то из блогеров предположил, что в оригинале это звучало более конкретно: «Зима скоро. Не все смогут её пережить... Вернее пережить смогут не только лишь все, мало кто сможет это сделать».

Так что, если оговорка и была, то лишь в части предлога — правильнее было бы «в» землю. Но не суть. Зато причина, точнее, пресловутое «кто виноват?» в том, что мы обезгажены, традиционна: виноват российский президент, отказавшийся «вдруг» и далее бесплатно поставлять нам голубое топливо.

Комментируя новости на эту тему, россияне соглашались и развивали эту мысль дальше, прогнозируя: *«У Путина появилось неожиданное затруднение — его агентуру стали легко вычислять на Украине по запаху... точнее, его отсутствию...»*

В общем, пока тепло и весело, свет в домах есть, поэтому гражданскую войну мы смотрим по телевизору, не думая, что рано или поздно она сойдет с экрана прямо к нам в дом.

Наш замечательный писатель протоиерей А. Ткачев в недавней статье о Р. Раскольникове писал, что майдан «вырос» из ущербной психологии: «Идеология злобного превосходства, выросшая из комплекса неполноценности», — виноваты все, кроме меня, а я — самый лучший и неоцененный.

О. Андрей пишет: «Далее только остается брать в руки топор (Герцен звал к нему), булыжник (он же — орудие пролетариата), тротуарную плитку, коктейль Молотова (даром что бренд коммунистический). Далее будет пролита первая кровь, как правило — невинная. Она никого не остановит, но только распалит страшный аппетит и во многих пробудит зверя. Далее крови будет больше, больше, больше, ибо ящик Пандоры будет раскрываться шире, шире и шире. Далее впору думать о том, что написано в Откровении — там, где скачут всадники, и под одним из них — конь бледный. Но пока ситуация не в финале еще, но в развитии. Центр города стоит, обуглен, и так же, надо думать, обуглены мысли многих жителей. Хозяйственная жизнь остановлена, и грядущая осень угрожает новой волной бунтов. Страна распадается и агонизирует в крови, к которой уже привыкают».

Если бы я могла подняться «над схваткой», то, сказав: «И поделом нам!» — увидела бы и положительные стороны украинских событий, о чем писал в своём «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевский: «Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь „братьев-славян" подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте».

Война выкристаллизовывает «единицы, которые и ведут потом всех за собою, овладевают движением, родят идею и оставляют её в наследство мечущимся массам людей».

Правда, мое киевское сегодня похоже на ремейк фильма «День сурка». Каждый день тут говорят об одном и том же, точнее, о том, какие же дураки те, кто пытается чего-то в этой жизни делать. А если у кого-то что-то получилось, то — «кум (брат, сват) Путина». Чего-то плохо у нас? Ну так «Путин виноват» (или его «кум (брат, сват)»).

И внешне пока мало что изменилось — разве что в первой декаде августа разобрали, наконец, патриотическую новогоднюю елку на майдане Независимости. Да мосты, заборы и ограды перекрасили в желто-голубой окрас. Многие из стоящих на тротуарах машин теперь гордо украшены флагами ЕС и Украины — мы, мол, европейцы и патриоты — нас лучше обойти, просочившись под стеночкой.

И на этом майданную тему можно закончить, точнее, «закольцевать»: каждый день — очередной день сурка, как в знаменитом фильме. Разве что по-украински сурок это бабак. Так что поговорили о нем немного, да и забудем — как все у нас. Свою историю забыли? Забыли. Корни предали? Вот и это «пройдет».

В крайнем случае, шоколадные «5-й канал» с «ТСН» подскажут нам правильные мысли о «главном».

Мне же ответ, как всегда, подсказывает творчество любимого писателя: *«Ты спрашиваешь, как здесь дела. Если коротко, надежда на то, что обступившее со всех сторон коричневое море состоит из шоколада, тает даже у самых закаленных оптимистов. Причем, как остроумно замечает реклама, тает не в руках, а во рту»*. (Виктор Пелевин. «Священная книга оборотня»).

Культурная революция

«И дым отечества нам сладок и приятен!» —
Так поэтически век прошлый говорит.
А в наш — и сам талант всё ищет в солнце пятен,
И смрадным дымом он отечество коптит!

Ф. И. Тютчев, апрель 1867 г.

«Культура — это система запретов», — сказал советский литературовед и культуролог Ю. Лотман.

Последствия их отсутствия мы видим на многих примерах, когда «выдающимся» деятелем мировой «культуры» можно стать в 5 мин., просто сделав нечто непотребное в храме, музее, библиотеке или другом «подходящем» для такого «перформанса» месте. Тем более что его вынужденные зрители (тамошние завсегдатаи), если и не устроят «артистам»

овацию, то ничего плохого не сделают уж точно: они ж законопослушные граждане, куда им! Пусть в судах доказывают, почему им данная «инсталляция» не понравилась — только потешат своей ограниченностью продвинутую мировую общественность.

Но вот — система запретов активно заработала: сначала отключили российские каналы, а русскую культуру (за исключением А. Макаревича) полностью запретили, причем, упомянутое исключение полностью подтверждает общее правило.

То же самое касается «неправильных» отечественных «культуристов». Захотите проверить — ВО «Свобода» вкупе с «Правым сектором» и «Радикальной партией» вас встретят радостно у входа.

Так что закатился «Совок» — взошла «Україна — це Європа!».

«Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями», — уже почти год старательно повторяю про себя современную скороговорку, стараясь воспитать в себе европейскую толерантность «мультикультурализм».

Но ценности и смыслы топчутся в моей голове, заставляя искать причины этого светопреставления.

И тут я вспомнила: а ведь просветители и гуру той самой европейской (и даже больше — западной цивилизации) цивилизуют нас с самого начала нашей «нэзалэжности».

Помнится, где-то в середине 90-х, перейдя из большого порно в большую политику, к нам приезжала г-жа Чиччолина (она же Илона Шталлер) — всемирно известный депутат итальянского парламента. Не знаю, какое «доброе и вечное» она несла тогда почтительно внимающей украинской публике, но одна (или не одна?) из дам подошла к ней со своей дочуркой и умиленно попросила «благословить»...

Видимо, получилось: за 20 лет девочки выросли, организовали Femen и теперь сами активно несут миру свое «добро», спиливая православные кресты и оскверняя католические соборы.

Я пишу этот текст, когда мировое интернет-сообщество генерирует поток фотожаб и постов на тему «инсталляции» с флагом Украины над высоткой на Котельнической набережной. Самое интеллигентное — «Москванаш». Думается, ее автора — украинского «рефера-патриота» Григория, наверное, сделают героем Украины.

Но давайте вспомним и российских «героев», которых уже наградили — я имею в виду известную инсталляцию арт-группы «Война». Мне кажется, именно то награждение во многом оправдывает и сегодняшний украинский «перфоманс» в Москве, и снесение памятников Ленину по всей Украине и еще раз доказывает, как мало среди наших депутатов, чиновников и деятелей культуры тех, кто способен вовремя сказать: «А король-то голый!»

Ведь культура сродни религии и во многом определяет состояние человеческой души, от которого, в свою очередь, зависит качество нашей

жизни. Бессмысленно улучшать внешние условия жизни, если внутри человека будет «инсталляция» группы «Война».

Но у нас даже не улучшают — у нас перекрашивают и переименовывают. Так, нет более критической проблемы, чем переименование Московского моста, очевидно, в какой-то очень и очень Немосковский.

Неужели мои соотечественники так и не поймут, что вопрос не в названии, а в том, *«какой мир создаст Котовский в своем Париже, или, правильнее сказать, какой Париж создаст Котовский в своем мире?»* (Виктор Пелевин. «Чапаев и Пустота»).

«Ценностям мы не можем научиться — ценности мы должны пережить», — сказал замечательный австрийский нейрофизиолог, экс-узник нацистского концлагеря Виктор Франкл.

Поэтому, оставшись, по сути, в культурном вакууме и на краю цивилизационной пропасти, каждому из нас стоит задуматься о собственных ценностях и смыслах.

Сегодняшние события на Украине дают нам благодатную почву для таких размышлений. Потому что без понимания своего «сегодня», достойного «завтра» уже не будет.

В нашей жизни бывают события, разделяющие ее на «до» и «после». Вот тут оно было — и вот «его» уже нет. Особенно это касается здоровья. Но пока оно есть — его не ценишь, а пословица, что «лучше быть бедным, но здоровым…» — давно забыта, и о том, что «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным» — знает каждый украинец.

Так и живем: всем богатством наружу, пустые внутри, не замечая чужого горя и не пуская в себя сочувствия, считая его слабостью, недостойной истинного украинца.

«Ибо в мире без Бога зло было бы не злом, а корпоративным этикетом», — пишет В. Пелевин.

Поэтому Бог нам не нужен — только потребление — здесь и сейчас, как животные.

Кстати, а что, собственно, отличает людей от других млекопитающих? Способность к прямохождению? Потребность не только в «хлебе» (еде), но и зрелищах? Умение наколотить «коктейль Молотова»? Тогда украинцы действительно особая ветвь эволюции животного мира, поскольку сочувствие к ближнему свойственно даже рогатому скоту.

Но не истинному украинцу. И это хорошо, если нас примет Европа — это же так по-европейски, стучать на ближнего и потреблять то, что от него осталось.

У него было «до» — у вас «после».

Вот только не всегда судьба распоряжается по «наводке» — может и рукой несчастной Аннушки на пути решателя чужих судеб маслице разлить.

И, когда уже нет «после», что было «до» — не так уж и важно.

Но пока у большинства из нас есть просто «здесь» и «сейчас».

Чтобы его прервать, не обязательно нужна война — авария в московском метро 15 июля 2014 г. разделила, точнее, разорвала жизни многих москвичей, лишний раз показав, как хрупка наша жизнь, и все наши планы, надежды и чаянья может остановить одно, отнюдь не прекрасное мгновенье.

Поэтому стоит ли самим разрушать «до основанья» свой мир, который, к тому же, не нами создан?

Свою первую «микрореволюцию» я пережила лет 15 назад, участвовала в ней, а потом отчаянно искала выход из того болота, в котором в результате оказалась — даже к психологам ходила. Мне повторяли притчу о лягушке, которая до последнего сучила лапками в молоке и взбила из него масло. «Так то ж она в молоке брыкалась, а я — в болоте!» — возражала я.

Впрочем, есть еще опыт с лягушкой, ошпаренной кипятком.

Говорят, если лягушку бросить в кипяток, с ней ничего не случится — она просто выпрыгнет оттуда и отряхнется.

Зато, если ее посадить в кастрюлю с водой и поставить на медленный огонь, то она сварится заживо: теплая вода расслабляет и подавляет волю и активность.

Что-то такое, наверное, происходит с нами: у большинства моих односельчан какая-то апатия к происходящему и надежда, что «все будет хорошо».

Впрочем, об этом на двух языках все последние годы пели наши отечественные поп-звезды, и эта мантра, по сути, является неформальным гимном украинцев, не озабоченных вопросом: «А кто мне сделает это хорошо?»

Так что у нас, как в анекдоте:

— Доктор, у меня надежда есть?

— Надежда есть. Вот только шансов нет.

Виктория Рулева
(Казахстан)

Родилась в 1976 году в Свердловске (Екатеринбург), живу в Казахстане. Попытки вернуться на родину до сих пор напоминали странствия в зачарованной стране — водит, водит лесной хозяин кругами, да так и приводит обратно. Стечение обстоятельств — удивительное по степени противодействия. Гражданство меняла 4 раза, сейчас снова гражданка РК. В качестве профессиональных праздников отмечаю День учителя (педагогический университет закончила, три с половиной месяца в сельской школе отработала), День переводчика, День нефтяника (в Казахстане основная сфера применения английского), День металлурга — у домны не стояла, зато живу в заводском районе. Не отпразднуешь — соседи не поймут; салют опять же красивый. Создаю тексты с детсадовского возраста, регулярно уничтожая написанное. В 19 лет сожгла 4 тома своих дневников. До сего дня не публиковалась.

Заметки русской барышни: из Казахстана, с любовью

О чем я умолчала

Собиралась написать совершенно иное.

О том, как оказалась в Казахстане. О себе, дочери двух советских офицеров; племяннице двух других офицеров-подводников, после выхода на пенсию торгующих одеждой на рынке; племяннице гребца и тяжелоатлета с зафиксированными в книге Гиннеса личными рекордами, воспитавшего нескольких чемпионов мира и скромно работающего учителем физкультуры; правнучке адмирала, за подвиги в Великой Отечественной получившего пятикомнатную квартиру в Санкт-Петербурге; внучке воевавшей в Манчжурии рядовой связистки, с множеством затянувшихся ран и стеклянным глазом, каковые увечья не мешали ей виртуозно вязать спицами и крючком и доставать всех оказавшихся в зоне слышимости, подавляя энергичностью и напором.

О том, что не мыслю себя вне семьи, разбросанной по территории и плотно вписавшейся в историю России, Казахстана, Украины, с рождения окружившей меня теплом и вобравшей в свое поле, дарящей уверенность и опору, ощущение уходящей в века череды поколений, которой я часть и продолжение.

О причинах, заставляющих меня отслеживать и страстно переживать происходящие на Донбассе события. Об опасениях (не хочу использовать слово «страх», оно для свершившихся в реальности ужасов — и

этому меня научил Донбасс 2014), что подобное может повториться в моем городе, и уже отмечаются признаки явлений, с которых все начиналось на Украине, и уже можно удостоиться (пока только в Фейсбуке, не на улице) звания «рашиста» и «ватника», и даже «колорада»; последнее, после одесского 2 мая, заставляет вздрагивать.

Господи, какие могут быть «колорады»?! В Актобе, где родилась Алия Молдагулова, девушка-снайпер, уничтожившая 78 фашистских солдат и офицеров, в 1944 году погибшая и посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза! Ее именем назван проспект, ей посвящен музей, возведены памятники, ее память чтят каждый День Победы. В Актобе, где 9 мая улицы украшают растяжками цветов георгиевской ленты, проводят парад, играют военные оркестры и всех желающих кормят кашей в полевых кухнях, а прохожие фотографируются с нарядными, увешанными медалями и орденами ветеранами!

О моей надежде, что казахов невозможно убедить во враждебности русских, в горячей любви Запада (и ведь пытаются!), и что здравый смысл возобладает. Об уповании, чтобы продолжился курс на интеграцию с Россией и Белоруссией, окрепли связи. О моих молитвах, чтобы не повторилась судьба Семеновки или Луганска для Павлодара, Усть-Каменогорска, Уральска, Актобе...

Однако быстро выяснилось, что с такими задачами текст перерастает в объемное исследование, с тормошением родных и ворошением архивов. Я задумалась — что знает о самом Казахстане читатель, обитающий за пределами этой суровой и щедрой земли? Прочувствует ли мои эмоции, если даже в приграничных областях России люди считают, что мы поголовно проживаем в юртах и путешествуем рейсовыми верблюдами?

Так что история совершенно о другом. Хотя верблюд будет, обещаю. Экзотика же.

Размер имеет значение

Прежде всего, Казахстан БОЛЬШОЙ, в четыре с лишним раза больше Франции; население же не дотягивает до 17 миллионов. Основная часть людей компактно собрана в городах и прилегающих к ним поселках. Выехав на поезде из Актобе в сторону Актау, вы часами и сутками будете любоваться тянущимся за окном тотально безлюдным пространством. Актобе, Актау, Атырау, Уральск — развитые промышленные города Западного Казахстана, где добываются серьезные объемы нефти и газа, выплавляется чугун, производятся хромовые соединения; в регион активно инвестируют британцы, французы, итальянцы, американцы, китайцы, японцы; но между городами сотни километров пустыни.

Однажды мой проживающий в Самаре братишка подписался на путешествие из Актобе в Атырау на автомобиле, вдвоем с дядей, 600 ки-

лометров с небольшим. Дядя решил ехать короткой дорогой, «срезая» по степи. К моменту встречи с первым человеком, с начала путешествия прошло несколько часов. Мужчина ехал на верблюде в сопровождении мини-стада худых коров, на путешественников не отреагировал. Привыкший к стандартам миллионника, братишка рвался с ним пообщаться, и был счастлив от того, что они с дядей не единственные живые существа в пустынной степи. Второй человек, водитель встречного авто, промелькнул еще через пару часов. В этом ралли машина ломалась четыре раза. Дверца с пассажирской стороны не закрывалась, братишка придерживал ее всю дорогу. Его сиденье не держалось в вертикальном положении; задние были сняты для транспортировки двигателя от «Запорожца» (дядя не упускает случая пополнить запас запчастей). Братишка признавался — в процессе исправления третьей поломки начал думать, что двигатель они не просто так перевозят, есть вероятность его замены в полевых условиях.

Примечания:

В качестве транспортного средства использовался лучший дядин «Запорожец», он фанат марки, держит три экземпляра;

Полагаю, мой дядя один такой на всю страну; остальные ездят на немецких, либо корейских/китайских/японских машинах, в последнее время вновь набрали популярность российские — функционирует Таможенный союз, отменены пошлины и формальности;

Для Казахстана любой автомобиль — иномарка, свои не производятся.

Проживание в таких условиях меняет отношение к жизни. Ощущение свободы и легкости дыхания, безграничного покоя и безопасности в степи не сравнится ни с чем. После открытых до горизонта просторов, начинаешь нервничать, оказавшись в настоящем лесу. При этом в городах плотность населения вполне привычная для европейского жителя. Вот только за последними домами сразу начинается пустота. Об этом помнишь.

Язык доведет до Караторгая

В этой сфере — за точность сведений ручаюсь, так как работаю переводчиком и варюсь в кухне лингвистической отрасли. Государственный язык — казахский. У русского статус языка межнационального общения, «второй по числу носителей и первый по владению и уровню распространения язык в Республике Казахстан». Десятки тысяч носителей языка (но далеко не миллионы) могут грамотно писать на казахском, то есть создавать тексты на уровне служебных записок, заявлений, повседневных юридических документов. СМС, в стиле «хал қалай?» и «звондай!», —

текстами не считаю. На русском же умеет писать большинство жителей страны, независимо от национальности.

Если чиновник в акимате составляет документ на русском, текст переводится на казахский, согласно требованиям к официальному делопроизводству. Казахская версия рассылается по организациям и компаниям. И в каждой второй фирме ее переводят обратно на русский, чтобы понять смысл; после чего готовится ответ по той же схеме.

Казахский язык находится в процессе непрерывного и весьма активного развития. Например, многие годы эквивалентом слова «перевод» было «аударма»; в последнее время модно использовать «тілмаш» с мягким «ль» в произношении. Действительно, звучит элегантнее. Неологизмы изобретаются в огромном количестве, так как многие явления не существовали до 1921 года (в советский период язык на официальном уровне почти не использовался, неказахское население им не владело). Приходится наверстывать.

Бланки и реквизиты в госучреждениях, банках и т. п. — на двух языках; вывески, официальные объявления — дублируются. Это закон. Новогоднее поздравление в телеэфире президент произносит на казахском и на русском. Это приятно.

К моему позору, сама казахским не владею, хотя прожила в Казахстане 30 лет и учила язык в школе, в университете, на курсах для работников предприятия. Серьезно — грамматику, падежи, окончания, вспомогательные глаголы знаю. Устную речь не понимаю совершенно, с чтением проблема: давно растеряла и без того скудный вокабуляр.

Поползновения практиковаться в казахском вне учебного класса плачевны: с первых слов мой визави начинает хихикать. Просит повторить фразу (на русском просит!), я повторяю. Переспрашивает, что именно я хотела сказать, — и я произношу свой спич на русском. После чего следует новый взрыв смеха и комментарий типа: «В целом правильно, но такое забавное произношение!» Беседа окончена. Как в такой обстановке «погружаться в языковую среду», не представляю.

Еще пара слов: среднее образование я получала в советской системе, а высшее — в первые годы независимости республики, обучение казахскому было формальным, иногда отметки проставлялись без проведения занятий. Трудные девяностые годы, многое было упущено; к слову, география в моей школе не преподавалась несколько лет — из-за отсутствия учителя.

Сегодняшние выпускники русских школ язык знают прилично (казахский преподается как иностранный, наравне с английским или немецким). Выпускники казахских школ владеют им блестяще (все предметы ведутся на казахском). При этом есть ощущение, что они куда-то уезжают после школы, либо иным образом выпадают из деловой жизни страны. Вакансии переводчиков с казахского открыты во всех бюро переводов.

В некоторых удаленных аулах люди русский понимают, но стесняются разговаривать. Моя мама — гинеколог, после выхода на пенсию продолжает частные консультации. Случается, пациентка приезжает на прием в сопровождении родственницы — для посредничества в диалоге с врачом. Может быть, над бедными женщинами потешались, как надо мной?

Национальный вопрос

Терпеть не могу говорить о притеснениях, однако придется. Мое скромное мнение — русских в Казахстане не угнетают. Имеет место нормальное рабочее взаимодействие с периодическим выяснением отношений и перегибами на местах, каковые иногда случаются, хотя, скорее, в виде исключения из общей практики. Касательно упомянутых в начале неприятных тенденций последнего времени — все же верю, что они вызваны внешним влиянием и не получат развития за пределами группы оплаченных провокаторов.

Гражданство предоставляется без малейших препятствий. Я получала его три раза — один раз автоматом, по факту объявления независимости, и еще два раза после неудачных попыток переехать в РФ. Это не Эстония, где треть населения обозначены как «alien»! Здесь чувствуешь, что тебе рады.

Увы, не имею шанса возглавить государство, так как родилась в России; а в целом требования не жесткие: «Президентом Казахстана может быть избран гражданин по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком и проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет». Запрет на занятие госдолжностей для неказахов отсутствует, есть лишь вездесущее лингвистическое требование. Покажите страну, где позволено занимать высокие посты, не зная государственного языка!

Признаю, чиновники, в основном, — коренной национальности. Но это не дискриминация по национальному признаку. В стране действует клановая система, которая сложилась в XVI веке (по некоторым исследованиям, гораздо раньше, в X—XII веках). Политкорректные источники утверждают, что в современном Казахстане жузы сохраняют лишь историко-этнографическое значение, и во второй половине XX века население Казахстана трансформировалось от деления на жузы — в единый казахский народ... что не совсем правда. За малыми исключениями, страной управляют выходцы из Старшего жуза и родов «белой кости», аристократии.

Одновременно, есть роды, представителям которых закрыты многие двери. Адайцу стать членом правительства или Мажилиса так же сложно, как русскому. Положение вещей сложилось исторически, я не

оправдываю такую практику — лишь пытаюсь продемонстрировать, что ограничения существуют и для казахов. Представляете, как им обидно! В собственной стране!

Маленькое бытовое замечание по поводу аристократии. Принадлежность к высокому роду — штука престижная. При всей патриархальности бытового уклада, выходя замуж, покорная женщина Востока из родовитой семьи сохраняет девичью фамилию.

В сферах, где профессиональные навыки важнее политических соображений, кадровая политика вполне разумна, специалисты в цене. Ни один из знакомых мне профессионалов не сталкивался с карьерными ограничениями по национальному критерию. Инженеры, преподаватели, бухгалтеры, программисты, экономисты с качественным образованием и навыками не испытывают сложностей при поиске работы. Мой дядя закончил МАИ, вернулся в Казахстан и четверть века проработал в международном аэропорту Атырау, пережив все изменения государственной системы и форм собственности. В прошлом году вышел на пенсию, но продолжает работать, начальство отказывается его отпускать.

Возвращаясь к национальному вопросу — русское меньшинство? Сам термин предполагает дискриминацию. Не чувствую себя меньшинством, угнетенной или обделенной единицей общества. Здесь хорошо. Люди доброжелательны, много и искренне улыбаются. У казахских девушек невероятно очаровательные улыбки. Ошибившаяся в счете кассир в супермаркете извиняется так мило, что в голову не приходит возмущаться.

Вера и любовь

В сентябре 2008 года в Актобе президенты Нурсултан Назарбаев и Дмитрий Медведев совместно посетили свежепостроенные мусульманскую мечеть «Нұр Ғасыр» и православный Свято-Никольский кафедральный собор.

Ансамбль из двух храмов представляет собой архитектурную композицию удивительной красоты, символизирующую единение проживающих в Республике Казахстан народов. Между храмами раскинулся водно-зеленый бульвар Единства и Согласия, фонтаны бьют со дна речки Саздинки, отделяющей бульвар от проезжей части. За несколько прошедших с момента закладки бульвара лет он стал еще прекраснее — елочки и лиственные деревца заметно подросли, газоны поливаются и поддерживаются в идеальном порядке, разбиваются новые нарядные клумбы.

Для меня эти парящие над парком мечеть и церковь — не только живописное место для молитвы, размышлений и неспешных прогулок; это воплощение любви и принятия меня чуточку аскетичным, но чудесным и добрым городом.

Андрей ИЛЬКИВ
(Украина, г. Новый Роздол)

Илькив Андрей Ярославович. 1966 года рождения. Родился и проживаю в г. Новый Роздол Львовской области, Украина. Был следователем прокуратуры, работал адвокатом. Пишу четвертый год. В этом году в московском издательстве «Элеан» вышел мой роман «Президент и сон бродячей собаки». Подборка стихотворений и некоторые рассказы публиковались в литературных журналах «Белый ворон», «Земляки», «Дерибасовская-Ришельевская»

Цветы не думают об истине

Об этом никогда не напишут газеты, и не покажет телевидение, а потому был ли наш рассказ на самом деле, каждому решать самому.

Два больших скопления людей разъединяли баррикады хлама и сто метров пространства, которое сочилось горячей и стыло холодной кровью.

Два больших скопления людей объединяло сто лет, или бездна прошлого времени. Стремясь в будущее и доказывая друг другу, что такое истина, люди так и не отважились ни на что иное, чем причинять страдания и смерть.

А истина была где-то между баррикадами, посредине широкой городской улицы, по которой, обходя стонущие и онемевшие тела, спокойно шагал ниоткуда-то появившийся юноша.

Баррикады закидали его недоуменными взглядами и хлесткими словами:

— Кто этот, смельчак?

— Куда он идет? Что он делает?

— Он пришел забрать раненных. Он с нами.

— Нет. Это враг. Вот он отвернулся от протянутой руки нашего раненного бойца.

— Он за нас.

— Нет! И не за нас. Вот он прошел мимо нашего, истекающего кровью товарища.

— Ах ты, гад!

— Ах ты, сволочь!

Не обращая внимания на вооруженные окрики, юноша подошел в самый центр улицы и остановился. Почти одновременно две стороны ударили ружейным огнём. Одна пуля разорвала правую щеку парню, вторая — попала в шею, но расстрелянный храбрец лишь легко качнулся и невозмутимо опустился на одно колено. Ни капли крови не упало с него.

— Его не берут пули! Это ангел! — крикнула черная ряса с золотым крестом на одной баррикаде. — Посланец Господний! Он услышал наши молитвы и наши страдания!

— Он будет говорить! Он — бессмертен! Он должен что-то сказать! — крикнула такая же чёрная ряса с похожим золотым крестом с противоположной баррикады.

И замерла улица разом и вмиг, и стон проглотили раненные, и смерть затаили убитые, ожидая слова и дела Божия.

Но юноша молчал. Он искал вокруг себя что-то. Нашёл. Подобрал окровавленный каменный осколок и несколькими ударами проделал небольшую дырочку в асфальте и в тишине. Эхо семь раз по семь повторило удары, не пропустив ни одного дома в старинном центре столичного города.

— Ну! Говори же! Ну! — заскрежетали железом и зубами баррикады.

Но вместо ответа улыбнулся юноша, а из дырочки в асфальте показались цветы, нежные и добрые синие глазки.

— Господь безучастен к нашим страданиям! Он ни за нас, ни за них, — сокрушились обе баррикады. — Его интересуют цветы!

И одним залпом ударили две баррикады из вселенской досады. Давший цветку жизнь юноша исчез, закутанный в серый саван дыма.

На асфальте среди мертвых и раненных тел остались цветы.

Цветы не задумывались об истине, что и делало их истиной.

Золотая рыбка-бананка

Выйдя на пятом этаже, Симор Гласс прошел по коридору и открыл своим ключом двери 507-го номера. Там пахло новыми кожаными чемоданами и лаком для ногтей. Он посмотрел на молодую жену — та спала на одной из кроватей, затем на полковника Аурелиано Буэндиа, ниоткуда появившегося в комнате и сидевшего у окна в кресле-качалке.

Симор подошел к своему чемодану, открыл его и достал из-под груды рубашек и трусов трофейный пистолет. Он достал обойму, посмотрел на нее, потом вложил обратно.

— Ты знаешь, что человек умирает не тогда, когда должен, а когда может? — тихо спросил полковник, смотря в окно.

— Знаю, — ответил молодой человек, взвел курок и после небольшой паузы продолжил. — Знаю, что не должен. Но я могу.

— Ты уверен, что можешь?

— Да, могу. Я уверен и в этом, и в том, что вижу и разговариваю с тобой лишь потому, что вспомнил твои слова, полковник, когда умирает человек. Ты пришел отговаривать меня?

— Совсем нет. Я здесь, лишь чтобы спросить тебя, как ловится рыбка-бананка?

— Хорошо ловится рыбка-бананка, полковник, — ответил Симор, подошел к пустой кровати, сел, посмотрел на молодую женщину, поднял пистолет и пустил себе пулю в правый висок. — Потому и могу.

Короткий выстрел раздробил последние слова на маленькие непонятные звуки и разбросал их по комнате.

***

— Послушай меня, Мюриель. Доктор Сиветский оказался абсолютно прав: Симор потерял контроль над собой и застрелился. Я не верю газетам, что кто-то мог его застрелить.

— Мама, полицейские не исключают, что это могло быть убийство, и имеют для этого веские основания: в номере был кто-то посторонний. Он обронил на кресле-качалке золотую рыбку.

***

— Ты специально это сделал, Аурелиано. Зачем?

— Ты откуда знаешь, мама, ты же ослепла давно?

— Тихо, тихо, сынок. Никому не говори об этом, — Урсула приставила палец к губам. — Отец спрашивал так, между прочим?

— Сидит у каштана, а все видит.

— Твой отец все видит… И он обязательно попытался бы задержать молодого человека в жизни. А ты дал ему убить себя.

— Зачем было ему мешать? Симор мог спокойно умереть, я это понял по то тому, как он сказал, что хорошо ловится рыбка-бананка, — умиротворенно ответил Аурелиано Буэндиа. — Маленькая девочка поверила в сказку о ненасытной рыбке, и более того, увидела рыбку-бананку с шестью бананами во рту. В мир приходят дети, они верят и живут в своих сказках. После такого можно умереть.

— Это глупости, Аурелиано. Причем здесь рыбка-бананка? Сколько прожила на свете, не слышала о таких рыбках. Сумасшествие это твое и его. Пусть бы верил в свои сказки и рассказывал их детям. Но причем здесь молодая жена, она же любила его, только жить начали? Почему о ней не подумал этот — как его? — Симор?

— О ней в первую очередь и думал Симор, всаживая пулю в свой висок. На войне он понял, что жизнь это сказка, в которую никогда не сможет поверить его жена. Жизнь со сказочником превратилась бы для Мюриель в ад. Симор избавил свою жену от такой преисподней.

— У тебя тоже что-то с головой случилось на войне, Аурелиано, я это давно поняла. Но, зачем ты все-таки оставил золотую рыбку в гостиничном номере? Теперь полиция будет искать несуществующего убийцу.

— Я оставил убийцу в комнате, не нужно никого искать.

— Рыбку?

— Золото.

— Золото?.. Я так ничего и не поняла, что ответить твоему отцу, Аурелиано?

— Скажи ему, что хорошо ловится рыбка-бананка.

***

Я б запретил
Ходить
По первому снегу
Обутым
По небу
Ангельским пухом
Упавшим на землю
Хотя бы на миг
Замереть
И услышать
Сердца
Назад
Шаги
Детьми
Всех нас
Делает
Первый
Снег

Марино МИРОНОВ
(Россия, Новоржев)

Марино-Штефан Миронов. Родился в 1957-м в Кемнице, Саксония. Школу окончил в Ленинграде. Неудачная попытка стать геологом. Служба в армии (в том числе и на Байконуре). Мои художественные университеты в разных местах: работа пожарным в Мухинском училище; учеба в 61-м Реставрационном училище; еженедельные поездки по выходным в Москву для частных занятий с Никогосяном Николаем Багратовичем (народный скульптор СССР), которому благодарен за дух, а не букву творчества. Член Союза художников России с 1999 года. Женитьба (много и до сих пор). Сыновья Макс и Влад. С 2010-го года живу в Новоржевщине (поручик Новоржевский).

Письма из Теребеней

Привет, дорогой дружище!

А можно на «ты»? Не могу дружить на «Вы». Когда говорю «ВЫ», начинаю чувствовать дуэльный пистолет в крепко сжатой руке!

Так вот, докладываю.

Вчера был у меня дружочек мой с семьей, ну и мы с ним разговорились о судьбе несчастных французов в 12-м году.

Разговор был застольный и пьяный, но есть интересные факты. Они интереснее от того, что друг местный и очень сильно увлекается историей, находками всякими и т. п.

Так вот:

1. О чем я совершенно забыл — в Новоржевском уезде есть деревенька Теребени. О ней много можно наговорить, но главное — это гнездо Кутузова.

Тут похоронены его родители.

2. Друг рассказал мне, что существует легенда-не-легенда, что сначала Наполеон планировал также поход и на Питер, но как-то быстро от этих планов отказался, а начало движения было как раз в этих местах.

3. Достоверно известно, что копатели находили, и неоднократно, французские монеты того времени в наших краях. Дело это подпольное, но в провинции все друг друга знают, и такие новости гуляют кругом.

У меня пока два предположения, совершенно бредовых и ничем не подтвержденных.

Кутузов каким-то образом умудрился загнать осколки разбитой армии мимо своей вотчины.

А второе — надо поискать и уточнить, не было ли в действительности каких-то документов о планах движения Наполеона на Питер.

Но об этом, потом, как всегда!

Рад тебе рассказать, наконец, как мне удалось-таки побывать на первой, или второй Родине — Германии.

Вот теперь я задумался — «Родина» пишется всегда с большой буквы. А если их две, тоже с большой? — Родины?

Морда у меня немецкая — да! Со мной везде в Прибалтике и в Германии так и обходились, как со своим, пока я не начинал говорить свои скудные хэндэхохи и гитлеркапуты. Ха, представляешь, — въезжает поезд во Франкфурт. Пассконтроль, а я не могу нормальные слова никак высказать. Вертится только «нихтшиссен» на языке, и все! Наверное, перепугался пограничной фрау. Она словно сошла с экрана, вся в наручниках пистолетах и дубинках. Не хватало только этого… как его... эластичные такие костюмы с дыркой для лица и беличьего хвостика...

Ну и крыши! Черепица, черепица, черепица! Высокие коньки. Потом какие-то железнодорожные дебри-подмышки, ангары, склады, стрелки, граффити. Берлин. А потом был стремительный поезд на юг, со свистом везущий меня в мою страну гор. И вот, преодолев равнину, он червем в эти горы стал вгрызаться, рассекая скалы, до которых, казалось, можно дотянуться рукой. Я, высунувшись из окна, размахивал руками и что-то кричал...

И вокзал. Кемниц. Знаю, тут отец меня встречает. Сорок лет не виделись. Как узнаю? В последний раз мне было три года. Но мой взгляд, словно веревочка в лабиринте, обтекая людей на перроне, уткнулся в человека, который... да! Это он! Не было узнавания, я его еще почти не видел и ничего не понимал разумом, но был совершенно уверен — он. Кровь превратилась в шампанское и пузырилась в голове.

Ну и горы. Мои любимые родные горы. Там был музей истории горного дела в Саксонии. Там было очень много старинных фотографий шахт, шахтеров, жен шахтеров, и, глядя на эти лица, я узнал гномов. Штаны, колпаки-капюшоны, трубки курительные, полосатые носки, сморщенные рожицы. Да, все они гномы, и многочисленные мои родственники — гномы, и сам я гномий сын...

Родился в 1957-м в Карл-Маркс-Штадте (ныне Кемниц).

Отец — немец, учился в Ленинграде, в Горном институте, где познакомился с матерью. Их совместная жизнь с треском развалилась в 61-м.

«Марино» придумал мой папа. Фиг знает откуда он его взял. Мне он в личной беседе не сознался, лишь намекая на красоту италийских имен.

А в России моё имя попало в мясорубку обыденности и подвергалось всякому исправлению, дабы «по-русски благозвучно все»...

И даже, по непонятным соображениям, мигрировало в еврейскую сторону, превратившись в «Марика».

А мой давнишний друг, большой любитель работать головой и удачно жонглирующий словами, прозвал меня Манолой, что уже на испанский манер. А детишек автоматом стал прозывать с добавлениями суффиксов, Манолетто, Манольтиссимо.

Ну и вот, я в Ленинграде, стою на табуретке и говорю гостям по-немецки.

Немецкий быстро обсыпался с меня, а русский, вроде как ничего, привился, только часто замечаю свои ошибки в порядке слов.

Ну и грассирующая «Р» не облетела.

В детстве очень серьезно задумывался о карьере дворника. Меня завораживали некоторые их профессиональные обязанности. Мог часами смотреть на скалывание наледей с тротуаров после зимы. Застревал после уроков и был часто руган за опоздания. Но была еще одна стезя, которая владела мыслями моими — работа с отбойным молотком при ковырянии коммуникационных траншей. Выбор сделать было очень трудно, видимо, потому и не стал ни тем, ни этим.

Не хочется совершенно оттенять рассказа гнойными всякими переживаниями про гражданства, метрики, исключения из комсомола и выдачу «вида на место жительства», вместо паспорта. Смольный, Литейный-4, МИД, МВД — все очень знакомые организации. С только им присущей настенной краской.

В Горном институте я не прижился, романтика, поездки, Магадан, Хибины, Казахстан, но как-то не так.

Потому я его забросил и пошел в армию 76-й—78-й. Байконур, песок, ракеты, космос.

Вернулся и понял, что художник во мне, и мне надо куда-то его девать и растить.

Пошел работать в Мухинское училище (пожарным). Поступить туда не было никакой возможности. Но приобрел замечательную возможность лазать по всем кафедрам и мастерским (пожарный же — попробуй не пусти!) — и выведывать там все, что было мне интересно.

А на выходные дни ездил в Москву, учиться рисовать у Никогосяна Николая Багратовича (друг мамы). Жив ли он еще? Замечательный дядька!!

Он в меня и впихнул, пожалуй, основные намеки на творчество.

Поскольку слово социум во мне ничего, кроме тошноты, не вызывало, а возможности найти творческую профессию без окончания соответствующего вуза тогда не было, я, как и многие, подался в кочегары. Единственная тогда социальная лазейка для ухода. Сутки на работе занимаешься своими интересами, трое суток — дома!

Ну а потом Горбачев! Я выкинул трудовую книжку, и вскоре (91-й год) появилась возможность купить дом в деревне и жить там с семьей на ренту от городской квартиры.

РЕНТА! Это было здорово! Можно было делать все, что хочется, ну а мне хотелось одного. Тихо заниматься тем, что нравится. И пошла керамика.

Сначала лепили всякую фигню для туристов (деревня была в Пушкинских Горах).

Потом выросли и уехали дети. А потом я развелся, уехал сюда, неподалеку. Купил развалющий домик за копейки — и вот...

Удачно еще и то, что интернет дал мне возможность быть фрилансером. То есть быть полностью асоциальным, но и связей не терять.

Где-то в начале века друзья почти насильно затащили меня с работами в Союз художников. Я сопротивлялся, но они были правы — приятно быть «все-таки официальным художником». Я не делаю из этого культа, но иногда вижу, что мои корочки для кого-то являются важным символом, ну и еще, при выезде в столицы могу бесплатно ходить по музеям...

Ты спрашиваешь меня, куда я подевался? А я переехал в город N.

Это очень знаменитый город. Все, кому не лень, писали про него. Просто нет литератора, хотя бы мельком не разместившего здесь своих героев.

Ильфпетров написал: «В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть».

Я, полный любознательности, побежал искать — и нашел только две парикмахерских и один ритуальный салон, видимо, за эти годы преобладающие ритуальные услуги сильно сократили население, да и, кроме вежеталя, люди успевают в своей жизни еще купить пару-тройку мобильников и запчасти к своему жигулю.

А помнишь, было и такое шикарное и прозорливое описание. Автор, рассказывая о похождениях героя в нашем городе, предсказал диалог двух граждан, которые разглядывая того самого жигуля, страстно обсуждают его способность доехать то ли до Казани, то ли до Москвы. Да и вообще, удались у него типажи! Вылитые наши обыватели! Куда ни зайдешь, они кругом. А он еще предупреждал, что сходства с реальными событиями и персонажами — если и есть, то случайны. Врал! Прямо с натуры писал и диктофоном пользовался, точно!

Писали про город все: Достоевский, Чехов, Тургенев и многие, многие другие, я даже начинаю подумывать, не была ли именно тут просвещенная столица, на зависть Петербургу. И это соображение во мне укрепляет бронзовая Екатерина, правда у нас она не перед театром, а перед присутственным местом, и без ухажеров. Благодарные обыватели поставили ей памятник за название, которое она придумала городу, уж очень оно ранее было неприглядным и почти неприличным. Зимой она наряжается в шикарные меха; к весне начинает потеть и быстро от них избавляется.

© Фото Марино Миронова

Летом же и вовсе происходит конфуз: пауки украшают ее лицо вуалью, сотканной из тополиного пуха, и кажется, что великодержавная только что вылезла из вороха перин, разыскивая там злополучную горошину.

Есть, конечно, и памятник Ильичу, который для города ничего не сделал, даже не побывал, и потому пристроился тут иждивенцем. Но дань моде в прошлом обязывала поместить уродливую фигурку перед зданием администрации. И соорудил его, скручивая мозолистыми руками арматуру и сплевывая цементную пыль, какой-то неизвестный, заехавший к нам за большими деньгами безнадежный скульптор в грязной бандане.

Ну и главная достопримечательность — танк, вероятно, после войны выловленный в одном из окрестных болот и возведенный на пьедестал. Только место для него никак не подберут, и скитается он вместе со своим постаментом из конца в конец, прибавляя благосостояния местным градоначальникам.

Экономическое состояние нашего города очень интересное. Здесь ничего не производится. А деньги не совсем важны. Важнее — дружба и родственные связи. Банальный натуральный обмен решает все. Я какое-то время назад подвизался починкой компьютеров. Так вот расценки: сборка компьютера и установка системы — машина дров, зачистка от вирусов — с десяток литров молока, а полное оснащение машины программами — мешок картошки. А деньги нужны только в магазине. Магазинов много. Весь бюджет населения зависит от них. Скажем, уборщица из магазина А идет покупать в магазин Б, а товаровед магазина Б идет покупать в магазин А. Таким образом и происходит товарооборот и деньгооборот — все довольны.

Город полон исторических событий.

Среди просвещенной части населения бытует легенда, что в начале нашествия 1812-го года часть наполеоновского войска пошла на северо-восток, на Питер, но не смогла преодолеть наших мест из-за болот и дорог. Я же думаю, что напугались они родового поместья Голенищевых-Кутузовых, оно возникло перед ними, и не было возможности проложить красную стрелочку на картах, минуя могилу родителей знаменитого полководца. А ссориться с ним в самом начале войны было страшновато. Это уже потом они от страха осмелели и кругом подставляли ему свои бока, стараясь побыстрее удрать восвояси.

С немцами тоже казус какой-то случился. Видно, тоже перепугались Кутузова или духа его. До того странная история! Оставили деревянную церковь, под полом которой и находятся мощи родителей его, и ничего не тронули! Не сожгли, не взорвали, не потырили ничего... Точно — боялись!

И вот стоит древняя, скрипучая, дровами отапливаемая, на амбарный замок запираемая огромная церковь, с 1896 года, и батюшка Георгий, всем на радость, позволяет залезть на колокольню и потрогать полные неосуществленного звука колокола. А звонить страшно — звук такой… такой… — да он просто видимый глазами! Уроки физики меня так и не смогли убедить в детстве, что звук — это волны. Вся колокольня изнутри покрыта надписями, кто женился, крестился, кто укреплял кровлю, есть даже надписи на немецком, времен войны.

Там традиция — все, кто крестился-женился пролезают на нее и на бревнах под самым потолком расписываются. Мне сразу бросилась в глаза надпись по-немецки, сейчас уже точно не помню содержания: «Когда вся эта фигня кончится, найдите нас», — и два немецких адреса. Местный батюшка Георгий (это отдельная история!) написал в Германию, и! — нашлись потомки, приехали!

© Фото Марино Миронова

А еще батюшка лазал в склеп и видел очень хорошо сохранившихся Кутузовых!

Георгий очень занятный человек, очень тонко чувствующий людей, очень проницательный. Местные его считают не от мира сего.

И кадилом может треснуть! Плохих людей за версту чует — и очень суров с ними.

Мы снимали там документальное кино «вокруг Пушкина». Я там крестил Настю, крестницу. Замечательное место!

Представляешь, когда мы туда залезли, увидели прямо на скрипучих досках, сидящую на яйцах голубицу. Она сначала нас застеснялась и слетела, но потом плюнула и снова, вылупив бессмысленные глаза, уселась делать свое дело.

Отец Георгий — замечательный человек, прозорливый и добрый. А великая его образованность и жизненный опыт не мешают порой и поюродствовать, чем он или пугает случайных посетителей, или привлекает нуждающихся в поддержке.

А однажды друзья пригласили меня на поиски каменной языческой «бабы». Мы целый день прокуролесили по буреломам и болотцам, так ничего и не увидев. Зато на второй день поисков мы на нее наткнулись. Она стоит неподалеку от гигантского городища, в жутких дебрях. Я предполагаю, что это был поганый идол, которому поклонялись горожане неведомой крепости, а может быть и приносили ей кровавые жертвы! Жуть!

В одном из ручейков этой пущи, в подмытом бережке я нашел нечто блестящее, оказавшееся половинкой монетки. Причем явственные знаки на ней говорили об арабском происхождении. Я навел справки и выяснил, что такие монетки начали ходить тут с VII века, вот это трофей! А половинка сохранилась оттого, что это был традиционный метод давать сдачу, находили и более мелкие кусочки.

Представляю себе теперь того древнего малыша, всего в соплях и слезах, потерявшего ее и лишившегося какого-нибудь леденцового петушка. Или подгулявшего мужика с дырявыми карманами, хотя были ли тогда карманы? Когда их придумали?

Поговаривают, что это городище и было протогородом N.

Возможно, и про него писали прежние составители виршей. Наверное, и в том городе были свои парикмахерские и похоронные бюро…

А потом городище передало свое название нам, а затем Екатерина подправила его на нынешнее название.

На том и прощаюсь с тобой, пока, до следующего приступа писанины. А то сами приезжайте!

Твой друг М (обыватель города N).

РУССКИЕ ПО МИРУ

© Художник Елена Любович

Анна Иванова-Брашинская
(Финляндия)

Саша Полякова
(Франция)

Анна Иванова-Брашинская родилась в 1965 году в Ленинграде. Закончила Театроведческий факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства (СПбГАТИ) и, по окончании аспирантуры, получила ученую степень кандидата искусствоведения. С 1995 года работала деканом Факультета театра кукол СПбГАТИ. С 2001 года работает преподавателем Отделения театра кукол Академии искусств города Турку, ведет мастер-классы в различных театральных школах Европы. Дебютировав как режиссер театра кукол в 2009 году, осуществила постановки в кукольных театрах Литвы, Польши, России, Эстонии, и Финляндии.

Саша Полякова закончила l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs в Париже. Автор-иллюстратор, гравер, театральный художник, президент Ассоциации «Самокат».

По следам «Кентервильского привидения»

Таллин, сентябрь 2014 года

В августе 2014 года мы работали в Таллине над постановкой знаменитого «Кентервильского привидения» Оскара Уайльда. Слов в спектакле почти нет. От некоторых персонажей оригинальной истории пришлось отказаться, другие, отсутствующие в первоисточнике, буквально сами напросились на сцену. Вдохновленные знаменитым текстом, мы рассказывали зрителям свою историю. Она родилась в этом театре — в таком, каким мы его узнали.

О привидениях: они и мы

Как в любом другом театре мира, в Таллинском театре кукол водятся свои привидения. Отличие эстонских кукольных привидений от остальных театральных духов заключается в том, что их очень легко встретить, ибо они неподвижны и встречаются буквально на каждом шагу в темных переходах, соединяющих одно крыло старинного здания с другим. Иногда они стоят по одному, иногда парами, иногда даже шеренгой стоят. Среди них есть клоун с пенопластово-белым лицом, тетка в не идущем ей костюме божьей коровки, трехметровая пара очкариков, пятиметровый квадратный и бесполый черный человек, с осуждением глядящий на

входящих в зал зрителей, прозрачный, похожий на личинку насекомого человечек с вытаращенными глазами и многие, многие другие.

Больше других пугает Карабас Барабас. Один глаз у него вывалился и болтается на ниточке, и борода совсем свалялась. Такого даже Мальвина не испугалась бы, а нам страшно. Потому что каждый раз он застает нас врасплох, словно подкрадываясь незаметно. Хотя, как и другие, он не сходит с места и мирно стоит в углу, он умеет делать так, что про него всякий раз забываешь.

Две недели мы жили в театре и вынуждены были по ночам идти из точки А, где есть интернет, в точку Б, где стоят наш кровати, — мимо театрального музея с сотнями отработавших свой век театральных кукол. Тут мы выучили главное, что пригодилось нам в спектакле. Леденящий ужас мы, не зависимо друг от друга, пережили не от столкновения в темноте с застывшими фигурами в рост человека, а от невинного «куку», которое раздается за твоей спиной, как только ты пересекаешь в темноте какой-то датчик, активирующий голос оживающего на экране музейного монитора головастика — эмблемы Эстонского государственного театра кукол. Страшнее один раз услышать, чем сто раз увидеть.

В нашем спектакле привидение Кентервильского замка играет живой актер, все остальные человеческие персонажи — куклы. Вполне вероятно, что все эти чудища в местном музее считают нас заблудившимися призраками, которые, от нечего делать, ошалело по сто раз на дню проходят мимо с невероятно странными предметами в руках — от цветной капусты до частей человеческого тела.

Реквизит: барахолки и антикварные лавки

Все кукольники — профессиональные старьевщики. Где еще искать то, без чего не обходится ни один кукольный спектакль: обтрепанную книжку, старую сумку, ржавую лейку? У нас в спектакле по сцене ездят рамы (играющие роли зеркал, дверных проемов, портретных рам, провалов в стене и прочих границ) и тележки. Для дизайна этих рам нам понадобились колеса — ну естественно, от старых детских колясок или велосипедов. Заведующая постановочной частью, молодая женщина, мужественно скрывала от нас свою реакцию на нашу просьбу буквально за пару дней добыть нам двадцать восемь старых колес. Нас догонял скептический шепот, кричащий о том, что, мол, во всей Эстонии не найти столько старых колес. Мы их так и не нашли. Несмотря на то, что благородный смотритель украинской церкви, куда мы переехали на постой, сбежав от ночевок в театре, пожертвовал нам почти новый велосипед своего 3-х летнего внука — лишь бы поддержать наш проект. Теперь мы знаем, что, в случае необходимости, можно обойтись и шестнадцатью колесами, главное, чтобы их количество было кратно четырем, иначе конструкция не будет стоять на сцене самостоятельно.

Кентервиля в спектакле играет сравнительно молодой актер. Казалось, состарить его может только стильная трость. Времени, как всегда, в обрез — бегаем по ближайшим к театру антикварщикам, многие из которых нас уже узнают. В одном салоне молча сканируем интерьер и сразу видим то, что нужно — белую трость из непонятного материала. Цена зашкаливает и наводит на мысль, что предмет сделан из слоновой кости. Идем за консультацией к продавцу, в тайне надеясь на скидку. Начинаем издалека: из чего же, мол, такая палочка сделана. Кость, мол, слишком длинная, дерево — подозрительно белое. Мы попали в десятку. Получили и трость, и скидку. Пожилой и элегантный держатель антикварного салона не смог ответить прямо на наш вопрос. Он растерялся. Он заговорил с большим акцентом и начал выражаться загадками. Это, мол, такой материал, который, мол, из такой штуки, которая, мол, есть у любого «мужика». Только эта тросточка сделана из такой же штуки, только взятой у кита. Почему-то мы договорились актерам этих подробностей не рассказывать. И мы удержались, когда исполнитель главной роли стал подозрительно присматриваться к своему реквизиту. Но мы раскололись, когда он стал еще более подозрительно к нему принюхиваться. На ход репетиций экзотическое происхождение трости никак не повлияло.

На одну из репетиций, еще в самом начале процесса, мы попросили актеров принести с театрального склада все, что, с их точки зрения, может быть в доме нашего героя. Так у нас появилось сделанное профессиональным таксидермистом чучело цаплеобразной птицы. Породу ее определить мы не смогли, но сразу стали называть ее уточкой. От нее шел не очень свежий запах складской затхлости, ее крылья были намертво приклеены к телу, ее грудка, покрытая настоящими перьями, иногда казалась сделанной из желтого плюша, но, вопреки всему, от нее исходила невероятная пластическая энергия. Эта птичка попала на кастинг совершенно случайно и не рвалась на сцену. Но она родилась актрисой, точнее — театральной куклой с колоссальным потенциалом. Она прекрасно ходила, бегала и прыгала, потом она вдруг поплыла. Но через два дня жестких репетиций у нашей уточки отвалилась голова. Все усилия были брошены на реанимацию, но, в конце концов, доверились реинкарнации — общими усилиями сделали максимально приближенную копию, у прародительницы выкололи глазки, все остальное воспроизвели с помощью театральной бутафории. Кажется, она нам все простила — правнучка птички со склада говорит с Кентервилем на своем птичьем языке и, в подражание ему, прихрамывает. Нам ничего не оставалось делать, как дать ей имя Эсперанца и сделать участницей всех ключевых сцен. Именно эта уточка-самозванка, которой нет у Оскара Уайльда, и над которой наш Кентервиль издевался триста лет, первой простила этому женоубийце все его прегрешения.

О дверях и ключах

В Таллинском театре кукол ОЧЕНЬ большие площади, невероятное количество лестниц, галерей и переходов. План театра мы поместили на страницы старинной книги из библиотеки лорда Кентервиля, с помощью которой дети вызывают призрака во время спиритического сеанса. Для нас театр и был тем заколдованным домом, из которого не понятно, кто уйдет живым — хозяин или гости. Так вот, в этом лабиринте помещений есть маленькая каморка без окон, в которой работает Андрес Йосинг. Когда ставишь спектакль в чужой стране, то важно найти человека, который не просто делает свое дело, а делает его, не имея для этого никаких условий — вопреки всему, что есть. Когда мы встретились первый раз, Андрес хлопал дверями и ругался по-эстонски. Немного успокоившись, он убедительно сказал, что он — не специалист по металлу, и что наши металлические конструкции со старинными колесами ему просто «не по зубам». Он сказал, что на самом деле он кукольник, а не сварщик, что, хотя он и варил в армии спинки для кроватей, но это было уже очень давно и удовольствия ему не доставляло. Еще Андрес сказал, что в такие сроки не работают, и что вообще все дураки... Это все он уже говорил по-русски. Потом он помолчал и сказал, что все сделает. Пришлось остаться с ним, чтобы он вдруг не передумал. Главное было, помогая ему, держать колеса ровно. Это было сложнее, чем кажется сейчас читателю. На ровном полу любой дурак может ровно держать колесо — оно там само ровно стоит. А в каморке Андреса пол был кривой, реально, очень кривой. Одной рукой приходилось держать ржавое колесо, другой — палочку, к которой колесо надо приварить, в зубах — угольник в роли отвеса. Андрес надевал маску, и повсюду разлетались бенгальские огни. В такие минуты думать можно было только о параллельности и перпендикулярности, но особенно о том, что все относительно. Как мы с ним вместе радовались, когда, наконец, доварили наши рамы на колесиках, колесах и колесищах. Колес было достаточно — в этой маленькой стране не нашлось достаточно маленьких колес, и поэтому к одной раме пришлось приварить колесо большое — от взрослого велосипеда. Так вот это колесо не пролезало в дверь сварочной мастерской крупнейшего в Эстонии театра кукол. Андрес сначала молча отвинтил колесо от конструкции. Потом так же молча Андрес снял дверь с петель. Все равно пришлось нести через улицу. Шел проливной дождь. За неделю до премьеры мы все-таки втащили рамы на сцену. Пол на сцене был ровный.

Евгений Орлов
(Рига, Латвия)

Поэт и журналист, владелец и главный редактор конкурсного портала Stihi.lv, организатор популярных сетевых конкурсов «Открытый чемпионат Балтии по русской поэзии» и «Кубок мира по русской поэзии».

О том, как русскоязычные поэты со всего мира пешком на конкурс в Латвию приходят

В 2012 г. возникла идея создать самый открытый и самый честный поэтический конкурс на всем пространстве русского (т. е. русскоязычного) интернета. Конкурс, на котором для участников главным, все-таки, были бы не занятые места, а возможность выхода со своими новыми стихами на такую же новую для них и достаточно квалифицированную аудиторию.

Буквально за два месяца появился в сети новый, никому не известный портал Stihi.lv, предложивший сетевым авторам, по сути своей, место для постоянных встреч и свободного общения на фоне по-спортивному драматических баталий, развернувшихся на конкурсных страницах портала.

Все мы являемся жителями единого мирового сетевого пространства, и, если не лукавить, то любой поэтический конкурс, который предполагает «открытость» и не привязывает его участников к черте их оседлости или гербовому рисунку на обложке паспорта, является конкурсом мировым.

Поэтому можно говорить о своеобразном «геопоэтическом» характере современной поэзии, обсуждая, например, некоторые эстетические или темовые особенности современной русской поэзии в разных частях света, но только не о «поэзии для русских читателей из Белоруссии или Эстонии».

В конечном-то счете, любой конкурс нацелен на то, чтобы предъявить заинтересованному читателю новое, досель неизвестное ему поэтическое имя, открыть ему нового интересного автора... Пожалуй, другой достойной цели проводить литературные конкурсы я не вижу.

За количеством мы совершенно не гонимся, в первую очередь, надеемся на хороший творческий состав. Поэтому в отборочном туре поставлена достаточно высокая планка, которую откровенно слабым авторам преодолеть не удается.

Почему новому конкурсу поверили авторы? Думаю, основной причиной стал состав жюри Чемпионата. Разве не интересно узнать мнение о своих новых стихах таких прекрасных знатоков поэзии, как Александр Кабанов (Киев) — поэт, редактор журнала «ШО», лауреат и член жюри самых престижных литературных конкурсов современной России, Ольга Ермолаева — завотделом поэзии журнала «Знамя» и Галина Климова — завотделом поэзии журнала «Дружба народов», главный редактор питерской «Северной

Авроры» Евгений Лукин, зам. главного редактора еженедельника «Книжное обозрение» Ольга Воронина, поэт Бахыт Кенжеев… Всего в нашем жюри — 25 (!) поэтов, редакторов, критиков из 11 стран мира, где ты еще найдешь возможность выйти со своими новыми творениями на такую исключительно грамотную, заинтересованную и абсолютно независимую аудиторию?

Что до других проектов, то в них, как правило, — одни и те же стихи кочуют из Гумилевского конкурса — в Волошинский, Пушкинский, Есенинский, какой там еще...

Чтобы избежать подобного явления, и был задуман и осуществлен на нашем портале еще один массовый конкурс, «Кубок мира по русской поэзии».

Основное отличие нашего Кубка мира в том, что соревноваться будут абсолютно новые, на данный момент — не опубликованные даже в интернете (!) стихи. Сейчас скажу совершенно парадоксальную вещь: в большинстве своем — стихи даже еще не рожденные, не находящиеся в замыслах авторов.

Вот в этом я вижу одновременно и идейную новизну Кубка мира, и его отличие от других литературных конкурсов, и его экспериментальную составляющую.

Ведь мы живем в такое время, когда для большинства стихотворцев исчезло само понятие «писать в стол». Нет уже того самого стола, в котором подолгу маринуются рукописи, ожидая своего признания у последующих поколений, нет священного трепета перед словом, облаченным в кружева типографского шрифта... Практически у каждого современного пиита есть своя литературная страница на сайте, или же страница в блоге — с определенным количеством постоянных или случайных читателей, для которых он сегодня, собственно, и творит, поэтому все, что он сегодня «натворил», или почти все, как правило, сегодня же и размещается в сети... Путь от пиита к его читателю категорически сокращен и умещается в одно мгновение нажатия на «энтер». Ну а дальше — хвалите меня, друзья! Завтра я напишу что-нибудь новенькое...

Наш Кубок мира — это конкурс для тех серьезных поэтов, которым интересна не сиюминутная похвала закадычных друзей, а мнение совершенно сторонних, непредвзятых, абсолютно независимых, профессиональных редакторов, критиков, литераторов о своих новых текстах. Это также конкурс для тех, кто считает, что стал заложником уже сложившегося у читателей представления о его творчестве. Это возможность поэкспериментировать, открыть в себе то, о существовании чего прежде и не догадывался...

И станет подобное возможным только по одной причине: все конкурсные произведения будут публиковаться под номерами, ни один из членов профессионального или читательского жюри не будет знать ничего об их авторах, ну а поскольку это конкурс стихов, не опубликованных даже в интернете, то есть абсолютно не индексируемых поисковыми системами, на читательское мнение о представленных на конкурс произведениях не будет влиять ни «раскрученность» имени его автора, ни его предшествующие «заслуги перед отечественной поэзий», ни его лауреатства, ни его личное знакомство с членами жюри... Даже пол, возраст и место жительства смо-

гут только угадываться из самого конкурсного текста... Однако, как известно, литературный процесс полон мистификаций, возможно, что кто-нибудь из серьезных пиитов сочтет для себя возможным поэкспериментировать, как говорится, «по полной программе», почему бы и нет?

Нередко бывает, что в ответ на приглашение авторы, под разными предлогами, отказываются от участия в Кубке. Кто-то гордо говорит: «Я не буду писать стихи специально для конкурса!» На это я отвечаю: «Конечно, не надо для конкурса! Ни в коем случае! Пиши, как пишется! Но стихи же все равно продолжают слагаться, и если так совпадет, что напишется что-то интересное — попридержи, еще же есть два месяца отборочного тура». Кто-то говорит: «Нет, я все сразу выставляю в сеть. Это мой принцип!» И тогда я говорю: «Принципы надо уважать. Дело — твое. Добровольное. Жаль только, что твои новые вирши станут достоянием пары-тройки друзей, а не сотен и тысяч читателей, пришедших на наш сайт»...

Что ж, если страх «проиграть», амбиции и вероятность уязвленного самолюбия важнее самого творчества... Однако, как ни крути, творчество — это всегда эксперимент, это всегда езда в незнаемое... И если тебе хорошо в минимизированном мирке — сиди, пиши для похвалы от друзей и знакомых.

Если же хочешь, чтобы мир узнал о тебе, о твоих мыслях и чувствах, переживаниях со всей остротой неожиданных для него и тебя самого ощущений — прими участие в кубке...

Конечно, нам очень интересно следить за новыми творческими изысканиями наших постоянных авторов. Но одновременно — очень хочется открывать имена, для нас новые… И это на портале постоянно происходит.

Абсолютное большинство участников — нормальные адекватные люди. Правда, когда на небольшой площадке собираются сотни человек, гарантировать тотальное спокойствие и дружелюбие — сложно. Но мы стараемся поддерживать на портале атмосферу клуба единомышленников. Критикуешь? Не переходи на личность…

На прошлых Чемпионатах и Кубке мы эпизодически озвучивали конкурсные стихотворения. Делали это и некоторые участники, и посетители портала, члены оргкомитета и даже члены большого жюри. Отсюда — появилась новая инициатива: провести Международный литературный конкурс чтецов «Поэзия голосом». Этот конкурс проходил с 1 октября 2013 на абсолютно новом портале — Mirmuz.com. И, по мнению организаторов и участников, прошел на высоком уровне. Надеюсь, что это начинание удастся продолжить и в дальнейшем.

Еще организовано издание книжек участников конкурсов, положено начало такой литературной серии. Пусть тиражи и незначительные, мы рады, что можем увековечить наших авторов на бумаге.

Можно много говорить и о том, что есть, и о том, что хочется осуществить… Время покажет.

ОТРАЖЕНИЯ

© Художник Елена Любович

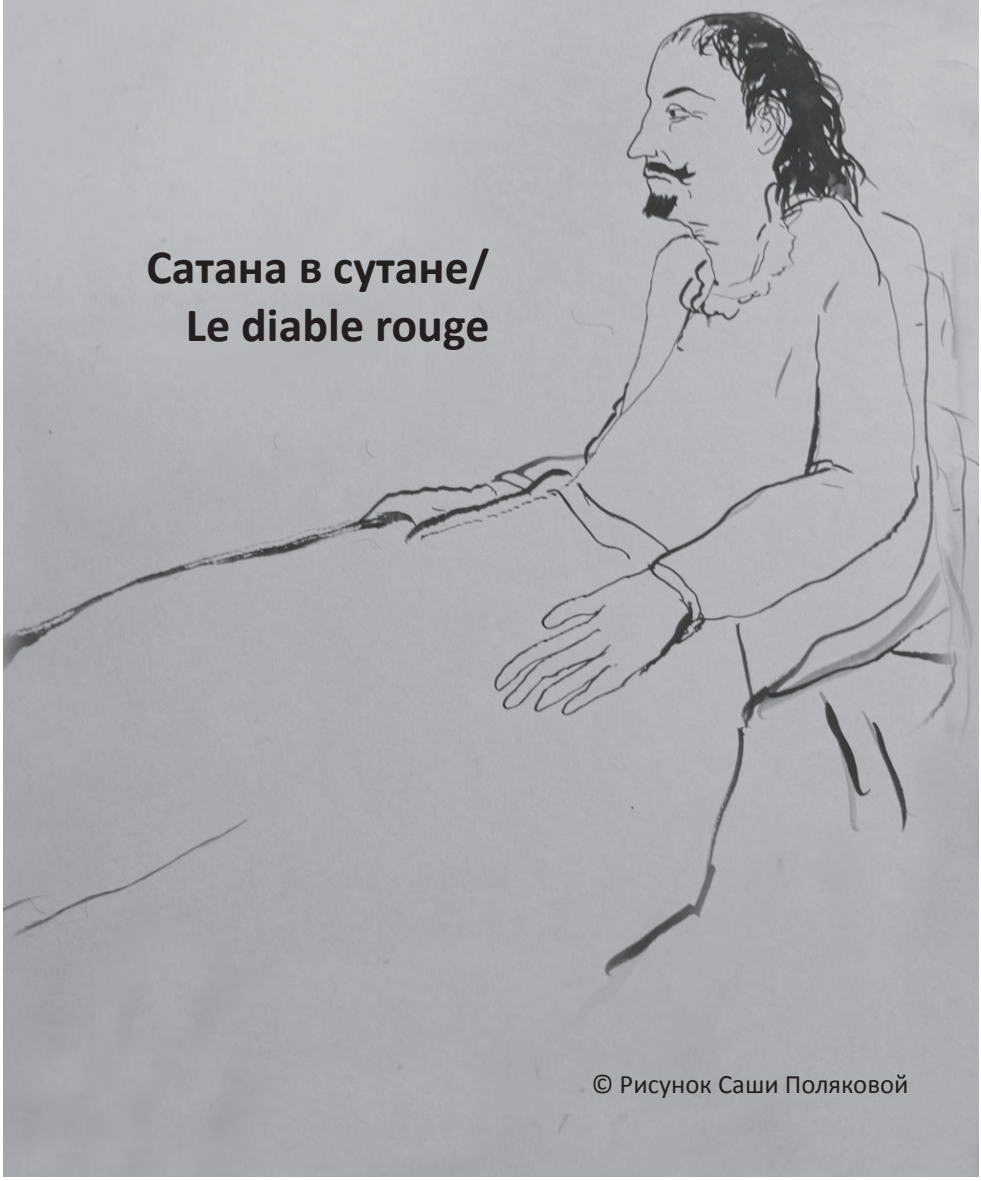
Владимир Сергеев

Один из основателей и президент Ассоциации «Глаголъ». По образованию филолог (МГУ), по профессии журналист. Многие годы работал региональным пресс-атташе ЮНЕСКО в Париже. Переводит французские пьесы на русский язык, а русскую поэзию на французский.

Антуан Ро / Antoine Rault

Отрывки из пьесы в переводе Владимира Сергеева

Сатана в сутане/ Le diable rouge



© Рисунок Саши Поляковой

В пьесе представлена жизнь Джулио Мазарини, церковного и политического деятеля и первого министра Франции в 1643—1661 гг. Мастер интриги и искусный дипломат, он занял свой пост по протекции королевы Анны Австрийской, матери Людовика XIV. Действие происходит в конце жизни кардинала Мазарини (между 1658 и 1661 гг.).

Действующие лица:

ЖЮЛЬ МАЗАРИНИ
ЛЮДОВИК XIV
АННА АВСТРИЙСКАЯ
ЖАН-БАТИСТ-КОЛЬБЕР (секретарь Мазарини)
МАРИЯ МАНЧИНИ (юная племянница Мазарини)
БЕРНУЭН (слуга Мазарини)

Акт первый
Сцена 1

В Париже еще ночь. Отблеск углей в камине и горящие свечи освещают большую дворцовую комнату с высокими потолками и спящего на кушетке или в большом кресле Мазарини. Ноги его укутаны одеялом, голова опустилась на грудь, тело чуть наклонено вперед. Вся его фигура вызывает скорее жалость, в том числе и его постанывания во сне. Он уже лет десять страдает от подагры и болезни почек. Старческое его лицо некрасиво, когда лишено румян — как сейчас.

Неслышной тенью появляется его верный слуга Бернуэн с тазом горячей воды. Он не ходит, а словно скользит. Поправляет на спящем одеяло.

Кольбер (ему 40 лет, лицо сурово и непроницаемо) появляется так же бесшумно, как и слуга. В руке у него две бархатные папки с бумагами.

Бернуэн преграждает ему путь, говорит шепотом:

БЕРНУЭН: Его Высокопреосвященство просил никого не впускать.

КОЛЬБЕР: *(Явно не считает, что это относится к нему, говорит тоже шепотом.)* Это правильно.

(Бернуэн не решается спорить. Кольбер внимательно смотрит на Мазарини, тот стонет во сне и дышит с трудом.)

КОЛЬБЕР: Бедняга!

(На какое-то время Бернуэн исчезает из поля зрения публики, и становится понятно, что он поправлял огонь в камине — комната освещается желтым светом.

Кольбер увидел на столе письмо и взял его, чтобы прочесть.

Мазарини приоткрыл один глаз и наблюдает за ним. Заметив это, Кольбер резко вздрагивает и тут же кладет письмо на место.)

КОЛЬБЕР: Ах, простите меня, Ваше Высокопреосвященство! Вы спали, и я…

МАЗАРИНИ: Я, мой милый Кольбер, сплю как кошка — вполглаза…

КОЛЬБЕР: *(Показывая на письмо, которое он только что держал в руках.)* Король подарил вашей племяннице, мадмуазель Марии Манчини, ожерелье стоимостью в 5 тысяч экю!

МАЗАРИНИ: 5 тысяч? Он мог бы получить моих племянниц гораздо дешевле!.. *(Раздается звон часов на башне.)* Это сколько же пробило?

КОЛЬБЕР: Четверть шестого, монсеньор.

(Мазарини с трудом поднимается с постели.)

МАЗАРИНИ: Подай мне таз.

(Кольбер идет за тазом)

МАЗАРИНИ: Чем-то ты недоволен? Вид у тебя мрачный.

КОЛЬБЕР: Да нет, все как обычно…

(Кольбер смачивает горячей водой полотенце, наклоняется к кардиналу, потом слегка отворачивает лицо.)

МАЗАРИНИ: В чем дело? Я что — воняю?

КОЛЬБЕР: Ваша светлость… любой человек утром…

МАЗАРИНИ: Знаю, что воняю. Я просто заживо гнию. В этой паршивой Франции так влажно и холодно! Никак к этому не привыкну. Не французы меня достают, а этот ужасный климат! Как там, на улице?

КОЛЬБЕР: Дождь.

МАЗАРИНИ: Что я говорил!

КОЛЬБЕР: Так ведь октябрь…

МАЗАРИНИ: Дай полотенце! *(Берет протянутое Кольбером полотенце.)* Ой! Оно ж горячее! Вы меня убить хотите? Бернуэн! Зеркало!

(Моментально появляется Бернуэн и протягивает кардиналу ручное зеркало.)

МАЗАРИНИ: *(Самодовольно улыбается, глядя на свое отражение.)* Вот она — самая большая сволочь на свете!.. Ну-ка, давай сюда мои притирки и пудру!..

(Бернуэн, как настоящий театральный гример, начинает накладывать на лицо Мазарини толстый слой косметики. Мазарини следит за этим в ручное зеркало.)

МАЗАРИНИ: Ну-с... Что же в такую рань хотел сообщить мне господин Кольбер?.. Может, ты хочешь сообщить сплетни обо мне, что ходят в Париже?.. Или об очередном заговоре?.. Ах, ну да! Конечно, речь пойдет о деньгах, не так ли?

КОЛЬБЕР: Именно так, монсеньор.

МАЗАРИНИ: Опять эти деньги! Только и о них и говорят! Вы мне с ними надоели, Кольбер!

КОЛЬБЕР: Это моя работа. *(Подходит поближе к Мазарини и говорит вполголоса.)* Я очень боюсь за вас, монсеньор.

МАЗАРИНИ: *(Так же вполголоса.)* Да ладно вам!..

КОЛЬБЕР: Ваши враги не дремлют…

МАЗАРИНИ: Кому надо убивать старика! Проще малость подождать. *(Пауза.)* Сколько тебе нужно?

КОЛЬБЕР: Мне, Ваше Высокопреосвященство, нисколько.

МАЗАРИНИ: *(Кивает.)* Что ж, тем лучше! Вот за это-то я тебя и ценю — ты у меня никогда ничего не просишь.

КОЛЬБЕР: Я горжусь тем, что занимаюсь вашими делами, потому что я восхищен тем, как Ваше Высокопреосвященство ведет дела Франции.

МАЗАРИНИ: Ну не льсти мне, пожалуйста!

КОЛЬБЕР: Я не из тех, кто льстит.

МАЗАРИНИ: И это правда. Это значит, что тебе сейчас от меня что-то нужно. И я даже знаю что — место Фуке. Ты столько на него выливаешь помоев!..

КОЛЬБЕР: Это не помои, а факты! Все эти празднества у него в Вольвиконте!.. Лично я не меняю женщин в постели каждую ночь!

МАЗАРИНИ: Ну и зря, а надо бы! Ты вон уже весь седой, а он — крепкий еще огурчик!

КОЛЬБЕР: Я стараюсь брать пример с Вашего Высокопреосвященства и все силы трачу на работу. И должен признаться, что счастлив констатировать огромную разницу между состоянием ваших дел раньше и сейчас.

МАЗАРИНИ: Это хорошо, что ты счастлив, Кольбер. Только что ты имеешь против Фуке, даже если он, делая дело, не забывает и себя? Он нам очень помогает. Без него нам было бы не на что содержать армию, мы бы проиграли войну испанцам во Фландрии, и у нас бы не было козырей в переговорах!

КОЛЬБЕР: Но, монсеньор, на переговоры у нас нет ни одного су!

МАЗАРИНИ: То есть как это — ни одного су!? Ты же сам мне твердишь про 8 миллионов ливров?

КОЛЬБЕР: 8.052.165 ливров, 7 солей et 11 денье.

МАЗАРИНИ: Ну да.

КОЛЬБЕР: Это ваш собственный капитал, которым вы сегодня можете распоряжаться.

МАЗАРИНИ: А, так это мои деньги?..

КОЛЬБЕР: Вы, конечно, можете их потратить на военные расходы…

МАЗАРИНИ: *(Резко дергается и нечаянно ударяет головой в подбородок Бернуэна, накладывающего на него грим.)* Вот уж нет!

КОЛЬБЕР: Вполне вас понимаю. Вы уже и так платили в прошлом году за боеприпасы при осаде Гравлинов.

МАЗАРИНИ: Я платил за боеприпасы?

КОЛЬБЕР: Да.

МАЗАРИНИ: Не помню такого.

КОЛЬБЕР: С вами был король, и на него произвело ужасное впечатление то, что битва прекратилась… из-за того, что не хватило пороха.

МАЗАРИНИ: Но… эти деньги я дал в долг.

КОЛЬБЕР: Разумеется. Вы их одолжили казне. Под проценты. Но долг вам не вернули, потому что в казне больше нет денег. Есть только долги.

МАЗАРИНИ: Оля-ля! Но мне следует вернуть мои деньги! Не я же должен платить за Францию. Сколько она мне должна?

КОЛЬБЕР: Если с процентами, то 500.000 ливров.

МАЗАРИНИ: Полмиллиона?! Ничего себе — это ж целое состояние!

КОЛЬБЕР: Кроме того, Ваше Высокопреосвященство, я думаю, что, чтобы удержать наши позиции против испанцев этой зимой, нам потребуется десять миллионов ливров.

(Мазарини жестом как бы спрашивает: «Моих?»)

КОЛЬБЕР: Нет, Франции… Еще нужно найти 2 753 314 ливров, которые наш посол в Германии должен заплатить нашим рейнским союзникам. Итого — тринадцать миллионов.

МАЗАРИНИ: Хорошо. Я скажу Фуке, чтобы он все сделал.

(Бернуэн закончил гримировать кардинала, смазал ему усы и брови брильянтином. Надел на голову красную кардинальскую шапочку.)

МАЗАРИНИ: Бернуэн, духи! *(Бернуэн поспешно опрыскивает его духами.)* Фуке деньги найдет. Он умеет выкручиваться. Это финансовый фокусник! *(Жестом требует от Бернуэна еще духов.)* Давай, давай! Еще! Пусть думают, что это духи воняют, а не я.

КОЛЬБЕР: Не сомневаюсь, что Фуке фокусник, но наступает момент, когда для добычи денег фокусы уже не помогают.

(Мазарини поднимает глаза к небу.)

КОЛЬБЕР: Хотелось бы мне узнать у господина суперинтенданта, как ему удается, будучи по шею в долгах, тратить еще больше...

МАЗАРИНИ: Простой смертный, если он по уши в долгах, попадает, разумеется, прямехонько в тюрьму. Однако, государство — дело другое. Его же не посадишь в тюрьму. Вот оно и продолжает залезать в долги. Все государства так делают.

КОЛЬБЕР: Ах, вот как? А что же делать, если нужны деньги, а все возможные налоги уже придуманы?

МАЗАРИНИ: Придумать новые.

КОЛЬБЕР: Мы не можем собирать с бедных больше налогов, чем уже есть.

МАЗАРИНИ: Да, это невозможно.

КОЛЬБЕР: Так что, облагать богатых?

МАЗАРИНИ: И этого нельзя. Иначе они перестанут тратить деньги, а на их расходах живут сотни бедняков.

КОЛЬБЕР: Ну, и где же выход?

МАЗАРИНИ: Кольбер, сам подумай: ведь есть масса людей, ни богатых, ни бедных…Тех, кто работает и мечтает разбогатеть, и боящихся бедности. Их-то мы и будем облагать налогами все больше и больше. Чем больше ты с них берешь, тем больше они работают — чтобы восстановить то, что мы отбираем. Вот он, неиссякаемый источник!

КОЛЬБЕР: Да ведь их уже совсем задушили налогами, а это — главная сила королевства. Ваше Высокопреосвященство, усугублять нынешнюю ситуацию крайне опасно. Налоги нужно не увеличивать, а наоборот — уменьшать. Нужно развивать торговлю, прежде всего морскую, как это делают англичане и…

МАЗАРИНИ: Конечно, конечно...

КОЛЬБЕР: А также промышленность...

МАЗАРИНИ: Конечно...

КОЛЬБЕР: И сократить число финансовых инспекторов, наказывать за злоупотребления. Это же скандал — их огромные богатства! Они вызывают возмущение в народе.

МАЗАРИНИ: Как же ты, Кольбер, наивен? Неужели всерьез веришь в то, что управлять страной можно только с помощью честных людей? Увы, милый мой, для этого нужны и…

КОЛЬБЕР: Жулики?

МАЗАРИНИ: Да уж… Увы! Впрочем, нередко они нам приносят пользы больше, чем люди честные. Как ни жаль, но это так. Миром правят хитрецы.

КОЛЬБЕР: Вы, Ваше Высокопреосвященство — премьер-министр.

МАЗАРИНИ: Знаю я, что ты хочешь сказать! Послушай, пока мне нужно, чтобы Фуке… и ты были рядом со мной… А уж потом… без меня… Ты уж наведешь полный порядок… И с торговлей тоже… Торговля, конечно, очень хорошо, но политика — прежде всего. Ты пойми, я сначала должен добиться мира с Испанией, а для этого мне нужны деньги! И срочно!

(Пауза. Кольбер et Мазарини смотрят друг на друга.)

КОЛЬБЕР: Все говорят...

МАЗАРИНИ: Кто? Опять Фуке?

КОЛЬБЕР: И вся его компания… Говорят, что какие-то темные дела Вашего Высокопреосвященства, тайные переговоры и эта нескончаемая война разоряют Францию.

МАЗАРИНИ: Ого, и все-то ты знаешь! У тебя повсюду шпионы? Может, и за мной следишь? Надеюсь, не собираешься меня предать?

КОЛЬБЕР: Монсеньор!

МАЗАРИНИ: Я вот часто думаю, что ты за человек. Чем теплее я к тебе отношусь, тем сдержаннее ты себя ведешь.

КОЛЬБЕР: Монсеньор, я не экспансивный человек, я ведь с севера...

МАЗАРИНИ: С севера… Стало быть, ты не любишь южан?

КОЛЬБЕР: Я испытываю самую глубокую привязанность к Вашему… *(Он собирался сказать: «…Высокопреосвященству».)*

МАЗАРИНИ: Да, но ты меня не любишь. Никто меня во Франции не любит! За исключением Лили.

(Поворачивается в сторону соседней комнаты, где находится его любимая обезьянка, с трудом поднимается с кресла, Кольбер ему помогает.)

МАЗАРИНИ: Ну, что ж. Ты прав, не стоит выставлять напоказ свои чувства, не говорю уж про любовь. Как считаешь? Ага — никак! Так я и думал…

(В полный рост и в гриме он впервые предстает, как на последних его гравюрных портретах — импозантный вид, глубокий и острый взгляд.)

МАЗАРИНИ: Тебе не понять такого человека, как я. Наверное, ты считаешь меня слишком сложным. Если ты не рожден королем, Кольбер, продвигаться вперед следует осторожно. *(Жестом изображает движение змеи.)* Я укрываюсь, прячусь, не обнаруживаю себя до самого последнего момента… И вот тогда-то я показываю, на что способен!

Ришелье, конечно, был совсем другой. Он ведь чего хотел? Укрепить монархию, и сделать всю Европу французской. И добиться этого хотел силой, но — не вышло! А у меня получится! Только не силой, а потихоньку, постепенно. Вот это и есть политика. А ты еще гибкости не обрел… Что ты на меня смотришь? Ага! Я понял: ты мечтаешь занять не место Фуке, а мое!.. *(Короткий смешок и лукавый взгляд на Кольбера.)*

КОЛЬБЕР: Клянусь вам, я…

МАЗАРИНИ: В политике клятв никогда не дают.

КОЛЬБЕР: Я не политик.

МАЗАРИНИ: Пойду, поздороваюсь с моей девочкой Лили, и вернусь. *(Выходит и тут же возвращается.)* Кольбе-эр!.. Имейте в виду, я с вас глаз не спускаю, даже когда сплю. *(Снова исчезает.)*

<...>

Сцена 3

(В комнате уже утро. Входит Анна Австрийская. Это все еще красивая для своего возраста (58 лет) женщина. Она всего на год старше Мазарини, но выглядит моложе больного кардинала.)

МАЗАРИНИ: Мадам, как я счастлив вас видеть!

АННА: Вы сегодня в хорошем настроении. Значит, дела идут неважно.

МАЗАРИНИ: Простите, не понимаю...

АННА: Вы всегда веселы, когда дела идут плохо.

МАЗАРИНИ: Однако я бываю весел и когда все хорошо. *(Берет со стола коробку со сладостями.)* Мадам, не желаете ли?

АННА: Монсеньор, я давно вас не видела. Вы должны были держать меня в курсе наших дел, а вы бываете у меня так редко. *(Жует конфету.)*

МАЗАРИНИ: *(Вздыхает.)* Это правда, у меня столько работы…

АННА: Я вас больше не вижу, и пишете вы мне все реже.

МАЗАРИНИ: *(Шепотом.)* Вы разве не получали мои последние письма?

АННА: Вы, однако, в них ничего не пишете.

МАЗАРИНИ: Совсем ничего?

(Опять обмениваются многозначительными улыбками.)

АННА: Конечно, вы пишете о своих чувствах… *(Мазарини мимикой показывает: «Еще бы!»)* Однако, у меня впечатление, что в последнее время вы стараетесь меня как-то отодвинуть.

МАЗАРИНИ: Вас — отодвинуть? От чего?

АННА: От государственных дел.

МАЗАРИНИ: *(Выдерживает паузу.)* Мадам... Разве я сделал что-то такое, что вам не понравилось?

АННА: Вы мне говорите далеко не все. Почему вы мне не говорите о том, что вас беспокоит?

МАЗАРИНИ: Но… все в порядке… у меня действительно нет никаких проблем. Все наши проекты идут согласно нашим планам.

АННА: ВАШИМ планам!

МАЗАРИНИ: Ну да, разумеется. Однако успех будет ВАШИМ. ВАШИМ И КОРОЛЯ… После подписания договоров с Вестфалией, мы удержали наши позиции против Австрии. Благодаря Рейнской Лиге, у нас есть Эльзас…

АННА: Кстати, о Рейнской Лиге. Мы потратили огромные деньги на подкуп германских принцев!

МАЗАРИНИ: За мир надо платить. Вы ведь хотели мира с Габсбургами?

АННА: Да, но… это ведь была не единственная наша цель. Мы ведь надеялись… что вы дадите им понять, что они могут избрать Людовика XIV немецким императором.

МАЗАРИНИ: Конечно! А меня — папой римским! Шучу. Это был обходной маневр. Я на самом деле никогда всерьез и не думал о том, чтобы французского короля избрали императором Германии. *(Смеется.)* Зато, с другой стороны, я до-го-во-рился *(делает рукой жест, означающий деньги)* с враждебными императору Леопольду немецкими князьями о разделении австрийского королевского дома. Теперь внутри империи Габсбургов 350 штатов, и каждый — со своим уставом. Попробуй управлять такой империей — это невозможно! Как вам это? *(Снова смеется.)*

АННА: Чем дальше, тем больше вы ведете слишком тонкую и опасную игру.

МАЗАРИНИ: Главное — результат, не так ли? А он таков: у нас есть Эльзас, плацдармы на Рейне, мир и спокойствие на востоке, сильные позиции с Италией…

АННА: А 23 года войны с Испанией! Из которой мы никак не можем выбраться!..

МАЗАРИНИ: Не волнуйтесь, мадам, выберемся! Будьте уверены!

АННА: Тогда почему вы не заключаете мир? Ведь все козыри у вас. Вы говорите, что все хорошо и замечательно, а война продолжается и продолжается, и конца ей не видно.

МАЗАРИНИ: Мадам, я все свои силы отдаю на установление мира.

АННА: Вы же знаете, чего я хочу.

МАЗАРИНИ: *(Притворно закашлялся.)* Да, выдать замуж Инфанту.

АННА: Я хочу этой свадьбы и прекращения этой войны.

МАЗАРИНИ: Вы это получите, мадам. Но только не любой ценой! Вы ведь не хотите иметь Францию с границами, изъеденными, как сыр мышами?

АННА: Если каждая сторона будет настаивать на своем, то эта свадьба не состоится никогда.

МАЗАРИНИ: *(Хитро улыбается в предвкушении реакции.)* Свадьбу можно устроить по трем причинам. Первая — по любви. Слава Богу, тут об этом нет и речи! Вторая, самая частая — деньги. И есть еще третья, присущая особенно испанцам, — самолюбие.

АННА: Что вы еще такое замыслили?..

МАЗАРИНИ: *(Улыбается.)* Я выбрал самолюбие. *(Она взглядом приказывает продолжать.)* Мы объявляем, что король Франции Людовик XIV заключит брак со свое кузиной Маргаритой-Иоландой Савойской…

АННА: Мой брат не попадется на эту удочку, он просто ничего не поймет в вашей затее.

МАЗАРИНИ: Я испанцев знаю лучше, чем вы думаете. В молодости я прожил в Испании несколько лет.

АННА: А я, по-вашему, их не знаю?

МАЗАРИНИ: У них раздутое самолюбие. Они не переживут, что король Франции отказывается от испанской инфанты ради какой-то савойской принцессы. Они сделают все, чтобы помешать этому браку. *(Игриво.)* Они сами будут нам на шею вешаться. Как вам это? *(Вновь переходит на серьезный тон.)* Кристина Савойская согласилась на наше предложение: встреча ее дочери с королем намечена на конец ноября. В Лионе.

АННА: Что? В Лионе?

МАЗАРИНИ: Да, в Лионе. А чтобы все выглядело правдоподобно, следует, разумеется, сделать так, чтобы жених и невеста двигались друг другу навстречу. Лион, к тому же, не так далеко от Испании, что дает возможность вашему брату успеть послать своего эмиссара, чтобы расстроить этот союз.

АННА: Так вы уже все продумали и организовали! И ничего мне не сказали?! А вдруг мой брат поступит не так, как вы рассчитываете? Людовик XIV женится на дочке моей кузины, этой развратницы!!!

Вы рискуете судьбой всей Франции! И мне об этом ни слова?!

МАЗАРИНИ: Ну, как же… Вот я вам все и объясняю.

АННА: Все отменить, вы слышите?! Все! Бог ты мой! Я ведь чувствовала, что вы что-то от меня скрываете за всеми этими письмами с объяснениями в любви и преданности…

МАЗАРИНИ: Мадам, что я только не пробовал за эти два года! Я двадцать раз посылал эмиссара в наше посольство в Мадриде — бесполезно. Они не хотят уступать ни на йоту. Уже вконец разорены, а форсу!!! Очень это по-испански…

АННА: Вы презираете испанцев, но не забывайте, что я — испанка! Мой брат постоянно думает о благе своей страны. Для него-то как раз деньги — не главное. Он ждет от Франции шага навстречу, какой-то

уступки… Он не может быть единственной стороной, которая идет на уступки, чего вы от него и ждете.

МАЗАРИНИ: *(С подозрением.)* Вон оно что! Он ждет от Франции встречного шага? Должен ли я понимать, что у вас с ним — тайная переписка, как в свое время с кардиналом Ришелье? Напоминаю вам, мадам, что быть одновременно и за тех, и за других — невозможно.

Значит, вы с ним переписываетесь…

АННА: Нет, кардинал. Я считаю, что у Франции должен быть один голос, и быть его рупором — уполномочены вы. Я-то ничего не делаю у вас за спиной… Никогда.

МАЗАРИНИ: *(Выглядит очень задетым.)* А уж я — тем более! Я только что вам все рассказал — что, как и почему. А принимать решение предстоит вам. Вам и королю. Только имейте в виду, что, кроме этой ловушки с Лионом, у меня другого решения проблемы нет. Признаюсь, мадам, что бессилен сделать что-то больше, и предлагаю вам заменить меня на более ловкого министра.

АННА: *(Успокаивается, улыбается кардиналу, мягко, жестом жены, успокаивающей мужа, накрывает его руку своей.)* Более ловкого, чем вы, Жюль, просто не существует.

МАЗАРИНИ: *(Подыгрывает ей и успокаивает.)* Мадам, вам не стоит волноваться насчет этой, якобы, женитьбы… ее не будет. А если даже испанцы не отреагируют так, как мы ждем, достаточно будет сделать вид, что эта савойская пигалица королю не понравилась.

АННА: А вдруг она ему понравится?

МАЗАРИНИ: Эта горбатая коротышка?!

АННА: Ну, а сам-то король, что он думает о вашем гениальном плане?

МАЗАРИНИ: Он еще ничего не знает. Прежде я хотел поговорить с вами.

АННА: А если он будет против?

МАЗАРИНИ: Король не может быть против интересов своей страны.

АННА: Вы слишком самоуверенны... А вы знаете, что он влюблен в вашу племянницу?

МАЗАРИНИ: Что?.. Да, знаю...

(Пауза).

АННА: Может, вы еще что-то задумали?

(Пауза. Мазарини не отвечает.)

МАЗАРИНИ: Для того чтобы ваш брат решился на это, нужно, чтобы все поверили в эту свадьбу. Именно поэтому мы немедленно должны отправиться в Лион. Все: король, вы и я — вместе со всем двором.

АННА: Ну, уж нет! Это — без меня!

МАЗАРИНИ: *(Продолжает.)* ...Нужно также, чтобы Кристина Савойская...

АННА: Эта шлюха?

МАЗАРИНИ: Ваша кузина...

АННА: Ненавижу ее!

МАЗАРИНИ: ...Знала, что именно вы предлагаете ее дочери брак с вашим сыном.

АННА: Чтобы я играла в этом балагане?! С сестрой моего мужа!

МАЗАРИНИ: Шлюхой… которую вы ненавидите… *(Лукаво смотрит на нее и протягивает пакет со сладостями.)* Еще один финик?

АННА: *(Подходит к кардиналу вплотную, берет финик.)* Ох, кардинал…Вы просто сатана-искуситель...

МАЗАРИНИ: *(Вздыхает.)* Стараюсь, мадам... стараюсь.

(Они смотрят друг на друга с нежной улыбкой давних сообщников).

МАЗАРИНИ: *(Притворно.)* Однако, это так утомительно...

<...>

Акт второй

<...>

Сцена 3

(К Анне Австрийской подходит Мазарини. Кардинал держится прямо, но видно, что он хромает почти на каждом шагу.)

МАЗАРИНИ: Люлли, Росси, Фрескобальди!.. Франции я, по крайней мере, дал итальянскую музыку. Это — то немногое, что я ввез сюда, и что французы по-настоящему ценят. И еще — пармезан… Когда, я слышу эту музыку, мадам, мне хочется вернуть свои двадцать лет и пригласить вас на танец.

АННА: Честно говоря, мне-то сейчас не до танцев.

МАЗАРИНИ: Ну-ну, мадам! У вас не может быть причин для беспокойства.

АННА: Да? Вы уверены?

МАЗАРИНИ: Мирный договор уже почти подписан. Все, как видите, получилось! Испанцы тут же поспешили предложить нам свою инфанту, а ваша савойская кузина на нас смертельно обиделась за то, что мы ломали комедию и ославили ее дочь перед всем миром.

АННА: Вы знаете, что испанский посол написал моему брату по поводу того, что мой сын влюбился в вашу племянницу?

МАЗАРИНИ: Не смешите меня!

АННА: Король не должен так явно проявлять свои чувства к…

И это перед самой свадьбой!

МАЗАРИНИ: Все это не стоит вашего внимания, мадам.

АННА: Опять эти ваши интриги!.. Весь двор убежден, что он хочет жениться на Марии.

МАЗАРИНИ: Бог ты мой!.. Двор!.. Слухи!.. Вы помните, мадам, какие ходили слухи о нас с вами?

АННА: И это была неправда? *(Мазарини улыбается. Анна по-прежнему недовольна.)* Господин кардинал, я приказываю вам вмешаться и урезонить вашу племянницу. И Людовика XIV, ведь вы его крестный!

МАЗАРИНИ: В любовных вопросах, мне кажется, мать могла бы быть более...

АННА: Меня он больше не слушает и не слышит. Он голову потерял от этой девчонки. Представляете, на прошлой неделе они решили танцевать балет в Пале Руаяль! И это в самый пост! Я сказала Людовику XIV, что если он поступит так нечестиво, я пойду в Валь-де-Грас, чтобы отмаливать его грехи. И знаете, что он мне ответил? «Это ваше право!» И все! После этого не сказал ни слова и ушел. Он со мной никогда так не разговаривал! Из-за этой девчонки он просто спятил!

МАЗАРИНИ: Не она, так другая… В этом возрасте у молодежи есть определенные потребности.

АННА: Вот именно! Только как раз эти потребности он с вашей племянницей и не удовлетворяет. Это-то меня и беспокоит.

МАЗАРИНИ: Откуда вы это знаете?

АННА: Знаю, и все. Именно этим она его и держит. Эта маленькая итальянская дрянь — из молодых, да ранних!

МАЗАРИНИ: Подумаешь! Какая девчонка на ее месте не мечтает выйти замуж за короля Франции!

АННА: Джулио!.. Да вы что!?.

МАЗАРИНИ: Мадам, успокойтесь. Просто я посмотрел на все ее глазами.

АННА: Вы на ее стороне! Значит, то, что мне говорят, это правда? Что, если не состоится свадьба Людовика XIV с Марией-Терезой… то…

МАЗАРИНИ: *(Притворно смеется.)* Да в чем же дело? Мадам, неужели вы поверили... всем этим наветам на Мазарини? Зря вы слушаете Бриена или мадам Де Мотвиль — они же меня терпеть не могут. А с ними и весь двор. Они все меня ненавидят только потому, что Ришелье, ваш супруг и вы, мадам, доверяете мне — итальянцу! Каких только гадостей они обо мне не разносят… И все только потому, что я — иностранец! Дай Бог, чтобы все французы так же радели за дела и интересы их страны, как я!

АННА: Кардинал, не морочьте мне голову! Не знаю, что вы там еще задумали, но я вас предупреждаю: если вдруг король действительно женится на этой девчонке… то вся Франция, слышите, вся Франция восстанет! И в первую очередь — я сама! Вместе со вторым сыном!..

МАЗАРИНИ: Почему, мадам, вы никогда мне не верите? Даже, когда я искренен?

АННА: Мне нужны доказательства. *(Уходит.)*

Сцена 4

(Действие происходит днем.)

МАЗАРИНИ: *(Мягко и дружески.)* Милая моя Мария, я пришел к выводу, что мы, в общем-то, плохо знаем друг друга. Я бы хотел с тобой поговорить. Надеюсь, вы не обращаете внимания на все, что тут обо мне сплетничают.

МАРИЯ: Я всегда стараюсь составить собственное мнение.

МАЗАРИНИ: Это хорошо, я тоже. Впрочем, и я не слушаю, что говорят о вас.

(Они посмотрели друг на друга. Мария молчит. Пауза.)

МАЗАРИНИ: Мне говорили, что вы замечательная и непростая по характеру девушка. Я знаю, что вы образованны и много читаете. Надо бы показать вам мою библиотеку… вернее, то, что от нее удалось спасти… Наверное, вы знаете, что во время Фронды мой дом подожгли? Вот так вот, копишь-копишь, и вдруг — раз! В один день все превратилось в дым!

Мария, подойдите ко мне. *(Кладет ей руки на плечи и смотрит пристально в глаза.)* Мы должны поближе познакомиться... Уверен, что мы поймем друг друга. Мария, вы сейчас, можно так сказать, находитесь совсем рядом с солнцем — это замечательно, но и опасно. Оно обжигает крылья. Будьте осторожны, Мария. Королева имеет большое влияние на своего сына.

МАРИЯ: Вы тоже.

МАЗАРИНИ: Меньше, чем она. Гораздо меньше.

(Мария молчит.)

МАЗАРИНИ: Королева мне сказала, что вас уничтожит.

МАРИЯ: А вы? Что вы ей на это сказали?

МАЗАРИНИ: Мария, вы красивы, привлекательны и умны. Однако не забывайте, что при этом вы — иностранка, и здесь чужая. Мы для них — грязные итальянцы, чужаки. На нас смотрят подозрительно, как на воров и интриганов. Любая посредственность смотрит на нас свысока, потому что мы не французы. Не забывайте, что у вас нет ни высокого имени, ни звания, если я вам его не дам. Как только король отвернется от вас, вы превратитесь в ничто… Я думал об этом, и предлагаю вам выйти замуж за князя Колона. Это старинная аристократическая семья, одна из самых известных в Италии.

МАРИЯ: А вы, монсеньор, о каком будущем вы сами для себя мечтаете? Я-то догадываюсь, потому что вас знаю. Вы надеетесь, что примирив два крупнейших католических королевства — Францию и Испанию, вы станете следующим Папой Римским!

(Мазарини отпускает ее руку, но не отрывает от нее глаз. Пауза.)

МАЗАРИНИ: Вы ведете себя вызывающе. Видимо, забыли, что это я настоял на вашем приезде в Париж вместе с сестрами… что это я представил вас ко двору...

МАРИЯ: Только потому, что это было в ваших интересах. Вы говорите, что печетесь о моем благе, на самом же деле — о своем. Вы думаете, я не вижу, что скрывается за вашими ласковыми речами? Поначалу я, возможно, была вам полезна, чтобы привязать к себе короля, но теперь вы видите, что он выходит из-под вашего влияния, и вы этого боитесь. Думаете, мы с сестрами не понимаем, что находимся здесь только потому, что это нужно вам? Мы для вас — ваша собственность, ваши инвестиции, которые приносят вам доход! Как ваши охотничьи угодья, аббатства, леса и рыба в реках, ваши налоги, подарки, войны и соглашения о мире! Не думайте, что я — наивная дурочка и ничего не вижу! Я вас не боюсь — и не намерена, как другие, по мановению вашей руки ложиться в постель с любым, кто вам в этот момент нужен! У вас в голове уже есть ценник на каждого, но я не продаюсь! Вы думаете, что все продается, потому что никого никогда не любили, кроме себя самого!

МАЗАРИНИ: Милая моя племянница, вы объявляете мне войну?

МАРИЯ: Я люблю короля! Люблю!.. Вам этого не понять. Я люблю и хочу, чтобы он был счастлив. Поэтому я для него лучший советчик, чем вы.

МАЗАРИНИ: *(Улыбается.)* Уверен, что вы прекрасный советчик… И что вы совершенно бескорыстны...

МАРИЯ: Вы использовали королеву в своих интересах и никогда не были в нее влюблены. Она вам просто была нужна для…

МАЗАРИНИ: …для карьеры, конечно!

МАРИЯ: Сами это признаете — вы еще хуже, чем я думала.

МАЗАРИНИ: Глупышка, я даже еще хуже — просто подонок! Но дело не в этом. Нам нужно договориться.

МАРИЯ: Ни за что!

МАЗАРИНИ: Ну-ну… Послушайте, вы любите короля и думаете, что он вас любит и хочет на вас жениться.

МАРИЯ: Он уверен, что любит меня, и поступит так, как считает нужным, потому что он король.

МАЗАРИНИ: И, разумеется, — исключительно из любви и во имя любви! Вы — девушка юная и чистая...

МАРИЯ: Я не знаю, что вы имеете в виду, но не пытайтесь меня запугать...

МАЗАРИНИ: Вы меня не боитесь, я знаю.

МАРИЯ: Вы занимаете свое место при короле только потому, что он этого хочет.

МАЗАРИНИ: Я все это прекрасно понимаю. Мы ведь — ничто, пыль, интриганы и воры! Я ж вам говорил… Потому я и хочу, Мария, чтобы вы все-таки меня выслушали. В Париже ни у кого нет друзей. Здесь друзьями или врагами становятся в зависимости от обстоятельств. Никакая дружба не выдерживает испытания властью. И только семья, семейные связи — наша единственная защита!

(Он выглядит очень искренним, переходит с Марией на «ты».) Поверь мне — только семья…

МАРИЯ: Я… я не понимаю… Мне такое говорят… Что вы хотите разлучить меня с королем… Собираетесь сослать меня…

МАЗАРИНИ: Сослать?! Да ты что, Мария! Ты меня не понимаешь, я против тебя ничего не имею и хочу тебе только добра… Я служу королю, а сегодня главная его задача — заключение мира с Испанией и, следовательно, его женитьба. Но он, против воли матери, решает жениться на тебе. И он прав, потому что это его выбор, а король ошибаться не может.

МАРИЯ: И вы не будете этому противиться?

МАЗАРИНИ: Я?! Да ты что?! Ты ведь моя племянница! Ты, видно, меня не поняла, или я неясно выразился. Я буду только счастлив и польщен. Однако, я всего лишь советник короля, а не король.

МАРИЯ: Но... он откажется от меня, вы все для этого сделаете.

МАЗАРИНИ: Да что ты, Мария! Советовать ему отказаться от тебя?!. *(Пауза. Продолжает.)* Ты хоть представляешь, какая это для меня честь, если ты станешь…

(Пуаза.)

МАРИЯ: Боже мой, не знаю, что и думать… мне… столько про вас наговорили... Получается… что вы, монсеньор, ничего против меня не имеете?

МАЗАРИНИ: *(Широко разводит руки ладонями вверх как знак глубочайшей искренности.)* Семья, Мария!.. Семья для меня — все! Нет ничего важнее… особенно в моем возрасте.

(Мария склоняется в поклоне. Он жестом ее благословляет, сохраняя непроницаемую улыбку. Мария берет его руку, целует и отходит. Перед самым уходом оборачивается и смотрит на него. Она явно колеблется. Уходит.)

Сцена 5

МАЗАРИНИ: Кольбер!

КОЛЬБЕР: *(Появляется немедленно.)* Да, монсеньор.

МАЗАРИНИ: Обе младшие Манчини, Мария и ее сестра Гортензия, должны быть готовы уехать завтра на заре в Ля Рошель.

КОЛЬБЕР: Будет исполнено, монсеньор.

МАЗАРИНИ: И никаких возражений. Если нужно, увезете их силой.

КОЛЬБЕР: Приказы Вашего Высокопреосвященства не обсуждаются.

МАЗАРИНИ: Из Ля Рошели я их отправлю в мою крепость Бруаж. Под надежную охрану. Морской воздух им будет полезен. Как говорят у вас во Франции: «С глаз долой, из сердца вон». Надеюсь, так и будет!.. Дай руку! *(Опираясь на руку Кольбера, идет, прихрамывая, к выходу.)* Кольбер, надеюсь, ты веришь, что я действую исключительно в интересах Франции и мира в Европе?

КОЛЬБЕР: Конечно, монсеньор.

(Мазарини выходит. Кольбер остается один.)

<...>

Ирина Эстеб

Родилась в Москве. Профессиональный переводчик русской классической поэзии на французский язык. Особенно увлекается творчеством А. С. Пушкина. Автор уникального издания «Сказки о рыбаке и рыбке» на французском и русском языках.

А. С. Пушкин. «Домик в Коломне»
Maisonnette à Kolomna
I—XL

I.

Le ïambe a quatre pieds, j'en ai assez,
Chacun en use, laissons le aux garçons,
Qu'il les amuse. De tout temps, j'ai pensé
De mettre en octaves mes sons.
La belle affaire que de pouvoir dresser
Trois voix en harmonie. Œuvrons pour mon renom!
Les rimes sans façon chez moi habitent:
Deux viennent toutes seules, la troisième - elles l'invitent.

II.

Et pour qu'elles aient enfin la voie royale,
L'usage du verbe de suite j'autoriserai.
Indigne d'intérêt la rime verbale?
Pourquoi? Cette bonne question je vous poserai.
Ainsi écrivaillait notre Chikhmatov clérical,
Pour la plupart j'écris pareil, je vous dirais.
A quoi bon? Dites, sommes-nous aussi mauvais?
Avec les verbes je ferais mes rimes désormais.

III.

Je ne les rebuterai pas dédaigneusement,
Comme les recrues gravement mutilées
Ou des chevaux dont l'air est peu fringant,
D'adverbes et conjonctions ils seront comblés.
De petite canaille je forme mon régiment,
De rimes j'ai besoin pour mon armée,
Et chaque syllabe pour moi est un soldat,
Digne d'intérêt et bon pour le combat.

IV.
Allons, mes chers syllabes, messieurs, dames,
Soyez bénis pour ce grand tâtonnement,
En garde, bien campées sur vos deux jambes,
En rang par trois et vers octave, en avant!
N'ayez pas peur, donnez-vous corps et âme,
Mais attention, chantez harmonieusement.
Après, prions le Dieu de nous guider
Dans notre marche sans nous égarer.

V.
Quelle joie de diriger la poésie:
Les vers dans l'ordre, gardant les rangs
Marchent en cadence, sans semer d'hérésie,
Sans diviser l'ensemble en fragments.
La place de chaque syllabe est bien choisie,
Chaque vers, tel un héros, défile fièrement.
Quant au poète... à qui nous le comparons?
A Tamerlane ou même Napoléon.

VI.
Et sur ce point, un petit repos s'impose.
Quoi? M'arrêter ou risquer tout pour tout?..
Orner un bout de vers d'une noble pause,
J'adore, dans ïambe à cinq pieds surtout.
Sinon, ma poésie devient boiteuse,
Et, bien que sachant mettre des atouts,
J'ai l'impression que sur une route cahoteuse
Mon petit chariot se lance dans une course périlleuse.

VII.
Calamité? Pourquoi user nos pieds
En se promenant sur granit de la Neva,
Dansant les valses pour faire briller le parquet,
Ou faire du cheval. J'avance pas à pas,
D'une station[1] à l'autre, sans accélérer,
Comme cet original, qui, semble-t-il, une fois,
Sans faire un seul arrêt sur son trotteur,
A parcouru mille lieus en quelques heures.

[1]Station — poème de Viazemskiï.

VIII.
Mon cher trotteur! Le vieux mythique Pégase
N'est plus capable de te doubler. Est épuisée
Sa source divine, d'ortie est envahi Parnasse,
Le Phèbe s'est retiré, et quant à amuser,
La ronde des Muses vieillies nous lasse.
Le monde de poésie est bien usé ou abusé.
Et le campement, des monticules classiques,
Est descendu sur le marché forain des pseudos romantiques.

IX.
Ma muse, installe-toi bien sagement,
Et reste immobile, ne bouge pas, poltronne.
Nous commençons, il y a quelque huit ans,
Près du Pokrov, vivait une vieille matrone.
Avec sa fille. Veuve depuis un bout de temps.
Sa maisonnette délabrée, pas folichonne,
Se trouvait à deux pas de la guérite. Je vois encore:
Petite entrée, trois fenêtres, quelques pots de fleurs.

X.
J'y suis allé là-bas tout récemment,
Avec un bon copain, dans la soirée.
Aucune trace de la petite cabane d'antan:
À sa place, se dresse un bel hôtel particulier.
Et je songeai alors spontanément
À la petite vieille, à la fiancée goûtant ici l'air frais,
Au temps jadis, à ma jeunesse, me demandant
Mon dieu, que sont elles devenues maintenant?

XI.
J'ai eu le cœur serré: la grande maison
Je voyais d'un œil mauvais, et si à ce moment,
Un incendie l'avait détruite pour de bon,
Cette flamme m'aurait réjoui sur le champ.
Drôles d'inepties viennent nous troubler la raison,
Drôles de visions surgissent du néant,
Des fois, quand notre cœur est plein,
Et on chemine en compagnie d'un bon copain.

XII.
Est bienheureux celui qui est du mot Seigneur et Maître,
Qui tient en bride haute sa pensée,
Qui dompte dans son cœur dès qu'il sent naître
Le sifflement de la vipère courroucée.
Mais instamment sera vu comme un traître
Le bonimenteur. L'eau de Léthé efface mon passé.
Par le docteur m'est interdit le mot morosité,
De grâce, laissons cela de côté!

XIII.
La vieille (son personnage, trait pour trait,
J'ai vu maintes fois sur les tableaux de Rembrandt:
Le petit bonnet et des lunettes...) Mais le portrait
De sa jeune fille était époustouflant:
Les yeux et les sourcils noirs comme la forêt,
Le reste — blancheur et la douceur d'un chat persan.
Dotée d' un goût pour l'instruction, elle
Lisait d'Émine toute parution nouvelle.

XIV.
Elle savait également jouer de la guitare
Et chantait "mon pigeonneau gémit",
"Si je sortais" et autres chants ringards;
Tout ce qu'on chante avant que tombe la nuit,
En écoutant le ronronnement du samovar;
Qu'il fasse beau temps ou dégouline la pluie:
Nos muses, comme nos demoiselles,
Chantent la misère et leurs peines éternelles.

XV.
Au propre, comme au figuré, notre nation,
Du petit cocher, jusqu'au poète notoire,
Chantent tous le déchirement et l'affliction;
Ce triste hurlement nous mine et désempare.
Augure bien connue! Sans exception
Nous finissons par la défaite nos chants de gloire.
À la mélancolie nos muses leurs harmonies dédient,
Mais nous aimons leurs belles, plaintives mélodies.

XVI.
Notre beauté se prénommait Pachette.
Elle savait coudre, moudre et laver,
Elle dirigeait la maisonnée de main de maître,
Tenait les comptes, achetait toutes les denrées.
Et surveillait aussi l'art culinaire d'Anicette:
Si le rôti était à point et bien doré.
La pauvre vielle et sourde cuisinière
Avait perdu tout sens du goût (disons-le sans manière).*

XVII.
Sa petite maman, en attendant, était bien occupée:
Dans la journée elle tricotait des bas,
Le soir, elle dans les cartes cherchait la vérité,
En observant sa fille courir ici là-bas.
Celle-ci filait partout, telle une brise d'été,
D'une fenêtre à la cour — presque d'un pas,
Ayant le temps de voir tous les passants dehors,
Qui roule, qui marche ...(Ô, sexe faible fureteur!)

XVIII.
L'hiver, les petits volets se tiraient de bonne heure.
L'été, la maisonnette restait ouverte toute la nuit.
Ainsi, la belle pour son immense bonheur
Pouvait admirer dans le ciel "la Blafarde qui luit".
(Pas de roman sans cette "originale" métaphore
Ne peut point être vu ou bien écrit) .
Alors que sa maman piquait une belle ronflette,
La fille contemplait Diane de sa fenêtre.

© Художник Елена Любович

XIX.
Et écoutait le miaulement des matous —
Le signe des rendez-vous bien indiscret,
Le cris des gardes lointains, d'horloge les coups:
Les nuits de la paisible Kolomna sont sans intérêt,
Des fois, deux ombres glisseront, c'est tout
Ce qu'il y a à voir dans le silence parfait,
Au point d'entendre les battements du cœur
De une langoureuse beauté soupirant de bonheur.

XX.
Tous les dimanches et en toute saison,
La veuve allait avec sa fille à l'église,
Elle se plaçait devant la foule, sans façon,
À gauche devant l'autel. Il faut que je vous dise,
Maintenant je vis ailleurs, mais malgré la raison,
Mes rêves éveillées des fois se réalisent,
Et vers Kolomna je déploie mes ailles
Pour écouter nos chants de gloire au Père Éternel.

XXI.
Une comtesse venait là-bas tout le temps.
(Son nom... je ne me rappelle plus, à vrai dire).
Elle entrait en grande pompe, majestueusement,
Elle était jeune, riche, fière, belle à mourir,
Et orgueilleuse; priait orgueilleusement.
Il m'arrivait (vilain pêcheur!), avec soupir
De la lorgner; et là, ma pauvre Pachette
Semblait encore… (comment le dire ?) encore plus pauvrette.

© Художник Елена Любович

XXII.
Des fois, la fière comtesse, dédaigneusement,
Jetait son œil altier sur elle.
Mais la jeune fille priait sagement,
Sans être divertie par le Père Éternel.
Elle exprimait sa vertueuse humilité naturellement,
Tandis que la comtesse était plongée, bien et bel,
Dans la magie des modes saisonnières,
Dans sa beauté sublime hautaine et austère.

XXIII.
Elle semblait être un parfait idéal
De Vanité. Une évidence immanente.
Mais derrière son air hautain et glacial,
Je lisais un autre récit : celui des plaintes,
De la résignation, des déceptions fatales.
Elle captivait mon regard de complainte.
Mais, la comtesse, ignorant cela certainement,
Me prit, sans doute, pour un de ces soupirants.

XXIV.
Oui, elle souffrait, en dépit de sa beauté,
Toute sa jeunesse, sa vie heureuse
Dans le délice luxueux, dans le pouvoir illimité
De sa Fortune... Elle se sentait malheureuse.
La mode ne faisait que l'épater.
Était cent mille fois plus chanceuse,
Mon cher lecteur, notre nouvelle conquête :
La généreuse, jeune et jolie, pauvre candide Pachette.

XXV.
Une tresse en diadème sur la tête,
Des boucles blondes en long serpent,
Petit foulard croisé - sur une chemisette,
Collier en boules de cire - sur son cou blanc,
Tenue modeste. Mais devant sa maisonnette
Des gardes moustachus caracolaient fièrement:
La belle demoiselle savait les conquérir:
Elle n'avait pas besoin du faste pour éblouir.

XXVI.
Y avait-il un soupirant qui agitait son cœur
Ou celui-ci restait de fer ? Nous le verrons plus loin.
En attendant, elle vivait en toute candeur :
Sans rêver d'un voyage à Paris lointain,
Sans penser devenir une Dame d'honneur
Aux bals, divertissements mondains.
(Bien qu'une de ses cousines au premier degré
Était l'épouse d'un digne Maître Laquais agréé).

XXVII.
Mais un malheur frappa leur citadelle:
Vieille Anicette, en revenant des bains,
Prit froid. Tisanes, vin chaud et lait au miel
Furent sans effet. Malgré les soins,
Elle a rendu son âme la nuit avant Noël.
En regrettant cette bien cruelle fin,
Après les tristes adieux et la rapide mise en bière,
On enterra à Okhta la pauvre cuisinière.

XXVIII.
Sa mort fut déplorée par tous. Mais
Le plus touché était le chat Basile. Après,
Ma brave veuve pensa, qu'on pouvait se passer
De cuisinière deux-trois jours à peu près.
Par contre, quant à ses dîners ou déjeuners,
Par simple volonté divine ils ne seront pas prêts.
Sitôt elle appela: «Pachette!» — «Oui, maman» —
«Il faut qu'on trouve une cuisinière pas cher et rapidement»

XXIX.
«Je m'en occupe.» Elle sortit en se couvrant.
Dehors, l'hiver sévissait sans égards.
La neige crissait, le bleu du firmament
Resplendissait d'étoiles dans le froid fouettard.
La veuve attendait Pachette. Doucement,
Elle tombait dans le sommeil; il faisait tard
Lorsque sa fille entra en disant: «Mère,
Nous voilà moi et notre nouvelle cuisinière».

XXX.

Derrière elle, en avançant craintivement,
Parée d'une courte jupe, plutôt plaisante,
Une fille robuste entra, puis humblement
Courba le dos devant la veuve languissante,
Qui demanda de suite: «Combien tu prends?»
Un peu gênée, la respectueuse servante
Lui répondit posément, d'une voix atone:
«Eh, tout ce que vous voudriez, madame la patronne».

XXXI.

La veuve aima cette réponse sur le champ,
«Et tu t'appelles comment?» — «Maurine». — «Bon, Mauricette
Viens habiter chez nous: t'es jeune, mon enfant,
Évite les hommes. La feue Anicette
Nous a servi de cuisinière durant dix ans,
Vertueusement, sans une amourette.
Prends soin de nous, ma fille et moi,
Mais quant au grappillage, n'y songe même pas!»

© Художник Елена Любович

XXXII.
Passent quelques jours. La bonne, gentille,
Ne réussit que des rôtis brûlés,
Légumes dégoulinants; elle casse les ustensiles,
Les plats servis sont, soit trop cuits, soit trop salés.
Elle ne sait pas par quel bout s'enfile une aiguille,
Reste bouche bée quand elle se fait engueuler.
Sa maladresse prodigieuse se voit partout.
Pachette se démène, sans parvenir à bout.

XXXIII.
Dimanche matin, à la messe de midi,
La mère avec sa fille allèrent comme d'habitude.
Maurine resta à la maison. Toute la nuit
La rage des dents la tortura «très rude».
En plus elle pensait faire des biscuits.
Bref, elle était morte de lassitude.
On la laissa faire, mais soudainement
La vieille veuve fut saisie d'un grand tourment.

XXXIV.
Une pensée lui traversa l'esprit: «D'où chez la bonne
Vient cette soudaine passion pour la pâtisserie!
La pâtissière a tout l'air d'une poltronne.
Et si derrière tout cela se cache une flouerie!
Une occasion de dépouiller sa vieille patronne
De ses précieux bibelots et argenterie!»
À cette idée, la petite vieille était anéantie,
Ne pouvant plus tenir en place, elle avait dit:

XXXV.
«Pachette, je cours à la maison, toi, tu restes ici,
Je crains le pire». Sa fille fut stupéfaite:
Redouter quoi? Ma petite vieille du parvis
Faillit de peu dégringoler. La peur lui tournait la tête.
Elle arriva à la maison: aucun signe de vie.
Cuisine vide, aucune trace de Mauricette,
La veuve, ahurie, alors se dirigea chez elle.
Et là, mon Dieu! Elle vit trente six chandelles.

XXXVI.
Assise sagement devant le petit miroir de sa Pachette,
La cuisinière se rasait... «Ah! Quelle horreur!»
La petite vieille tomba à la renverse. Quant à Mauricette,
La joue ensavonnée, (froissant de notre veuve l'honneur),
Elle enjamba celle-ci pour, en deux sauts, quitter la maisonnette,
Prenant ses jambes à son cou, en cachant son visage,
Elle mît toutes voiles dehors, sans demander ses gages.

XXXVII.
Après l'office dominical Pachette rentra:
— «Alors, ma petite maman? « — «Ah! Oh, ma chère!»
— «Et Mauricette, il y a quoi? Comment elle va?»
— «Celle-ci, je suis encore toute tremblante de colère.
Devant ton miroir.., toute ensavonnée» — «Ah!
Quel savon, franchement je ne comprends guère;
Où est Maurine? « — «Mais c'est un salopin!
Elle se rasait, ici, comme mon mari défunt!»

XXXVIII.
J'ignore si ma Pachette se sentit gênée...
Ce petit détail baignera dans le mystère.
Est-il que Mauricette disparut à tout jamais,
Sans réclamer un rond en guise de salaire,
Et sans commettre d'autres graves méfaits
Dans le logis d'une vieille mère sévère.
Qui remplaça Maurine? Dieu le sait.
Moi, je suis juste pressé de terminer l'essai.

© Художник Елена Любович

XXXIX.

— «C'est tout? Vous plaisantez!» — «Aucunement»
— «Drôle de façon de nous mener nulle part!
À quoi bon réunir les sons, crier victoire fièrement,
Se prendre pour Napoléon, faire le vantard!
Il n'y a pas de quoi être envieux, franchement,
N'avez-vous pas trouvé de sujet moins ringard?
Y-a-t-il au moins une morale dedans?»
— «Non... Quoique si, attendez un instant...»

XL.

En guise d'un sermon, dans l'absolu,
Est périlleux de faire travailler une cuisinière pour rien.
Se mettre une jupe, étant un homme, est farfelu,
Pour ne pas dire risqué et je dirais malsain.
Naturellement les hommes sont velus:
Raser leurs barbes un jour ils seront contraints,
A l'opposée des femmes. Je pense avoir tout dit.
Il n'y a rien d'autre à tirer de cet insignifiant récit.

1830

Из Пиндемонти

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова[1].
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать, для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
— Вот счастье! вот права...

1836

[1] Hamlet. (Примеч. А. С. Пушкина.)

M'importent peu les droits bruyants
Qui font tourner les têtes à ceux qui trouvent cela enivrant.
Je n'accuse pas les dieux de ma non-jouissance
Du digne sort de disputer d'impôts l'inconvenance
Ou les envies des souverains de guerroyer,
Il m'est égal, si librement ou bien censurée,
La presse bourre le mou aux cornichons,
Ou gêne la verve des journalistes dans leurs torchons.
Ce ne sont que des mots, des mots, des mots,[1]
J'aspire aux autres droits, je vise plus haut,
Je veux une autre liberté, celle du pouvoir,
(Indépendants et du peuple et du tzar,
Bénis soient-ils, sans aucune différence),
De rendre comptes à ma seule conscience,
Ne servir qu'elle, sans faire des courbettes,
Penser à mes plaisirs, n'en faire qu'à ma tête,
Vivre selon mon bon vouloir, aller à l'aventure,
Rester bouche bée face aux splendeurs de la nature,
Jouir de joie et frissonner d'admiration
Devant les œuvres d'art et autres fruits d'inspiration.
— C'est cela le bonheur ! Voilà les droits...

1836

Я пережил свои желанья

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.

Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец —
Живу печальный, одинокой,
И жду: придет ли мой конец?

Так, поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один — на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист!..

1821

****

Finies des rêves longues errances,
Je ne ressens plus aucune envie,
Il ne me restent que des souffrances —
Fruits d'un cœur vide empli d'ennui.

Ma belle couronne s'est flétrie
Sous les tempêtes du sort barbare,
Je vis et guette la fin de vie
Abandonné de joie, geignard!

Ainsi, fouettée par la froidure dévergondée,
Meurtrie par la tempête hivernale,
Seule, sur une branche dénudée,
Tremble la dernière feuille automnale.

1821

[1] Hamlet.

Федор Иванович Тютчев

***

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

1866

Aucune raison ne peut saisir l'essence de la Russie!
Chercher à mesurer l'immensité en pied-de-roi est vain.
Elle est a part. Insaisissable. C'est ainsi.
On peut seulement avoir une foi totale en ce pays divin!

1866

***

Напрасный труд — нет, их не вразумишь...
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.

Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

1867

Les raisonner !? Non, c'est peine perdue.
Plus ils sont libéraux, plus ils sont vulgaires.
La civilisation pour eux est un gris-gris tordu.
Hors de leur sens est son idée primaire.

Vous aurez beau, Messieurs, vous aplatir devant,
L'Europe n'aura qu'à faire de vos courbettes !
Pour elle vous ne serez jamais de grands savants.
Elle vous traitera comme ses laquais et ses lavettes.

1867

И КОНЕЧНО — ФАНТАСТИКА!

© Художник Андрей Карапетян. «Ангел»

Андрей Карапетян
(Россия, Санкт-Петербург)

Андрей Петрович Карапетян (24.09.1950 г. р.) — художник-график; поэт, прозаик. Лауреат премии всероссийского форума фантастов «Странник» за иллюстрации к повести Михаила Успенского «Там, где нас нет».

Родился в семье врача и ссыльного инженера-кораблестроителя из Ленинграда. Живет в Санкт-Петербурге. По образованию инженер-конструктор. Работает главным инженером проектов во ВНИИМЕТМАШе — старейшем российском проектно-конструкторском институте.

В конце восьмидесятых годов начали появляться графические работы А. К. на страницах питерской «самиздатовской» прессы. В это же время создаются первые циклы иллюстраций к произведениям братьев Стругацких. Участник семинара Б. Н. Стругацкого, куда вначале пришел как писатель. С 1991 г. его рассказы и стихи публиковались в журналах и альманахах. С 1989 г. по сей день в петербургских и московских издательствах выходят книги с иллюстрациями А. К.

Участник художественных выставок, в частности, в музеях Ф. М. Достоевского, «Современная литература — XX век» (Санкт-Петербург); музее М. А. Булгакова (Москва); в рамках всероссийского форума фантастов «Странник» «Самые фантастические художники».

Создал иллюстрации к «Божественной комедии» Данте, «Властелину колец» Р. Толкиена, произведениям Ф. Достоевского, М. Булгакова, Н. Гоголя, К. Бликсен, братьев Стругацких и др.

Рассказ «Сад» был выбран Б. Н. Стругацким для чтения на одном из его семинаров.

Сад

Фляга, что стояла у сарая, была пуста. Тим почесал пальцем подбородок, пропел: «Па-ра-ра-ам…» Жарко было, чёрт, неохота было до смерти идти домой за кружкой воды. «Ведь хотел же провести питьевую воду по всему саду, ведь хотел! Да лень-матушка впереди нас успела!» — обозлился Тим. Он покачал ещё флягу и свистнул киберу-инструментальщику: бог с ним, расплещет половину — чего-нибудь да принесёт. Подошедший неторопливо кибер выслушал, мигнул рассудительно оранжевым глазом и потопал по тропинке, аккуратно переставляя решётчатые никелированные лапы. Насекомые крутились возле цилиндрического корпуса в медных пуговках и воронёных щитках, солнце било сквозь листву во все дыры, какие только были в саду, и под лапами кибера чиркали и похрустывали мелкие камушки. Сад пропадал в пятнах и солнечных зайчиках, туда же сгинул вскорости кибер, изредка лишь искрились его сочленения сквозь опущенные ветви крыжовника.

Тим присел на ящик, ещё раз, только вполголоса, пропел: «Па-ра-рам-па-пам…» — пить хочется.

Над сараем скандально заверещала птица. Тонко и нежно запел комар — и пропал. Сад давно отцвёл — гуденья пчёл не слышно теперь. Сейчас зудят, повиснув, мухи, да ноют узкие краснопёрые жуки и суетливые мелкие осы. А пчёлы пропали куда-то. «Вообще-то сейчас, — мыслит Тим лениво и безотносительно, — акации цветут по краю, мда-с…»

Так он и не нашёл места, где жили пчёлы, хотя и пытался найти. Просто ради любопытства, из голого, честно говоря, упрямства, — искал и не нашёл. А ведь сад до последнего кустика сам посадил, вдоль и поперёк его знает, казалось бы… А, вот выходит, — не знает вовсе. Так что ли?

Мелькнув, села на ствол яблони синица, побежала вверх по коре, а в ветвях закопошилась другая и вдруг пропиликала свою торопливую мелодию. Ствол яблони выгнут, ветви распущены — насмешливое дерево, эвон — отмахивается листиками… Вторая синица побежала вслед за первой, и тоже — жёлто-голубая, в чёрной купальной шапочке. Мельтешит листва, солнце бьёт вспышками, и жарко. Птиц уже не видно, повторилась только песенка, да и пропала в свистах и чириканье… А вот — слышь! — быстро-быстро протикали ходики, и раз — зажужжала и щёлкнула пружинка — тоже ведь птица, гляди! Мудрёная какая птаха, надо ж!

Вот так, вот так… Па-ра-рам… Осталось Тиму только сухие листья сжечь, да прорыхлить кое-где, вот и вся работа на сегодня. Сощурился он на листву, улыбнулся и почесал подбородок. Сегодня утром, только проснулся, — как вдруг и решил: всё! Хватит! Он, Тим, летит на Землю. Он просто-напросто лезет в свою ракету — и летит обратно на Землю. И — всё! И — полный порядок!

© Художник Андрей Карапетян. «Странник»

Тим сморщился и дёрнул шеей. Что-то шевельнулось у него за воротом. Хлопнул себя по загривку: фу, дьявол! — ветка, и на ней два выпуклых листика в пыли. Сад зашумел, придвинулся к нему.

«Смеётся. — Убеждённо подумал Тим. — Издевается».

Но Тим не злился — он ведь уезжал, это было абсолютно ясно, и поэтому он не злился.

Облегчение, во-первых, — вот что было у него в душе, а, во-вторых, некоторая расстроенность в мыслях и поступках, некоторая растерянность даже. Он ничего не сказал ещё вслух, — ну, и с другой стороны, а чего он, собственно, должен что-то ещё говорить: захотел — и улетел! Сам себе хозяин.

«Моё дело! — подумал он. — Сколько можно?»

Ветка, которую он поймал за шиворотом, качалась теперь сбоку и вопросительно посматривала на него, два листа дрожали лодочками и останавливались, и начинали вновь покачиваться.

«Сугубо моё дело!» — ещё раз повторил он про себя.

На тропинке показался, наконец, инструментальщик, искрились его лапы сквозь траву и кустарник, и моталась кружка в носовом манипуляторе, щедро расплёскивая воду.

— Горе ты моё! — высказал ему Тим свои чувства, а кибер дал два зуммера и, дёрнувшись, вытянул манипулятор — пей на здоровье, дорогой! Тим поднял брови, вздохнул умудрённо — ну, что ты с ним сделаешь! — и принял кружку. Много пить вредно, и рубашка взмокнет, — так что всё к лучшему, будь здоров, механизм! И выплеснул себе в рот то, что болталось в эмалированной облупленной посудине.

© Художник Андрей Карапетян. «Свеча»

Копилось у Тима в душе весь день, с самого утра копилось невнятное огорчение, так что приходилось ему иной раз выдыхать, освобождаясь от него, — но помогало слабо. Жалко было бросать всё, сад уж больно хорош вымахал! А бросать надо — иначе на веки вечные застрянешь тут, говорить разучишься! Нельзя же, понимаешь, всю жизнь за одним садом глядеть, ну, — в самом деле! Тем более что сад да-авным давно не нуждается в этом: программа отлажена, киберы дело знают, всё аккуратненько, всё — в равновесии. Ну, чего мне здесь сидеть? «Нечего! — вслух сказал он. И повторил: — Абсолютно нечего!»

Над неподвижным инструментальщиком суетились осы и мухи — мелочь всякая. «Прямо, как мёдом намазан!» — думалось Тиму по жаре и лени. Ещё одно довольно-таки странное обстоятельство, загадка, можно сказать, природы, не поддающаяся объяснению. Ну чего вся эта шелупонь мизерная толчётся над киберами? Хотя, конечно, могут быть какие-то волны электромагнитные там… высокочастотные всякие, скажем, излучения… малых, предположим, амплитуд… Впрочем, — чепуха! Наверняка, нагреваются на солнце машины, а те и лезут на тепло... Да: наверное...

Тим отмахнулся от давешней ветки, которая уж вовсе подлезла целоваться, — ветка шарахнулась, и сухонький серый кузнечик прошуршал в воздухе. И вновь заверещали, запиликали птицы, кубарем покатилось за воздушной волной солнечное и лиственное месиво, и вновь забрался под рубаху, под мышки тёплый воздух.

А кузнечик — вот он, сидит на брючине, кривых очертаний тень качается, и то накроет его, то отскочит, и кузнечик поползает, пошевелит лапками, озарённый и прозрачный, и тускло заблестят его выпученные слепые глаза. «Вот механика, мама родная! — думалось Тиму. — Прозрачные, прям, коленки! Вот это — механика! Вот это я уважаю — какое чудо, а!» Тим покачал головой: «Ай-я-я-й… А этот остолоп латунный? Это же — глядеть невозможно, какой остолоп! Дурной, прост-таки, тон какой-то, ей-богу! Так бы вот научиться собирать, ёлки-палки! Тоже мне — создание ума человеческого!»

— Паш-шёл! — махнул Тим на кузнечика, и тот фыркнул, отлетел, и Тим разглядел, как в кружеве лежалых гнилых листьев семенит часовым механизмом паук-сенокосец, и ещё раз покачал головой: «Механика!..»

Наконец он собрался духом и встал — хорошо было сидеть в тени, рассиделся, понимаешь, разнежился!.. Кружку вложил обратно в манипулятор инструментальщику и вздохнул:

— Пойду, пожалуй… — и добавил, подумавши, — а ты шагай, милейший, на место поставь кружечку! А потом притащи-ка на кострище маленький топор, понял? Сам потюкаю, скорее всего, а то с вами, друзья, вообще, того…

Кибер оживился, мигнул удовлетворённо, поворотился и почесал с кружкой по тропе, заискрился сквозь листву своими многосложными конструкциями. А Тим поглядел ему вслед и пошёл в обратную сторону вдоль стены сарая, где было душно и тесно, и круглые кусты крыжовника прижимались к двум сонным сараюшным окошкам. За сараем шелестели яблони, а в прорехе тёмной их листвы, вдалеке, в пустынной знойности воздуха мелко и многочисленно шевелились гигантские клёны. Они смо-

трели поверх сада, поверх яблонь, видели пустыню, им в лица выдыхала она свой жар, — они смотрели вдаль.

Угол одного окошка был небрежно заклеен паутиной, и в самой тени и пыли на мускулистых ногах притих бархатный крестовик — это успел заметить Тим, проходя. И, как обычно, самый нахальный и растопорщенный куст цапнул его за рубаху, а Тим привычно ругнулся:

— А-а, сатана!..

И опять в яблонях заворочался ветер, зашушукалась листва, хихикнули и сместились сияющие мухи перед лицом, а куст махнул на него веткой и нагло прижмурился.

Освобождение! Туман в голове и всякие глупости! Господи, да неужто он, Тим, просто так, гуляя, будет выходить однажды из вымытого зеркального здания, где ни пылинки, ни паучка, ни крючочка, — только металл, пластик и удобная мебель, а потом будет просто так ходить по ровным улицам с цветастыми домами, да в новых, серых ботинках, только что купленных и дивно пахнущих кожей!

«К чёрту! — думал Тим. — Именно, к чёрту! Сколько можно?.. Я хочу к людям! Ну, в самом деле!..»

Заметались перед глазами и пропали махонькие золотоглазые насекомые.

«Надо же — глаза одни да крылья! В чём только душа жива?»

Но загадка оставалась. Откуда они здесь, черти окаянные, — скажите мне? Он привёз только семена. Только. Контейнеры с барахлом и киберами, сброшенные с орбиты, были по условию, первоначально и непорочно стерильны. Планета располагала только пустынями и какой-то совсем уж никчёмной и ядовитой живностью — скорпионами какими-то, тьфу! Технология-то вся была приспособлена к полнейшему отсутствию чего-либо опыляющего и попискивающего! Откуда же всё это? — возникает законный вопрос. Мухи эти все, пауки эти, пчёлы, к примеру? И — птицы, заметьте себе! Совершенно уж неясно. Вон — одна, завозилась, сломала сухой сучок на земле и побежала под куст. И не разглядел, что там за птица была, — как пропала.

«Но… — перебил он сам себя, — вернёмся к нашим барашкам. Я ведь лечу на Землю, к людям. Так, по-моему? Оставим же загадки иным каким-нибудь отгадчикам. Автоматам и киберам управиться здесь — абсолютно плёвое дело, всё будет расти и цвести согласно программе, энергией обеспечат и без меня — так ведь? И всё, стало быть, чудненько будет...»

Сад слабо шевелился под ветром, поблёскивал летучей тенью. Было знойно, деревья стояли плотно, неразделимо, только кое-где вопросительно гнулся толстый сук, или кусочек ствола неподвижно глядел скорбною корой сквозь тесно сомкнутые листья. Яблони пропадали друг за другом, и пропасть горячего сизого воздуха отделяла от них высоко и пустынно стоящие клёны.

«А делаем всё очень просто, — Тим подошёл к воткнутой в землю лопате, — ракета у меня на ходу? На ходу! Вещей мне, собственно, и не надо никаких. Сегодня же вечером, нет... нет — завтра утречком... да!.. завтра утречком — и в добрый путь! А? Правильно я говорю? Правильно!»

Он шагал дальше, нагибаясь под яблонями, втыкая и выдёргивая прихваченную лопату и кивая собственным мыслям. Лопата звучно входила в плотную землю, рассекая листья одуванчиков и осота. «Только прорыхлить кое-где надо, да сучья пожечь у ангара… Хотя, прямо скажем, киберы и сами могли бы… Чего им делать-то ещё, лоботрясам!» — и он опять выдыхал из лёгких лишний воздух.

Лица его коснулась паутинка. Он смахнул её, моргнувши. Шелест усилился; вдали звучно зацокала, свистнула и пропала неизвестная птица, а по земле, поднимая и шевеля траву, полз черепахой кибер-оросритель. Он волочил тонкий оранжевый шланг и явственно сопел, и насекомые мелькали над ним, вспыхивая порою отчаянными искрами.

Восемь лет он, Тим, в одиночку, разговаривая с собой, с деревьями, с мухами и автоматами, торчал здесь. Очень немало, кажется! Но и сад был хорош! На заброшенной, дрянной и высохшей планете он вымахал за эти годы, как на земле не вырос бы и за пятьдесят! Естественно, скучать было некогда. Ха-ха!.. Это сейчас пустыня, увязнув в колючках и карагачах, в жёстких травах и акациях, не может дотянуться мёртвыми своими лапами до пограничных клёнов и только валит их листву ветром с каменных своих равнин, да слабыми пыльными вихрями бродит вдоль границы и мнёт пучки трав, и отступает. А поначалу было весело! Планета задавала перцу, сад был вынянчен — не шутки! Год не мог отоспаться. Но теперь-то сад прижился и вымахал. Теперь-то на этой планете есть сад! Теперь Тим свободен, ёлки-палки, кто б понимал, что это значит!

Весь день он провозился в саду. Жёг сучья на кострище у ангара, и пламя сновало по пеплу и углям, и дышало на него пустыней и ненавистью, и трещало сумрачно, и едко захлёстывало дымом. А за ангаром корявая и живописная акация кивала ему и мельчила бисерной листвой.

© Художник Андрей Карапетян. «Смысл»

Там, в акации, невидимые и жгучие, как огонь, пчёлы курились разреженным газом над жёлтыми горстками цветов, вздувшимися на многосложных сучьях и шипах.

Потом просто так бродил он от дерева к дереву, и киберы-садовники хладнокровно топали следом, рыхлили землю, где он указывал, а он временами отгонял их, бестолочей, и начинал сам работать, и всё не мог выдохнуть из себя лишний воздух.

Неявно и безмятежно поднялись от земли сумерки, над клёнами рассыпались стрижи, запетляли, завертелись в небе. И, пока было светло, Тим бродил по саду, дожидался, когда автоматы включат полив, и тщательно обходил упругие аккуратные паутины, тарелочками качающиеся между ветвей. На каждой сияли веерами жёлтые и розовые нити, и в середине каждой зрачком сидел паучок, золотой и неподвижный.

А ночью в саду было неспокойно. Шуршало вдоль стен; клонилась и перемещалась, теряясь, листва; чьи-то сигналы и возгласы переносились по саду мгновенно и пропадали… В траве под яблонями пробегал кто-то крохотный и мягкий, растерянно возвращался и убегал вновь. И только в сарае, в полной темноте, невозмутимо молчали киберы. Изредка только у крайнего в мёртвом стеклянном глазке проплывала микроскопическая зелёная искра, словно где-то далеко-далеко на ходу зажигалась спичка — и гасла не сразу.

Очень рано в ангаре пальнула и ахнула стартовая установка — на страшной высоте забурлил, ввинчиваясь в воздух, плотный след улетевшей ракеты, и долго стоял в спящем тёмно-голубом небе охрипший и взвинченный звук. Долго хлопали в ангаре секции и стойки, собираясь в свои гнёзда, как положено им было. Со сна изумлённый сад молчал, весь в тяжёлой, сияющей росе. Из-за карниза выпала и затанцевала в воздухе воробьиха, в стороне где-то раздалось многоколенное чириканье, с перебоями и вскриками. А когда солнце вышло и чуточку отогрело сад, в сарае открылась, крякнув привычно, дверь, и заковылял по тропинке кибер-мусорщик. Над ним нервно дёргались крохотные золотоглазые мушки, — и вдруг выскочил из куста крыжовника тяжёлый и круглый, как гиря, шмель и, пробасив требовательно, свалился за крышу сарая. И тогда пропали золотоглазые мушки, начал замедлять шаги свои кибер, всё неестественнее и ломаней становились перемещения его сложных ног, — и вот он упал, споткнувшись, и выставил подогнувшуюся ногу свою, и замер криво и странно на тропе. Успевшие выползти следом — остановились и замерли два поливальщика. Порыв ветра вывернул и стряхнул листву, и бросил, растрепав. Кривая серо-зелёная стрекоза метнулась по опустевшему саду и тоже исчезла, а на высокие клёны дохнуло огнём и ненавистью, и ещё раз дохнуло, и где-то далеко закрутились волчками, понеслись пыльные вихри, исчезая и сливаясь, и поднимаясь вновь.

1986